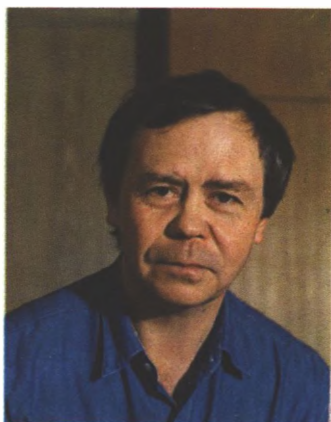


ОТЕЧЕСТВО



*Нет ничего в мире,
что можно было бы
поставить
в один ряд с Сибирью...*

В. Распутин



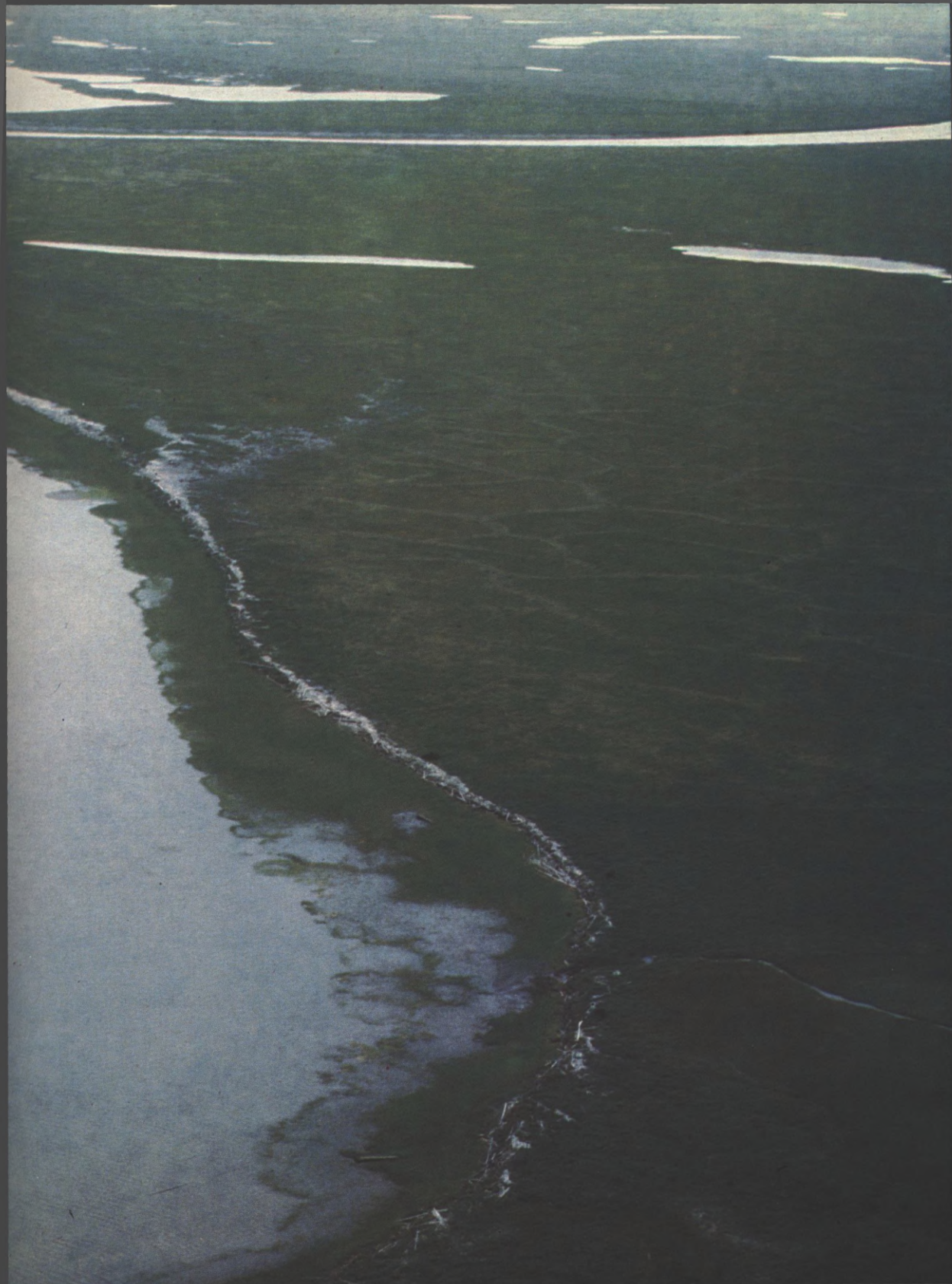




Для нас, для тех, кто в Сибири родился и живет,
это родина,
дороже и ближе которой ничего в свете нет,
нуждающаяся, как и всякая родина, в любви и защите -
нуждающаяся, быть может, в защите больше,
чем любая другая сторона,
потому что тут пока есть что защищать.



Сибирь неминуемо чувствуют в себе даже те,
кто никогда в ней не бывал
и находится вдали от ее жизни и ее интересов.
Она сама вошла в жизнь и интересы многих и многих —
если не как физическое, материальное понятие,
то как понятие нравственное,
сулящее какое-то неясное, но желанное обновление.





От богатств самородных,
лежащих на поверхности и близ поверхности,
до богатств глубинных и производительных —
все есть в Сибири, каждому веку она угождала,
и в оценках ее, от первых слухов
до последних научно-экономических обоснований,
постоянно видна превосходная степень.



В каждом развитом духовно человеке
повторяются и живут очертания его родины...
В нас купиной неопалимой
мерцают даты наших побед и потерь.







...Не может такого быть, чтобы на веки вечные
смирилась Сибирь со своей участью униженной
и оскорбленной.

Она так и не взшла на подобающее ей место
и не воссияла заслуженным светом.



В нашей природе все мощно и вольно,
все отстоит от себе подобного в других местах...
Природа здесь не просто живет,
а царствует безбрежно и всевластно...







Слово «Сибирь» — и не столько слово,
сколько само понятие,
давно уже звучит вроде набатного колокола,
возвещающая что-то неопределенно могучее и предстоящее



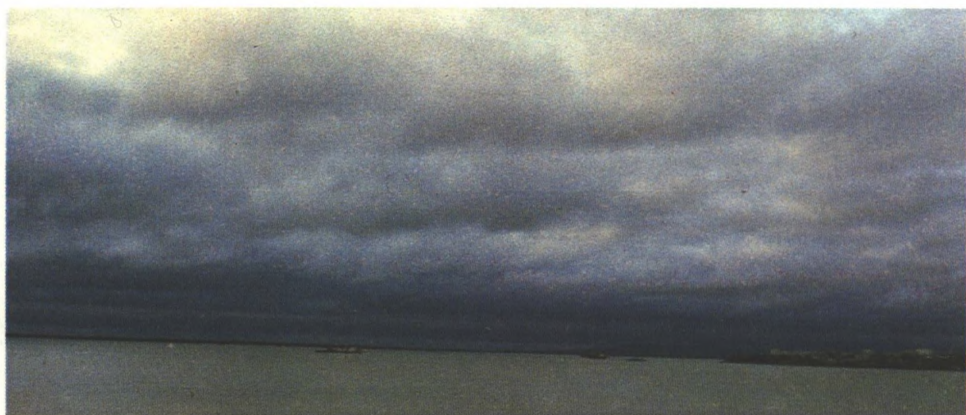
В сущности, опершись на Сибирь
да еще некоторые, пока заповедные районы,
человечество могло бы начать новую жизнь.







Старое



Вечное



Новое

Валентин Распутин

СИБИРЬ, СИБИРЬ...



МОСКВА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1991

ИДН 07 1007

LITERATURE

ББК 26.89 (2Р5)
Р 24

Фотографии **Б. В. Дмитриева**

Художник **А. Ф. Быков**

Р $\frac{4702010201-034}{078(02)-91}$ КБ - 013-038-90

ISBN 5-235-00665-8

© Распутин
1991 г.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сибирь без романтики

Это громадное пространство носит общее прозвище Сибирь, с которым, вероятно, и останется навсегда, потому что ничего другого, кроме Сибири, из него выйти не может.

В. К. Андреевич,
историк Сибири

Слово «Сибирь» — и не столько слово, сколько само понятие, давно уже звучит вроде набатного колокола, возвещая что-то неопределенно могучее и предстоящее. Прежде эти удары то приглушались, когда интерес к Сибири вдруг понижался, то снова усиливались, когда он поднимался, теперь они постоянно бьют со все нарастающей силой. Сибирь! Сибирь!.. Одни слышат в этом гулком звучании уверенность и надежду, другие — тревожную поступь человека на дальней земле, третьи ничего определенного не слышат, но прислушиваются со смутным ощущением перемен, идущих из этого края, которые могли бы принести облегчение. Сибирь неминуемо чувствуют в себе даже те, кто никогда в ней не бывал и находится вдали от ее жизни и ее интересов. Она сама вошла в жизнь и интересы многих и многих — если не как физическое, материальное понятие, то как понятие нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление.

В XVIII веке говорили: «Сибирь — наша Перу и Мексика». В XIX: «Это наши Соединенные Штаты». В XX: «Сибирь — источник колоссальной энергии», «край неограниченных возможностей». Как видим, меняется техническая вооруженность человека, меняются его потребности, меняются и характеристики Сибири. От богатств самородных, лежащих на поверхности и близ поверхности, до богатств глубинных и производительных — все есть в Сибири, каждому веку она угождала, и в оценках ее, от первых слухов до последних научно-экономических обоснований, постоянно видна превосходная степень. Но уже и теперь, когда Земля почувствовала признаки удушья, она оборачивается на Сибирь: «Это легкие планеты». Уже и теперь... Нетрудно понять, что будет первой и непреходящей необходимостью для человека через тридцать, сорок и пятьдесят лет и для чего Сибирь могла бы явиться воистину целебной и спасительной силой.

Мы привыкли к языку сравнений, но никакие сравнения ничего не скажут о Сибири. Мы можем сопоставлять лишь результаты освоения, дела рук человеческих, но не более. Нет ничего в мире, что можно было бы поставить в один ряд с Сибирью. Кажется, она могла бы существовать как самостоятельная планета, в ней есть все, что должно быть на такой планете во всех трех царствах природы — на земле, под землей и в небе. Ее собственно жизнь, столь разнovidную и разнохарактерную, невозможно обозначить известными понятиями. Со всем тем, что существует в ней плохого и хорошего, открытого и неоткрытого, свершившегося и несвершенного, обнадеживающего и недоступного, Сибирь — это Сибирь, которая имеет свое имя, лежит на своем месте и выработала свой, ни на что другое не похожий характер. Из конца в конец и из края в край над нею витает свой дух, словно бы до сих пор не решивший, быть ему добрым или злым, — в зависимости от того, как поведет себя здесь человек. За четы-

реста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого и приручили, и привели местами в божеский вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание ее самой себя, хочется надеяться, еще впереди.

Слово «Сибирь» так и не расшифровано, точное этимологическое значение его не найдено. Для человека постороннего, знающего о Сибири лишь понаслышке, это огромный, суровый и богатый край — все как бы в космических размерах, включая и космическую выстуженность и неприютность. И в коренном сибиряке он видит скорее продукт загадочной природы, нежели такой же, как он сам, продукт загадочного человечества. Для нас, для тех, кто в Сибири родился и живет, это родина, дороже и ближе которой ничего в свете нет, нуждающаяся, как и всякая родина, в любви и защите — нуждающаяся, быть может, в защите больше, чем любая другая сторона, потому что тут пока есть что защищать. И то, что пугает в Сибири других, для нас не только привычно, но и необходимо: нам легче дышится, если зимой мороз, а не капель; мы ощущаем покой, а не страх в нетронутой, дикой тайге; немереные просторы и могучие реки сформировали нашу вольную, норовистую душу. Разные взгляды на Сибирь — взгляд со стороны и взгляд изнутри — существовали всегда; пусть и сместившись, прколебавшись и сблизившись, остались они разными и теперь. Одни привыкли смотреть на нее как на богатую провинцию, и развитием нашего края они полагают его скорое и мощное облегчение от этих богатств, другие, живучи здесь и являясь патриотами своей земли, смотрели и смотрят на ее развитие не только как на промышленное строительство и эксплуатацию природных ресурсов. И это тоже, но в разумных пределах. Дабы не было окончательно загублено то, чему завтра не станет цены и что уже сегодня, на ясный ум, не опьяненный промышленным угаром, выдвигается поперед всех остальных богатств. Это — воздух, вырабатываемый сибирскими лесами, которым можно дышать без вреда для легких; это чистая вода, в которой мир и сейчас испытывает огромную жажду, и это не зараженная и не истощенная земля, которая в состоянии усыновить и прокормить гораздо больше людей, чем она кормит теперь.

В сущности, опершись на Сибирь да еще на некоторые, пока заповедные районы, человечество могло бы начать новую жизнь. Так или иначе очень скоро, если оно собирается существовать дальше, ему придется решать главные проблемы: чем дышать, что пить и что есть, как, в каких целях использовать человеческий разум? Земля, как планета, все более и более устанавливается на четырех китах, ни один из которых нельзя сейчас считать надежным. И если слово «Сибирь» в своем коренном смысле не означает «спасение», оно могло бы стать синонимом спасения. И тогда отсталая, в сравнении с Северной Америкой, колонизация Сибири, в чем долго упрекали старую Россию, обернулась бы великой выгодой; и тогда русский человек не без оснований мог бы считать, что он выполнил немалую часть своего очистительного назначения на Земле.

* * *

Но здесь имеет случай отдать справедливость народному характеру. Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский. И если бы место было здесь не рассуждение, то бы показать можно было, что предприимчивость и ненарушимость в последовании предпринятого есть и была первой причиной к успехам россиян.

А. Н. Радищев.
Слово о Ермаке

Сибирь, находясь на одном материке с Европой, отгороженная от нее лишь Уральским Камнем, который вполне можно считать доступным, была тем не менее открыта для цивилизованного человечества почти на сто лет позднее, чем Америка.

Конечно, смутные слухи о Сибири бродили по миру издревле и, конечно, русский человек, тот же неутомимый новгородец, и торговал, и промышленял в ее владениях, проникая туда и по суше, и по северным морям, но, считая это делом обычным, отчетов о своих самовольных проникновениях никому не давал, а опыт передавал сыновьям. Новгородцы знали Юргу (так назывались северные земли к востоку от Урала) еще в XI столетии, а может, и раньше, впервые же слово „Сибирь„ появилось в русских летописях в начале XV века в связи с кончиной хана Тохтамыша, того самого Тохтамыша, который уже после Куликовской битвы в княжение Дмитрия Донского спалил Москву, но продержался у власти недолго и в результате междоусобных распрей был убит в «сибирской земле».





Что до слухов о Сибири, время от времени возникавших в древности в Западной Европе, — столько в них было небылиц и сказок, что одних они отпугивали, у других уже и тогда вызвали усмешку. Со слухов же Геродот записывает в «Истории», имея в виду, очевидно, Урал: «У подошвы высоких гор обитают люди от рождения плешивые, плосконосые, с продолговатыми подбородками». А дальше не может не усомниться: «Плешивцы рассказывают, чему я, впрочем, не верю, будто на горах живут люди с козьими ногами, а за ними другие, которые спят шесть месяцев в году».

Иностранцам в древние и средние времена еще простительно, когда они считают, что глубины Азии заселены чудовищами с песьими головами или даже вовсе без голов, с глазами и ртом на животе, но вот ведь и русский письменный историк XVI столетия, того самого столетия, когда началось государственное присоединение Сибири к России, рассказывая о уральской стороне, повторяет старые сказки, будто люди там на зиму умирают, а по весне оживают опять. Что удивляться: несколько лет назад в Западном Берлине меня спрашивали: «Что в Сибири делают зимой?», всерьез полагая, будто зимой в наших краях можно только спать.

У П. А. Вяземского, литератора и друга Пушкина, о мнениях такого рода есть любопытные слова: «Хотите, чтобы умный человек, немец или француз, сморозил глупость, — заставьте его высказать суждение о России. Это предмет, который его опьяняет и сразу помрачает его мыслительные способности». Тем более эти слова применимы к Сибири. И в Европу не надо ходить: Сибирь долго «опьяняла» и «помрачала» своего же брата, соотечественника, который во взглядах на нее нес (и несет еще иной раз) такую ахинею и околесицу, что остается теперь пожалеть, что не нашлось никого, кто собрал бы их для забавы в одну книгу. Однако ахинея эта не всегда оставалась безобидной и выражалась порой в указах, которые следовало выполнять.

Как в древности искал, так и сейчас человек продолжает искать чудеса, которые не совпадали бы с ученой упорядоченностью мира. Сибирь, надо полагать, одна из тех областей, где человеческий дух сомнения и противоречия испытал в свою пору немалое разочарование: и здесь, в сущности, то же, что и везде.

Покорителем Сибири стал, как известно, Ермак Тимофеевич. То, что и сам Ермак и его дружина была из казаков, значило очень многое. Казак — татарское слово, оно переводится как удалец, смельчак, человек, порвавший со своим сословным кругом. Казачество зародилось на Руси вскоре после свержения татарского ига и сформировалось в течение XVI века с усилением феодальной и крепостнической зависимости русского народа. Люди, не желавшие выносить никакого, в том числе и отеческого ига, бежали от него в Дикое Поле, в низовья Дона и Волги, основывали там свои поселения, избирали атаманов, принимали законы и начинали новую и вольную, никакому царству, никакому ханству не подчиненную жизнь. Позже русскому казачеству пришлось таки идти под цареву руку, потому что иначе ему было и не выжить, но тогда, в XVI столетии, еще нет, тогда казаки сами себе были хозяева. Царские власти, играя на патриотических чувствах, могли использовать их против своих беспокойных южных соседей, против Турции, крымских и ногайских татар, но могли за самовольство или в результате дипломатических маневров с теми же соседями наслать на них карательные экспедиции — отношения между Москвой и вольным казачеством всегда были сложными, а в первое время в особенности. Одно хорошо: если России угрожала серьезная опасность, казаки считали своим долгом выступить на ее защиту, откуда бы эта опасность ни исходила, — или от ближней Турции, или от дальней Литвы. В Ливонской войне, как доказывают в последнее время историки, принимал участие накануне своего сибирского похода и Ермак Тимофеевич.

В покорении и освоении Сибири казаки сыграли роль исключительную, почти сверхъестественную. Только особое сословие людей дерзких и отчаянных, не сломленных тяжелой русской государственностью, чудесным образом смогло сделать то, что удалось им.

Говоря о фигуре Ермака, трудно не приостановиться и не отдать дань нашей российской слабопамятливости и небрежению... После свержения татарского ига и до Петра Великого не было в судьбе России ничего более огромного и важного, более счастливого и исторического, чем присоединение Сибири, на просторы которой старую Русь можно было уложить несколько раз. Только перед этим одним фактом наше воображение в растерянности замирает — словно бы застревает сразу за Уралом в глубоких сибирских снегах. Однако о Колумбе, открывшем Америку, нам известно все: и откуда он был родом, чем занимался до своего «звездного» часа; известно, когда, какого числа и месяца вышел в первое свое плавание, и во второе, и в третье, и в четвертое, когда достиг американского берега, когда флагманская «Санта-Мария» села на рифы и что было потом... Что Колумб! — о древнеримских императорах и пат-



ридиях мы помним больше, чем о Ермаке. Ну ладно, не мог он вести, как Колумб, судовой журнал, не было возле него, как возле Нерона, замышлявшего убийства, расторопного историка, но ведь не оказалось и совсем никого, кто бы понимал значение его фигуры и величие его похода. Это уж после спохватились, когда выяснилось, что не знаем ни имени Ермака, ни рода, не запомнили и не записали, в каком году выступил он против Кучума, сколько его отряд насчитывал казаков и чем помогли Строгановы, за один ли переход, как считает известный историк Р. Г. Скрынников, он добрался до столицы сибирского ханства Искера, или ему потребовалось возвращаться после зимовки обратно, а затем снаряжаться вновь. Строгановские летописи мы вынуждены подозревать в неточности именно потому, что они строгановские и могли преувеличивать роль этой фамилии в деле присоединения Сибири; на другой документ, на Синодик тобольского архиепископа Киприана, составленный спустя сорок лет после Ермака по рассказам оставшихся в живых участников похода, мы также смотрим с недоверием: уж очень хотелось преосвященному в интересах местной церкви сделать из Ермака святого и потому не подходящие для канонизации факты из его жизни он не задумался бы приукрасить или опустить. Не зря говорят: кто владеет настоящим, тот владеет и прошлым.

И вот уже не одно столетие мы гадаем: верно ли, что Ермак, как поется в народных песнях, до Сибири погуливал, подобно Степану Разину, по Волге и Дону да потрагивал не без корысти купеческие и царские караваны? Или народ, путая добродетели, награждает для пущей славы своего героя тем, что за ним не водилось? Спорим: Ермак — это прозвище или усеченная форма имени Ермолай? А может, от Еремея, от Ермила?

Во взгляде на первого сибирского героя и на его подвиг лучше всего, очевидно, следовать известными, проторенными историей путями. Поправки, которые предлагаются нынешними исследователями, не представляются настолько убедительными, чтобы их можно было безоговорочно принять. Так, едва ли есть основания обеливать Ермака в той части его биографии, которая относится к ватажной жизни на Волге, когда пытаются доказать, что не мог Ермак заниматься непотребным, «воровским», ремеслом. Его соратники могли, а он — нет. Не надежней ли в этом факте положиться на народную память и народное чутье, которые редко раздавали понапрасну подобные доблести. Трудно, кроме того, предположить, зная те времена и нравы, чтобы человек, проведенный в Диком Поле не менее двадцати лет и ставший атаманом, уберется бы от привычных для казацкой вольницы занятий. Как в песне:

Ты прими-де, Грозный царь, ты поклон от Ермака,
Посылаю те в гостинец всю Сибирскую страну,
Всю Сибирскую страну: дай прощенье Ермаку!

Итак, Ермак со товарищи гулял по Волге, принимал участие в битвах и стычках, а род знаменитых купцов Строгановых поселился к тому времени на восточных рубежах Русского царства, по рекам Чусовой, Каме и Лысьве на Урале, завел там прибыльное солеварение, пашенное, промысловое и прочие дела и, не довольствуясь приобретенным, испросил у Ивана Грозного разрешения на земли по Тоболу и Иртышу. Дать такое разрешение Грозному ничего не стоило: эти земли ему не принадлежали, там хозяйничал хан Кучум, собравший воедино сибирские племена и насаждавший среди них ислам. Таким образом, с одной стороны, Строгановы посматривали вождем на вроде бы принадлежавшие, а на самом деле не принадлежавшие им богатые просторы, а с другой — Кучум, набрав силу, все чаще стал тревожить отстроенные поселения. В этих условиях естественно, что Строгановы обращаются за помощью к казакам.

Нам теперь уже не узнать, от кого исходила инициатива — от самого Ермака, когда ему понадобилось от греха подальше уйти с Волги, или действительно от Строгановых, решившихся наконец на серьезные действия по отношению к своему восточному соседу, как не узнать, существовали ли у Ермака сомнения, идти или не идти ему тяжелым и опасным походом в Сибирь, но было бы жаль, если бы вместо Ермака против Кучума выступил другой человек. Уж очень подходящ для этой роли именно Ермак, человек из народа, словно бы самим народом отправленный в Сибирь и не оставленный им без славы. Он да еще Степан Разин стали вечными любимцами русского народа, олицетворением его давних вольнолюбивых устремлений. Но если Степан Разин искал своим бунтом воли на старых русских землях, Ермак открыл, как распахнул, для воли земли новые, сказочные, не имеющие, казалось, ни конца и ни края.

Он выступил походом в зауральскую сторону в 1581-м, по другим предположениям, в 1579, в 1582 годах. При праздновании 300-летия этого события один из русских журналов писал: «Удивителен, конечно, подвиг Ермака, с горстью казаков овладевшего целым царством.

Ермак. Работа неизвестного художника. Из фондов Иркутского художественного музея.

Как ни превосходно ружье перед луком, все же не должно забывать, что саранча тушит целые костры, преграждающие ей путь, хотя и гибнет массами. Казаков было всего лишь пять сотен, а враг считал себя тысячами и при упорной защите отстоял бы себя, если бы во главе русских храбрецов не находилась выдающаяся способностями полководца и администратора личность Ермака и если бы внутренние узы, связывавшие сибирские племена, были крепче. Прославляя подвиг Ермака, нельзя не удивляться и тому, что простолудин явился выражителем исторического закона, который двигал Русь к востоку в Азию и который продолжает вести ее в этом направлении до настоящего времени. Первый, основательный шаг за Уралом сделал Ермак, другие пошли за ним».

Эти другие свершили подвиг не менее удивительный.

* * *

Нет! Все, что смог сделать народ русский в Сибири, он сделал с необыкновенной энергией, и результат трудов его достоин удивления по своей громадности. Покажите мне другой народ в истории мира, который бы в полтора столетия прошел пространство, больше пространства всей Европы, и утвердился на нем! Все, что ни сделал народ русский, было выше сил его, выше исторического порядка вещей.

Н. М. Ядринцев

Непонятно, почему Н. М. Ядринцев, знаменитый сибирский писатель и ученый прошлого века, говорит о полутора столетиях, в которые народ русский прошел Сибирь и утвердился в ней. Очевидно, это относится больше к «утвердился», занял Сибирь во всю ее мощь и ширь и рассмотрел, где заводить пашню, где промышлять зверя, а где копать рудники.

Ермак овладел столицей сибирского ханства Искером, по старым источникам, осенью 1582 года, в августе 1585 года погиб в неравном ночном бою, после чего оставшиеся в живых из его отряда вынуждены были отойти, а уже в 1639 году енисейский служилый человек Иван Москвитин поставил на берегу Охотского моря зимовье, и русские вышли к Тихому океану, в 1648 году Семен Дежнев проплыл проливом, который отделяет Америку от Азии. Уму непостижимо! Кто представляет себе хоть немного эти великие и гиблые расстояния, тот не может не схватиться за голову. Без дорог, двигаясь только по рекам, волоком перетаскивая с воды на воду струги и тяжелые грузы, зимую в ожидании ледохода в наскоро срубленных избушках в незнакомых местах и среди враждебно настроенного коренного кочевника, страдающая от холода, голода, болезней, зверья и гнуса, теряя с каждым переходом товарищей и силы, пользуясь не картами и достоверными сведениями, а слухами, грозившими оказаться придумкой, нередко в горстку людей, не ведая, что ждет их завтра и послезавтра, они шли все вперед и вперед, дальше и дальше на восток. Это после них появятся и зимовья на реках, и остроги, и чертежи, и записи «распросных речей», и опыт общения с туземцами, и пашни, и солеварни, и просто затеси, указывающие путь, — для них же все было впервые, все представляло неизведанную и опасную новизну. И позже, когда каждый шаг и каждое дело сибирских строителей и покорителей без заминки называлось подвигом, нелишне было помнить и нелишне бы почаще представлять, как доставались начальные шаги и дела нашим предкам.

«Он идет по тобольским лесам и нескончаемым снегам с тяжелой пищалью за плечами, выданной на время похода из воеводской казны. Он ищет новые соболиные реки, составляет чертежи. На лыжах он пересекает огромные снежные просторы, мчится на мохнатом гнедом коне, ведя второго в поводу, сидит на корме широкой плоскодонной лодки, и над его головой шумит парус из сыромятной кожи. Его подстерегают опасности. Он слышит, как поет, приближаясь к нему, стрела с черными перьями. Он не щадит себя в «съемом» — рукопашном — бою, и раны его под конец многотрудной жизни нельзя сосчитать. Он спит на снегу, кормится чем попало, годами не видит свежего хлеба, часто ест «всякую скверну» и сосновую кору. Ему много лет не платят государева жалованья — денежного, хлебного и соляного. «Поднимаясь» для прииска новых рек и земель, он все покупает на свои деньги, залезая в неоплатные долги, подписывая кабальные грамоты».

Так рисует портрет первопроходца известный писатель Сергей Марков, начиная свой очерк о Семене Дежневе. И это далеко не все напасти, которые подстерегают на длинных путях «добытчика» и «прибыльщика». Прибавьте сюда еще несправедливость и алчность воевод, таких, как якутский стольник Петр Головин; прибавьте лукавство и заспинные действия

Two pages of handwritten text in a medieval script, likely Church Slavonic. The text is arranged in two columns per page. The script is dense and uniform, with some red ink used for initials or headings. The parchment shows signs of age and wear.

Two pages of handwritten text in a medieval script, likely Church Slavonic. The text is arranged in two columns per page. The script is dense and uniform, with some red ink used for initials or headings. The parchment shows signs of age and wear.



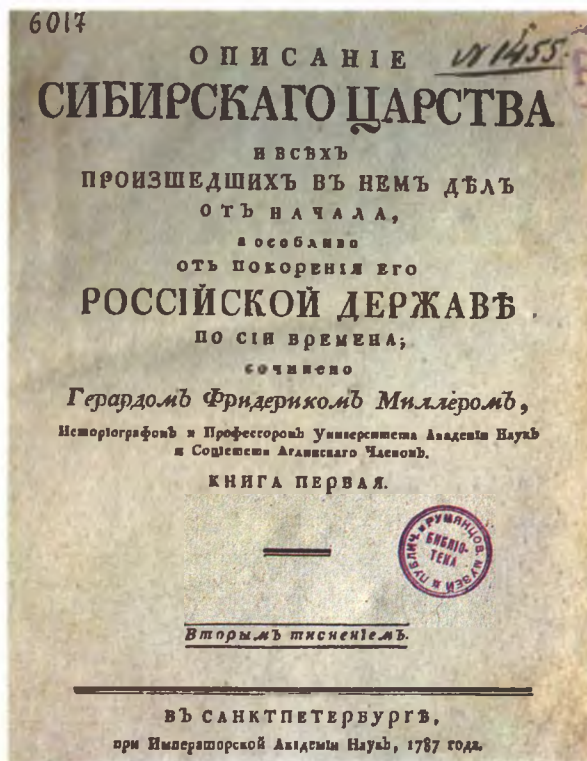
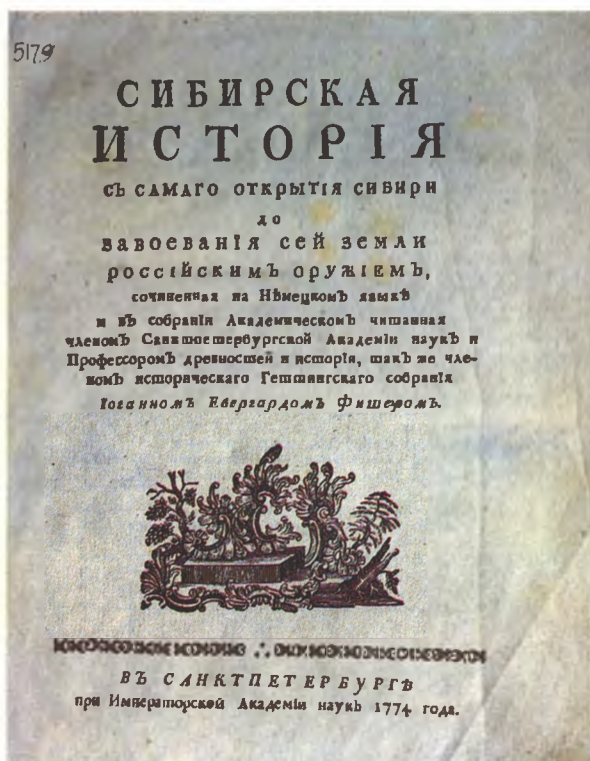
МѢСЯЦА ПОСЛАВІА КИШЕВЪСКОГО КРАЮ
МѢСЯЦА ПОСЛАВІА ВЪ КЪ ДЕНІ И ЧТОВАНІ
ЖИТІЯ И СТРАДАНІА СЪВѢТЛА БЕЛЫЮ
МЪНЦЫ СКАТЕРНИЦЫ ДВѢ ПУТЕШЬСКО
ВЪ КРЕМЪНІА И НЕЧЕСТІВАГО ЦАРЯ МА
ЗЕНТІА БѢ ВЪ ГРАДѢ АЛЕКСАН
ДРІИ ДѢЦА ИМЕНЕМЪ СКАТЕР
НИЦЫ ДЩІИ КОНСТЫ ПРЕЖНАГО
ЦАРЯ СЪЛО КРАСА КОЗРАСТО
КЫСОКА ОСМНАДЕСЯТЬ ЛѢТЪ ИМУ
ЩА СЪЛОЖЕ ПРЕМІА НАДЪЧИСА
ВО ВСЯКАГО СЛАВНАГО ПНЕЛІА

ИМЕНЕМЪ СКАТЕРНИЦЫ ДЩІИ КОНСТЫ
ПРЕЖНАГО ЦАРЯ СЪЛО КРАСА КОЗРАСТО
КЫСОКА ОСМНАДЕСЯТЬ ЛѢТЪ ИМУ
ЩА СЪЛОЖЕ ПРЕМІА НАДЪЧИСА
ВО ВСЯКАГО СЛАВНАГО ПНЕЛІА



The page features a large, highly decorated initial letter at the top, possibly 'С' or 'СВ', with intricate floral and foliate patterns. The text is arranged in two columns. The page is decorated with floral motifs in the margins, including a large, ornate initial at the bottom right.

местных князьков, на которых нельзя было положиться; «правеж», «розыски» и доносы со стороны доглядчиков, без коих редко удавалось обходиться любой русской сколотке; борьба, вплоть до боев, с отпавшими отрядниками, как у Хабарова с Поляковым или у Дежнева со Стадухиным, — это все сверх суровости сибирской природы. Они терпели кораблекрушения, и исчезали бесследно, не оставив о себе ни единой памятки, и зимовали не по разу в местах, называемых ныне полюсами холода, и теряли рассудок в полярных ночах... что и говорить! — Сибирь взяла с них свою дань сполна. Они выходили в пути крепкими и телом и духом казаками, готовыми к любым лишениям, из которых едва ли могли предвидеть и десятую часть, и они заканчивали их, кому удавалось закончить, людьми какой-то особой, сверхъестественной силы и выдержки, людьми, под которыми должна была приклониться земля. После них подобных людей, кажется, уже и не случалось, они были тем, что можно назвать «самострелами» русского духа. Потому что это было движение по большей части стихийное, народное, устремленное на свой страх и риск, за которым не всегда поспевали правительственные и даже воеводские постановления. Для осознания их изнурительного подвига не хватает вооб-



Сокровища сектора редких книг и рукописей
Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения
АН СССР.

ражения, оно, воображение наше, не готово следовать теми долгими и пешими путями, какими шли сквозь Сибирь эти герои.

Что же вело их на восток, что заставляло, пренебрегая мучениями и опасностями, так торопиться? Обычно выставляют одну причину: жажда наживы, необходимость отыскать новые земли, где природные богатства, и особенно пушнина, оставались еще нетронутыми, и желание, служа царю и воеводе, поставить им под ясак новые народцы. Вело, разумеется, и это, но будь это единственной причиной, казаки-первопроходцы так не торопились бы. За те пятьдесят или шестьдесят лет, что прошли они от Иртыша до Тихого океана, соболя и горностая не успели еще выбить и в «проведанной» части Сибири, а остроги, которые наспех ставили казаки по пути на восток, были бедны, малочисленны и не давали им безопасности. Чего бы, казалось, разумней: как следует обустроиться, запастись в достатке провизией и провиантом, обеспечить, по-нынешнему говоря, надежные тылы, а затем не спеша и наверняка двигаться дальше. Но нет, они спешат. А как, представьте, выдержать спокойную и разум-

ную жизнь, как усидеть на месте, если слышно от кочевников: впереди великая река Енисей, потом великая река Лена, по которой живет большой и мастеровитый народ (якуты), а затем реки и вовсе поворачивают встречу солнцу. Нет, не в русском характере здесь усидеть в спокойствии, ожидая указаний, не в русской стихии быть благоразумным и осмотрительным, оставив родное «авось». Можно быть уверенным, что не только корысть направляла казаков и не только, что уже благородней, дух соперничества в первенстве двигал ими, но и нечто большее. Здесь было словно волеизъявление самой истории, низко склонившейся в ту пору над этим краем и выбирающей смельчаков, чтобы проверить и доказать, на что способен этот полусонный, по общему мнению, и забытый народ. Тут немалой частью энергии для столь могучего порыва явилось народное самолюбие.

У нас не принято ставить памятники отличившимся городам. А было бы справедливо где-нибудь на просторах Сибири, предположим, на той же Лене, где к середине XVII века собрались самые деятельные «землесведыватели», выказать и подтвердить благородную память сибиряков Великому Устюгу, городу теперь захиревшему, выпускающему гармоники. А в то время Великий Устюг, когда-то бросавший вызов самому Великому Новгороду, еще гремел, и величие свое он подтвердил в именах Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Василия Пояркова, Владимира Атласова, Василия Бугра, Парфена Ходырева и многих, многих других, добывших себе по сибирским рекам, морям и волокам мужественную славу. Все они из Велико-го Устюга. Это не только удивления достойно, но кажется невероятным: что за окаяния! как их там, в колыбели мореходов и открывателей, наставляли, чем укрепляли дух и кость?! Тут бы для гордости в веках хватило и одного Семена Дежнева, открывшего «Берингов» пролив. «Одиссеей» Ерофея Хабарова почла бы за честь хвалиться любая столица, будь он из нее родом. А Атласов, покоритель Камчатки! А Поярков, «приискавший» огромные территории Северо-Восточной Сибири! И как знать, не из Устюга ли вышел и легендарный Пенда, поперед всех проникший на Лену из «златокопящей» Мангазеи? Не устюжанином ли был и Петр Бекетов, об одной из экспедиций которого И. Фишер в «Сибирской истории» писал: «Намерение свое он произвел с таким малым числом людей, что почти невероятно показалось бы, как россияне могли на то отважиться».

Кстати припомнить еще, что дважды в течение десятилетия (в 1630 и в 1637 годах) Великий Устюг вместе с соседями — Тотьмой и Сольвычегодском — снаряжал в далекую Сибирь большие отряды девиц в «жонки» русским служилым людям. Как не считать после того сибирякам этот город своим родным, как не поклониться ему издалека кровным поклоном! Да и всей русско-северной сторонке, где Новгород, Вологда, Архангельск и Вятка, следует поклониться: оттуда вслед за казаками пришли пашенные и мастеровые люди, оттуда началось первоначальное заселение Сибири.

Сибири суждено было войти в плоть и кровь России, так оно и произошло. Ермак острым и быстрым клином, как ножом, вонзившись в ханскую Сибирь, лишил ее прежней власти, казаки-первопроходцы, наскоро пройдя Сибирь насквозь, простежив ее боевыми острогами, словно бы подшили ее к России. Но русской и оседлой Сибирь сделали не воины, не служивые, промысловые и торговые люди, а хлеборобы. Волны, которыми двигала нажива, накатывали и откатывали — за пушниной, мамонтовой костью, за золотом и другими драгоценными металлами — и, выбив, выбрав богатства, опустошив сибирские леса и по тогдашним возможностям сибирские недра, искатели скорого счастья уходили восвояси и распускали мрачные слухи о том, что Сибирь — страна мертвая и бедная, непригодная ни для удачи, ни для ситого житья. Всегда так — ограбленному спасибо не говорят. Не последние умы еще в прошлом столетии заявляли, удрученные малой, как казалось, производительной отдачей Сибири, что она, Сибирь, питаясь соками России, знает лишь отнимать силы у своей кормилицы. А пашенный человек, пришедший на эту целомудренно пустовавшую землю вслед за казаком, между тем распахивал степь или корчевал под поле тайгу и год от года сеял и собирал хлеб, растил детей, умножал семьи и делал теперь уже свой многотрудный край жилым и доступным.

Этот тихий и незаметный, как прежде говорили, угодный Богу труд сделал решающее дело. В конце концов Сибирь покорилась тому, кто ее накормил. Уже через сто лет после Ермака она стала обходиться собственным хлебом, а еще через сто — не знала, что с ним делать. Интересно, что противники строительства через Сибирь железной дороги в прошлом веке выставляли одним из главных доводов опасение, что по этой дороге Сибирь беспрепятственно завалит Россию своим дешевым хлебом, а России, мол, и собственного девать некуда.

Он, крестьянин, и прирастил окончательно Сибирь к России, сохой завершив огромное по своему размаху и по своим последствиям предприятие, начатое Ермаком с помощью оружия. И надо признать: Сибирь досталась России легче, чем можно было предполагать. Досталась как великая удача, как небывалый, по слову сибиряка, фарт.

Должно отдать справедливость Сибири. При всех недостатках, укоренившихся в ней от постоянного наплыва разных, часто весьма нечистых элементов, как то: бесчестья, эгоизма, скрытности, взаимного недоверия — она отличается какою-то особою широтою сердца и мысли, истинным великодушием.

Михаил Бакунин

Ум сибиряка всецело поглощен материальной наживой, его увлекают только текущие практические цели и интересы. Этот холодный расчет и корыстные страсти подавили в населении всякое идеальное настроение и даже общечеловечность.

Афанасий Шапов

Если бы удалось собрать всю разногласицу высказываний вместе, выяснилось бы, что несибиряки отзываются о сибиряках лучше, нередко с восторгом, чем сами сибиряки о себе. И это тоже в характере сибиряка. Он скорее будет несправедлив, преувеличивая свои недостатки, чем достоинства, и он не станет скрывать разочарования в своих земляках и в своей родине, которые ему хотелось бы видеть совершенней и лучше.

Конечно, попав в другую природную обстановку, оказавшись сзади аборигенов, коренных жителей этих краев, столкнувшись во многом с новыми условиями существования, сибиряк должен был отличаться от обитателей старой части России. Как европеец в Америке превратился в тип янки, так и русский в Сибири видоизменился в тип сибиряка, имеющего отличия и в психическом складе, и даже в физическом облике.

Сразу за Уралом вы встретите лица с азиатчинкой. Признано, что с самого начала русский в Сибири оказался превосходным колонистом. Правда, и здесь были попытки устроить по примеру Северной Америки рабство, материалом для которого послужило бы местное население, однако попытки эти не только ничем не кончились, но провалились с треском, осужденные и правительством, и нарождающейся общественностью, и практикой переселившегося сюда простого мужика.

Что касается правительства, надо сказать, что во всех серьезных спорах между русскими и инородцами оно, как правило, брало сторону последних. Так было и при Петре, и при Екатерине. Конечно, это не мешало воеводам и их людям нещадно обирать и унижать инородцев, но простой мужик, устроившись на новом месте рядом с бурятом или тунгусом, сразу и без труда входил с ним в дружеские отношения, передавая ему свой опыт пахаря и мастера-вогю и перенимая от него навыки в охоте и рыбалке, в знании местных условий и природного календаря. Ничуть не страдая своей избранностью (за русским это, кажется, и вовсе не водится), он стал родниться с аборигеном семейными узами и до того увлекся, что практика эта встревожила и правительство, и церковь. Еще в 1622 году московский патриарх Филарет взывал к сибирскому архиепископу Киприана: «Ведомо нам учинилось и от воевод, и от приказных людей, которые прежде сего бывали в Сибири, что в сибирских городах многие служилые и жилецкие люди живут не христианскими обычаями, но по своим скверным похотям: многие-де русские люди... с татарскими, и с остяцкими, и с вогулицкими поганами женами смешаются и скверная деют, а иные живут с татарскими некрещеными и деют с ними похотность...»

Церковь, впрочем, не была последовательной в своих требованиях, и одним перстом запрещая смешанные браки, другим разрешала их при условии, если иноверцы пойдут под крест. Изредка присылаемых в жены из российских губерний партий девиц не могло хватить на весь огромный край, кроме того, русский мужик вправе был поступать по собственному выбору, поэтому ничего удивительного, что чем дальше в глубь Сибири, тем больше смешанных браков и тем чаще азиатчинка в русских лицах. В Восточной Сибири, к примеру, едва ли не каждое четвертое или третье лицо — с раскосыми глазами и широкими скулами, что придает женской красоте новую очерченность и выразительную свежесть, отличающую ее от усталости и стертости красоты европейской. Сибиряк, получившийся от слияния славянской порывистости и стихийности с азиатской природностью и самоуглубленностью, быть может, как характер и не выделился во что-то совершенно особое, но приобрел такие заметные черты, приятные и неприятные, как острая наблюдательность, возбужденное чувство собственного достоинства, не принимающее ничего навязанного и чужого, необъяснимая смена настроения и способность уходить в себя, в какие-то свои неизвестные пределы, иступленность в работе, перемежающаяся провалами порочного безделья, а также хитроватость вместе с добротой, хитроватость столь явная, что никакой выгоды от нее быть не может. Все это,



НИКОГО ПРА ДСХВБИ КРОМНИ НАЛИНИ СТРАШНИИ ИРОНИ БОЖО
 ДА СОВИТА УЧИТЕ АХИРОФИГЪ МИХАИЛА ПИСАТЕ ПИТОЛАНЕ ДНО
 ИБЛАИВСТВА ПСЕДА ИВЪВЪ ХВЪВЪ СОВОСЪ ИСВОАСА НИВЪВЪ ИИ
 СЛАВНАСА ПОРЕННЮ ПЪХОДЪ А ПОВСЕНАА ИВЪСЛАА ПЪСАШАА



АДХИ ИСАВИ ТВОА ШГНАНИИ ПАМЛЪ

ЦЕЛЪ ТВОИ САН
 БЪ НАНСИ УВТО
 БА БРЪВЪ ВЪТЪ ДНО
 ПРАВОИ ХЪЛЪ ЦЪТКЪ
 А ТВОЕИ ГДИ

ТЪВЪ СЛОВО ИСАИ
 ПОВСОСЪТЪИ

ТЪВЪ СИДАМА
 ПЛАВОНЕ
 ИВЪ СОВЪТЪИ

СОВЪТЪ ТЪВЪ
 ТЪВЪ СЛОВО
 ПОВСОСЪТЪИ
 ПОВСОСЪТЪИ

КРАЕ ШКОУША ПЪ
 ВЪЖИ БЪКОНЕЦЪ ИГРИД
 РАЗРЪШИЛЪ ЕСИ ПОВИЕ
 ПАМЛЪ ЕГО СЪЗЪМО
 МЪ

А ПЪ ГДИ АЦА ПОВСОСЪТЪИ



возможно, еще не достроено, во всем видны две стороны, не сошедшие пока в одно целое, — природе, надо полагать, требуется времени больше, чем у нее было, чтобы довести начатое до конца, но видно, что делом этим она занимается не без удовольствия.

Говоря о характере русского сибиряка, нелишне повториться, что с самого начала его формировала народная вольница. Колонизация Сибири прежде всего была народной, и раньше тех, кого правительство направляло «по выбору» и «по указу», сюда пробирались отряды «вольноохочих». В Сибирь шли люди, уходившие от ограничений и притеснений и искавшие свободы всех толков — религиозной, общественной, нравственной, деловой и личной. Сюда двинулись и те, кто не в ладах был с законом, чтобы скрыться в зауральских глубинах от наказания, и те, кто искал справедливого общинного закона, который бы противостоял административному гнету, и те, кто мечтал о сторонушке, где бы вовсе не водилось никаких законов. Рядом с авантюристом шагал праведник, рядом с тружеником — пустожил и пройдоха. Религиозный раскол XVII века двинул в Сибирь десятки тысяч самых крепких, самых стойких духом и характером людей, которые отказались признать церковные и государственные нововведения и предпочли им уход из мира в неприступную глухомань. Ещё и теперь в наших лесах находят их поселения, где человек в языке, обычаях, верованиях, в одежде и способах существования остался таким же, каким он был триста лет назад. Можно удивляться фанатичности этих людей, но нужно удивляться и их жизнестойкости и твердости, выходящих за границы наших представлений об этих понятиях. Все сходилось в Сибири — и староверческая община, отличавшаяся чистой и крепкой нравственностью, противостояла здесь ссыльно-уголовному братству, которое держалось законами совсем другого рода. Н. М. Ядринцев отмечал: «Эти села потому и носят характер старины, потому в них видны сила и порядок, что главную массу их населения составляют раскольники. И в других раскольничьих селениях Сибири, где бы они ни попадались, в Восточной или Западной Сибири, видна та же порядочность, то же довольство во всем. Самая наружность жителей другого рода, точно они составляют особое племя. Красивые, полные, белолицые, свежие женщины в цветных, опрятных сарафанах, опрятные, почтенного вида старики, красивые парни; во всем порядочность, чистота и довольство».

И теперь человек из семейских, как называют староверов, вызывает даже и в сибиряке особое уважение и интерес: из семейских — значит, как правило, надежный товарищ и отменный работник.

В Сибирь всегда шло много народу и много возвращалось обратно. Были времена, когда она напоминала проходной двор — со всем тем неизбежным, как ведут себя люди в проходном дворе. В немалой степени это остается и сейчас. Огромные тысячи, которые постоянно, как прибой, накатывали на громкие сибирские стройки, накатывали, как и положено прибоем, с шумом, музыкой и впечатляющей мощью, по прошествии нескольких лет тихо и незаметно исчезали — словно уходили в песок. Опять новый прибой и новые тысячи — и опять спячивающимися и потайными ручейками отлив, оставляющий на местах весьма небольшую часть прибывших. Объясняется это прежде всего устоявшимся отношением к Сибири: как быстрее и дешевле взять ее богатства. Забота о людях, о которой много говорилось в сибирских условиях подчас соскальзывает на несколько порядков вниз, а поднимать ее с самого начала, с учетом этого соскальзывания, на несколько порядков вверх никак не хотят.

Нечего и говорить — жить в Сибири нелегко. Климат ее, ставший в последние десятилетия более капризным, то и дело подкидывающим сюрпризы, когда под Новый год может зазвучать капель, а в июне пойти зимний снег, едва ли стал более мягким. Суровость и неуютность этих краев издавна устраивали строгий отбор колонистам и всевозможным покорителям. Чтобы прижиться и остаться здесь, нужно иметь дух сибиряка — не минуты подъема, а состояние постоянной готовности ко всякого рода неожиданностям и неприятностям и умение преодолевать их без излишней затраты сил. Этот дух необязательно должен родиться в Сибири, он может развиться где угодно, но должен соответствовать Сибири, войти в ее общую атмосферу сопутствующим движением. Есть люди, ведущие свой род здесь не одним поколением, но так и не ставшие сибиряками, чем дальше, тем сильнее страдающие на чужой для них земле, и есть — кто словно создан для Сибири и, попав сюда, осваивается без особых трудностей. Так что сибиряк — это не только толстая кожа, привыкшая к морозам и неудобствам, и не только упрямство и упорство в достижении цели, выработанные местными условиями, но также и неслучайность, глубокая и прочная укорененность на этой земле, совместимость человеческой души с природным духом. Сибиряк редко изменяет своей родине; охота к перемене мест, ставшая повсюду эпидемией, у него замечается все-таки меньше и существует, как правило, в пределах своего родного края. Отчая земля, живущая в каждом из

нас изначально составом, в сибиряке существует более требовательной страстью — потому, быть может, что и досталась она с великими трудами, память о которых еще не затерялась в череде поколений.

Без упорства и упрямства, в которых нередко упрекают сибиряка, человек здесь не смог бы долго продержаться. Первым насельникам, основателям деревень и сел, в буквальном смысле пришлось отвоевывать в глубинной Сибири у тайги каждый клочок земли. Стоило чуть ослабить силы — лес наступал на отнятую у него распаханную полоску. Тайга стояла стеной, далеко над тайгой нависали горы, с которых никогда не сходят снежные шапки. Длинная зима выматывала силы душевные, короткое лето требовало вдвое больше сил физических. Среди лета ни с того ни с сего вдруг могли ударить заморозки и погубить урожай в тайге, в огороде и в поле на корню, зимой оголодавший зверь заходил в деревню и задирал домашнюю скотину, нападал на человека. В тепло угнетал гнус: комары, мошка да еще мокрец — крохотная, едва видимая ядовитая мушка, тучей налетающая в ненастье. Скот, до-нимаемый мошкой, пасся только ночами, днем стоял взаперти под дымокурором, люди работали в натянутых на голову волосяных сетках, под которыми трудно дышать, обмазавшись к тому же еще для верности дегтем. Все это от дедовских времен дошло и до нас: в моем детстве, в 40-х и 50-х годах, без сетки в среднем и нижнем течении Ангары нельзя было выйти на улицу и на две минуты, в 30-градусную жару (не до загара) обвязывались и закутывались в тряпки с головы до пят, чтоб — упаси господь! — не остался где лоскуток тела; вымазывались дегтем как черти, набивали в голенища сапог и ичигов траву, закрывая все ходы и выходы, — и помогало мало: ходили с опухшими глазами, с разъеденными, в кровавых поло-сах, руками и ногами.

Про наших комаров итальянец Сомье, побывавший за Уралом в конце прошлого века, писал: «Если бы Данте путешествовал по Сибири, то из комаров он сделал бы новую казнь для своих преступников». За двести и сто лет до того и сто лет спустя комары здесь, кажется, мало изменились, лучше человека приспособившись в нынешнем веке и к дыму, и к угару, и ко всем остальным изменениям в их владениях.

Чтобы выстоять и не опустить руки, мало было иметь крепкие силы, надо было иметь еще и крепкий дух, дух гордого сопротивления и неубывающего упрямства: а все-таки выдержу, не уйду, все-таки я сильнее.

Не подправил ли Бог этот край в Сибирь в самом конце своего творения, когда он усом-нился в человеке? — вот как, озирая со своего поля расстилающиеся перед ним неласковые дали, в скорбной гордыне мог размышлять в ту пору сибиряк.

Прибавьте к его несчастьям в прошлом еще одно зло — бродяг. Известно, что Сибирь — край каторги и ссылки, куда со всей огромной и законом не устроенной империи сваливали за всякую, большую и малую провинность, полагая это пользой для малонаселенного края. Почему-то принято считать (надо думать, по воспоминаниям, которые уголовники не пи-шут), будто сюда направляли едва ли не только политических ссыльных. Кстади, с полити-ческими ссыльными, от декабристов и польских повстанцев до марксистов и большевиков, Сибири повезло, хотя сами они, оказавшись здесь, разумеется, не считали, что им повезло. Но добро есть добро, в каких бы обстоятельствах оно ни творилось, и для нашего темного в ту пору и малоизученного края их деятельность в науке, культуре и просто нравственном и личностном воспитании явилась огромным благом. Одно присутствие здесь декабристов, разбросанных в ссылке по всем просторам Западной и Восточной Сибири, имело на обще-ственность такое влияние, что, во-первых, будучи во многих местах разрозненными умами, она стала общественностью и, во-вторых, обрела цели, которые в конце концов привели к открытию Томского университета.

Но Сибирь в основном была наводнена уголовниками. В некоторых углах их насчитыва-лось больше, чем местных жителей, и понятно, что ничему другому, как своему ремеслу, они их учить не могли. Дело даже не в развращении нравов; коренной сибиряк был достаточно устойчив, чтобы не поддаться ему, — главная беда исходила от густого бродяжничества этих людей. Надзор за ними никуда не годился, убежать с места поселения было намного легче, чем выжить затем в дороге, поэтому человек, решившийся на побег, готов был на все — на вор-овство, на грабеж, на убийство. Это мы теперь, выпевая жалостную песню о бродяге, кото-рый «к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет», сокрушаемся о его погубленной судьбе — предок наш плакал от него горькими слезами. Он держал оружие не только против зверя, но и против темного человека, который в любой момент мог постучать в окно и потребовать все, что ему заблагорассудится. Надо ли удивляться после этого недоверчивости и скрытности сибиряка, его якобы недружелюбности и холодности? Да, недоверчив, холоден, приглядчив, но только поначалу, пока не изучит тебя и не поймет, что ты зла не несешь, — и тогда душа на-распашку, и этот же человек, который вот-вот, казалось, завернет тебя с порога, принимает и

угощает как родного брата, без лишних слов и ненужных чувств, но хлебосольно, дружелюбно, с той искренностью и радушием, с которыми и должен радоваться в этом мире человек человеку.

О гостеприимстве сибиряков ходят легенды, быть может, несколько преувеличенные, имеющие, однако, немалые основания, чтобы им появиться и держаться.

Деревни и села по рекам отстояли друг от друга далеко и были небольшими, круг людей в них один и тот же, поэтому, истосковавшись в долгом таежном промысле и страдных делах по свежему человеку, сибиряк умел ценить общение и пользоваться им. Оно было для него как праздник. Да и просто отношения друг с другом, со своими соседями и односельчанами отличались основательностью и серьезностью. Сердце по пустыкам на мелкие обиды и ссоры не сворачивали, а дружили — так дружили, враждовали — так враждовали, все в полную силу и по полной мере.

Без взаимовыручки и общинного духа обойтись здесь было труднее, чем где-либо в другом месте, и этот общинный дух, как ни странно, прекрасно уживался в сибиряке рядом со скрытностью и индивидуализмом: одно — для связей с миром понятным и привычным, другое — для всего, что представлялось посторонним и подозрительным и чего в Сибири хватало с избытком. Уходя из таежного зимовья, охотник обязательно оставлял сухую растопку, спички, соль, еду — мало ли в каких обстоятельствах может оказаться человек, который придет сюда вслед за ним. Этот закон неукоснительно соблюдался веками и стал исчезать только в самое последнее время. Для тех же бродяг, от которых сибирский старожил много страдал, он, запираясь на ночь, не забывал вынести на специально вырубленное для этой надобности в глухом заплоте окно кринку молока и буханку хлеба: поешь, путник, и следуй дальше. Выносил прежде всего из сострадания, а уж потом — чтобы отвести от своей усадьбы злую руку. И принято было отдавать последнюю копейку, когда по городам и селам, от дома к дому и от избы к избе неизвестные люди, пряча глаза, собирали «на побег товарищу».

Но больше всего на характер сибиряка повлияла сама Сибирь — как земля, как мир, в котором он жил и воздухом которого он дышал, как рождающая и несущая его родина. Подобно тому, как «в народах отражается их отечество» (А. П. Щапов), в человеке отражается его отчий край.

Нас могут подавить лишь то величие, та мощь, которые неестественно и резко выделяют среди всего остального, делая сравнение грубым и печальным. Когда же все в природе вокруг соразмерно, выдержано в одном крупном масштабе, это возвышает, в свою очередь, и человека. Генетика земли — вещь столь же изначальная и определенная, как и генетика крови. Ввиду великой природы и ее неослабевающего торжества человек невольно чувствовал себя значительным и сильным. Малолюдность увеличивала в нем это настроение. Огромные труды, затраченные, чтобы закрепиться и выжить на этой нелегкой земле, способствовали относиться к себе с уважением — как к величине того же порядка, что и все вокруг, и даже выше. Весь мир рядом дышал суровым достоинством и свободой, затаенной глубиной и крепостью, и во внешнем покое ощущалось пружинистое напряжение — сибиряк, естественно, перенял этот дух, и, наложившись в нем на стихию прадедовской вольности, он затвердел, пожалуй, чуть больше, чем надо. Неверно, что сибиряк не общителен, но общительность его с равным носит характер соревнования и соперничества, с неравным — покровительства. И то и другое проявляется без нарочитости и принятой на себя роли, проявляется само собой, но всегда сибиряк помнит, что он сибиряк, и дает понять это другим. Гордость от своего природного происхождения доходит в нем порой до гордыни. Сейчас это качество, разумеется, сильно ослабло, но не утратилось совсем.

Важно еще, что здесь никогда не существовало крепостного права, давившего на человека и физически, и морально, лишавшего его самостоятельности и гнетуще влиявшего на его отношение к труду и вообще к жизни. Сибиряк привык полагаться на себя. Земли было вдоволь; сколько хочешь, сколько можешь — бери и обрабатывай. Административный гнет, тяжкий в городах, до деревни доходил слабыми и обессиленными распоряжениями, которые опытный мужик не торопился исполнять. Русская пословица: «На Бога надейся, да сам не плошай» — имела тут прямой и практический смысл. И действительно, сибиряк не отличался глубокой созерцательностью и набожностью (кроме, разумеется, раскольников); расчетливый ум преобладал в нем над чувством, но преобладал не из корысти, а из самого склада здешнего старожила. Странно было бы искать в этом рожденном из постоянного сопротивления, закаленном в лишениях, «огнеупорном» духе расслабленность и размягченность, свойственные жителю степной России. Но это говорится уже не в достоинство сибиряку, а для того, чтобы показать, что в нем есть и чего в нем нет. Он и голову задирает, глядя в небо, как на могущественного соседа, мечтая верой приспособить его для себя и своего хозяйства.



Сибирская деревня.

Ленские столбы. ►



Можно сказать, что во всех своих качествах, удачных и неудачных, плохих и хороших, сибиряк есть то, что могло произойти с человеком, за которым долго не поспедали ограничительные законы.

Но, размышляя о сибиряке как о выделившейся благодаря отбору и местным условиям русской ветви, не следует забывать, что он расселился на огромных территориях, происходил из различных социальных групп и только поэтому уже не мог быть одного лада и одного покроя. Алтаец, выходец из сурового раскола, и забайкалец, предок которого сослан был в рудники, или прямой потомок вольного казака на берегах Енисея — все они мало походят друг на друга. И потому всякие попытки вывести из сибиряка нечто единое и общее имеют весьма приблизительные очертания.

Впрочем, на то он и сибиряк, на то она и Сибирь, чтобы не поддаться полному извлечению из себя и остаться вещью в себе.

Мы любим иной раз сказать не без гордости: «Сибирь — Россия больше, чем Россия».

В этих словах, появившихся не сегодня и ставших поговоркой, нет и намека на противопоставление или на спор. Сибирь и Россия — одно целое. Сибирь без России не существует, и пускаться по этому поводу в доказательства нет необходимости. Речь о другом. Быть может, из ложного патриотизма, а быть может, из сдвинутых в свою сторону наблюдений, но хочется верить, что некоторые качества русского человека сохранились в сибиряке полнее и лучше. Заслуги в этом мы себе не берем, так сложилось, и не может быть, чтобы чувства наши совсем не имели под собой никаких оснований. Еще в прошлом веке отмечалось: «Сибиряк-крестья-



нин представляется тем русским человеком, каким он был в России древле, до появления кабалы, холопства, крепостного права; природные свойства русского земледельца получили здесь свободное развитие» (С. Я. Капустин).

Можно припомнить в этой связи, что всякое иностранное влияние, будь оно немецким или французским, которым, как пожаром, загорались прежде время от времени российские столицы, добравшись за тысячи верст на лошадках до Томска или Иркутска, неминуемо покрывалось сибирским куржаком и переходило на крепкий сибирский «диалект». Можно сослаться на традиционную недоверчивость сибиряка, который не вдруг бросится исполнять погоняющие друг друга указания, дотошливо примериваясь, будет ему от них польза или нет. И можно, внимательно присматриваясь к сибиряку, заметить, что при всех потерях, случившихся в его характере в последние десятилетия, он остается все же в границах более или менее здоровой морали и искренних отношений, что по нынешним временам ой как не худо. Но самое важное: русский человек (как и всякий другой в своем изначальном национальном замесе), чувствуя себя вполне русским и вполне человеком лишь среди создавшей его материнской природы и растерявшийся там, где связь с нею нарушена, в Сибири все-таки имеет пока возможность жить среди родных степей и родных лесов. Хотя и приходится огорчиться, что возможность эта с каждым годом стесняется и уменьшается, а если и действительно удастся совершить поворот сибирских рек, она, бесспорно, исчезнет совсем.

Конечно, сибиряк ныне уже не то, чем он был даже и сто лет назад. Его «сибирская порода» сильно разбавлена, и, кажется, совсем немного остается, чтобы она превратилась в одно лишь географическое понятие. Бесследно ничто не проходило — ни каторга и ссылка, ни массовое переселение крестьян после освободительной реформы и до начала первой мировой войны, когда в Сибирь перебралось четыре миллиона человек — почти столько же, сколько в ней было своего населения. Лишь крепкие, устоявшиеся нравы, не без помощи матушки-природы, в течение десятилетий смогли воспитать из них сибиряков. При этом важно еще, что переселенец приходил сюда на постоянное жительство и волей-неволей вынужден был считаться с местными писаными и неписаными законами. Когда же тридцать и двадцать лет назад началось новое «покорение» Сибири и хлынули на стройки могучие призывные волны, для них этого препятствия уже не существовало. Молодежь ехала сюда прежде всего как на строительную площадку, откуда, сделав свое дело, научившись ремеслу и заработав на семью, в любой момент могла уехать — как оно чаще всего происходило и происходит. Быть может, у возвращающихся из Сибири и остается к ней теплое чувство, которое они увозят с собой, но на месте они оставляют легкое и стороннее отношение к земле, на которой им временно довелось работать и которая так и не стала для них родной.

И перед числом временных и сезонных людей коренной сибиряк вынужден был посторогаться. Он и пашет, и строит, и рубит, и добывает, доля трудов его в происходящих в Сибири переменах гораздо больше, чем это может показаться по газетам и журналам, но все он делает как бы вослед, увлекаемый мощными хозяйственными и индустриальными потоками. Он словно бы инстинктивно, по чувству и долгу сибиряка, выбирает место, откуда способней и легче будет парадеть о родной для него земле.

И в городе, и в деревне он сильно изменился, теперешний сибиряк. Но он все еще сибиряк, и тем сильнее он тоскует о потерянных своих качествах (для примера можно сослаться на героев книг и фильмов Василия Шукшина), чем больше они были необходимы ему для крепости и надежности в жизни. Но именно это и дает надежду, что за оставшееся в нем «нутро» он станет держаться со свойственными ему упорством и упрямством.

* * *

А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом.

И. А. Гончаров

Холодные и дикие просторы!..

Как давно были сказаны впервые эти слова и были ли они сказаны кем-то, или они всегда беззвучно и властно, как дух, стояли над Сибирью, ниспуская на человека путешествующего тоску и тревогу? Ибо если и были они сказаны, то человеком путешествующим, заранее робевшим перед теми огромными расстояниями и тяжелыми испытаниями, которые ему предстояло преодолеть. Он переезжал Урал, останавливался перед пограничным столбом, испитым прощальными, раздирающими душу надписями каторжников и просто людей, не ждавших впереди ничего хорошего, потом трогал дальше, но впечатление, оставленное надписями и усиленное собственной печалью, овладевало им надолго. Медленно и томительно

стягивались назад версты, одна и та же стояла перед глазами картина, как казалось ему, унылая и безжизненная, сквозь которую донимавшая его разбитая дорога напоминала дорогу в ад. А тут еще по ней, по этой дороге, колонны несчастных — то арестантов, то переселенцев, ищущих доли, оборванных и напуганных, а тут еще встречный краснорожий лихач понужнет без причины злым словом — все как на обороте нормальной человеческой жизни, все как в чужбине, которой никогда не обогреться и не обласкаться и которую нельзя представить для кого-нибудь желанной родиной.

С этим настроением и ехал путешественник и день, и два, и три, сквозь тяжелое раздумье заметив однажды, что небогатый лес по сторонам дороги сменился степью. Но и она надолго застыла в своем однообразии, и она казалась бесконечной, не способной вызвать теплое чувство. Ее приходилось лишь терпеть и ждать, что будет дальше, и в худшей, но новой картине надеясь найти облегчение для изнурительного взгляда.

И оно, облегчение, действительно наступало. Очнувшись, как от глубокого сна, путник вдруг отмечал с удивлением и отрадой, что и утомявшие его колки, и все чаще и смелее выступающие из непроезжих краев леса с сосной и лиственницей, и сама земля, постепенно теряющая ровную стать, начинают волновать его все сильнее и сильнее, все ощутимей рождая в нем отзыв как бы на изначально заказанную встречу. И он уже не понимал, отказывался понимать, почему мог он равнодушно смотреть по сторонам, что случилось с ним, если отворачивался он от этой редкостной красоты.

Антон Павлович Чехов, пересекавший еще на лошадях в конце прошлого века Сибирь в поездке на Сахалин, проскучал до самого Енисея. «Холодная равнина, кривые березки, жужицы, кое-где озера, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков Оби — вот и все, что удастся памяти сохранить от первых двух тысяч верст». И даже женщина — «женщина здесь так же скучна, как сибирская природа». А подъехав к Енисею, ахнул: «...в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея». И следовал дальше в восторге и от сумрачной бесконечной тайги, и от рассказов бывалых людей об охоте и жизни.

Другой русский писатель, И. А. Гончаров, за сорок лет до Чехова проезжавший Сибирь в своем кругосветном путешествии с противоположной стороны — от Охотского моря, после богатых и тучных тропических красот, после Китая и Японии, сначала едва выносил стылые и раскрытые просторы Северо-Восточной Азии. Но неподалеку от Лены встрепенулся и он. И даже от зимней, укрытой снегами и льдом, даже от безжизненной в эту пору великой реки отыскалось в уставшем путешественнике свежее чувство восторга и проникновения, с которым он, называя себя романтиком, и продолжал путь.

В обоих случаях так оно и должно было случиться. С какого края к ней ни подъезжай, Сибирь не торопится раскрываться, и лучшие свои творения с любовью и вкусом она расположила в глубине. Впрочем, это еще и вопрос: что считать лучшим? И два человека не сойдутся здесь в одном мнении. Мне, как жителю срединной Сибири, представляется, что лучшее — подле Байкала, Саян и Енисея; алтаец станет уверять — что у него, на Алтае; чукча — что оно по берегам холодных северных морей. Каждому из нас мила своя родина, вот еще качество сибиряка: горячий патриотизм. Но сейчас речь идет не о местных мнениях, а об общем и, по возможности, беспристрастном взгляде на Сибирь, как на страну, которую творила Природа.

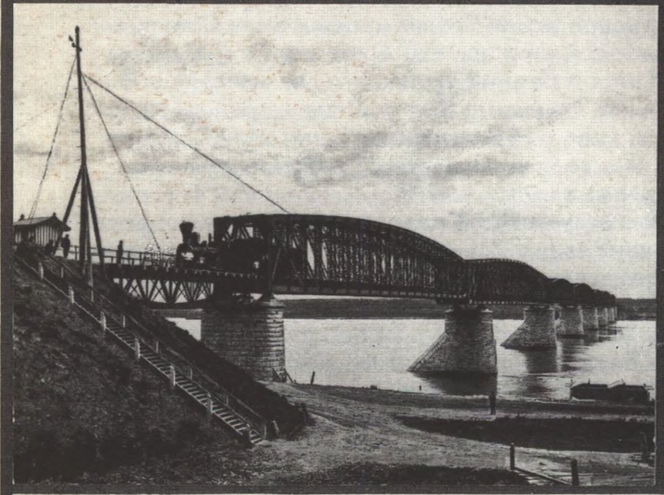
Уверен: те же самые картины, которые при въезде в Сибирь показались нашему путешественнику унылыми и безрадостными, на обратном пути преобразятся до такой степени, до того станут и уместными, и притягательными, и способными сильно подействовать на эстетическое чувство, что он возьмется оглядываться в недоумении: полно, да это, наверное, другая дорога. Нет, дорога та же самая и те же самые картины, измененные, быть может, лишь следующим временем года, но путешественник уже не тот. Он уже побывал в Сибири, он многое повидал, поразившее его воображение, сибирские впечатления и в нем самом открыли какие-то новые и славные просторы, о которых он прежде не подозревал.

Сибирь имеет свойство не поражать, не удивлять сразу, а втягивать в себя медленно и словно бы нехотя, с выверенной расчетливостью, но, втянув, связывать накрепко. И все — человек заболевает Сибирью. После сибирской язвы, теперь, кажется, не существующей, это

Из фотографий начала века:

1. Переселенческий пункт близ станции Канск.
2. Мужская гимназия в Красноярске.
3. Мост через реку Обь.
4. Вагон-церковь.
5. Красноярск.
6. Молебен при закладке моста через реку Енисей.
7. Старая церковь в Якутске.
8. Катание на собаках в Якутске.

9. Переселенческий пункт близ станции Боготол.
 10. Станция Тайга.
 11. Ледокол «Байкал».
 12. Водонапорная башня.
 13. Мужская гимназия в городе Томске.
 14. Женский монастырь в городе Томске.
 15. Гостиный двор в городе Красноярске.
 16. Укладка пути.
- (Из альбома «Великий путь», г. Красноярск, издание М. Б. Аксельрод и К°, 1899 г.)





самая известная болезнь: всюду после этого края и долго человеку тесно, грустно и скорбно, всюду он истязается мучительной и неопределенной недостаточностью самого себя, точно часть себя он навсегда оставил в Сибири.

В нашей природе все мощно и вольно, все отстоит от себе подобного в других местах. В Западной Сибири равнина — так эта равнина, самая большая и самая ровная на планете, болота — так болота, которым и с самолета нет, кажется, ни конца и ни края. Восточносибирская тайга — это целый материк, терпящий, к слову сказать, и самые страшные бедствия в своей жизни от вырубок и пожаров. Реки — Обь, Енисей, Лена — могут соперничать лишь между собой. В озере Байкал пятая часть пресной воды на земном шаре. Нет, все здесь задумывалось и осуществлялось мерою щедрой и полной, точно с этой стороны, от Тихого океана, и начал Всевышний сотворение Земли и повел его широко, броско, не жалея материала, и только уж после, спохватившись, что его может не хватить, принялся выкраивать и мельчить.

Но это о размерах, об объемах, а что сказать о сибирской красоте? И разве возможно, к примеру, выразить словом хоть приблизительно что-нибудь, достойное его, о Байкале? Любые сравнения, любые слова будут лишь слабой и блеклой тенью. Если бы не могучие, под стать ему, Саяны рядом, не Лена, берущая неподалеку свое начало, не Ангара, несущая байкальскую воду к Енисею, можно было бы решить, стоя на берегу этого чудо-озера и глядя на его ближние контуры и воду, на его краски и озаренность сверху, от которых даже и не тает, а обмирает в глубоком обмороке душа, — можно было бы решить, что Байкал случайно обронен с какой-то другой планеты, более радостной и богатой, где с тамошним жителем он был в полном согласии. С тем же чувством смотришь на Телецкое озеро на Алтае. Эталон красоты европейской — Швейцарию — к Горному Алтаю подставляю особенно часто, природа здесь не просто живет, а царствует безбрежно и всевластно и, словно устыдившись своих высот — высот не над уровнем моря, а над уровнем человеческого восприятия, начинает от великодушия спускаться вниз, с державной легкостью снося свои богатства, чтобы, как зримые божественные звуки, прозвучали они зазывно и одобряюще. Не случайно именно здесь, на Алтае, два столетия подряд искали русские люди таинственное Беловодье, легендарную страну, устроенную, как рай земной, где они могут зажить в полном счастье. Искали и, по их представлениям, находили, приводили сюда из Европейской России, с Урала и из Сибири равнинной своих земляков, начинали строиться и пахать — было же, значит, в этих местах что-то особенное, не рядовое, что заставляло смотреть на них с благословенной надеждой. И все здесь могло быть как в раю — да подводил человек, добравшийся со своими привычками, законами и установлениями в любую глухомань.

Сибирской Швейцарией называют и Минусинский район на южной границе Западной и Восточной Сибири в Красноярском крае. Если есть в Швейцарии или где-то в теплой Европе невесть как попавший туда уголок Сибири, тогда объяснимо: их перепутали, и то, что предназначалось Европе, очутилось здесь по счастливой случайности. Везде вокруг Сибирь как Сибирь, а в минусинской котловине на удивление созревают арбузы, дыни; помидоры вырастают настолько крупными, что с ними едва ли могут соперничать и южные.

Впрочем, у нас немало таких вкраплений несибирского, казалось бы, свойства. На Байкале есть уголок по реке Снежной, где рядом с лиственницей и кедром соседствуют неохватные реликтовые тополя и голубые ели. О Байкале лучше не заводить разговора. Здесь слишком много всего, от простейших растений до крупных животных, существует в единственном, нигде более не повторяющемся виде, а если и повторяющемся — в этом краю по природным законам быть не должном. Откуда, как — непонятно. Ученые, продолжая открывать их, продолжают и недоумевать. Не все знают, что в некоторых благодатных байкальских местах солнечных дней в году больше, чем на южных курортах (недавно я прочитал в одном солидном издании, что Иркутск по количеству получаемого солнца после Давоса занимает второе место в мире), а вода, в самом Байкале постоянно холодная, ледяная даже и летом, в заливах нагревается выше двадцати градусов. И как не предположить тут, что все это объяснимо и необъяснимо удачные исключения для того и представлены, с той заведомой целью и созданы, чтобы подсказать человеку, что ему делать, в какую сторону преобразовывать Сибирь, если она покажется скучной и неудобной.

Как и все в Сибири — как человек, земля, климат, — сибирская природа не может быть всюду на одно лицо. Представьте только расстояния, о которых пришлось бы говорить, чтобы выразить их общим понятием. И лишь зимой все в ней из конца в конец оцепеневает в одной тяжелой недоступной думе. Оголенно и стыло лежат белые равнины, успокоенно, как оставленные пограничные преграды, выступают из снегов и склоняются под снегами горы, дремлет в набрякшем морозном узоре тайга, покрываются льдом озера и реки. Все обращено внутрь себя, все заморожено одной исполинской охранной силой. В эту пору хорошо пони-



маешь, откуда в прошлом могли возникнуть легенды не только о засыпающих на зиму людях, но и о замерзающих в воздухе, не долетевших до слуха словах, которые с весенним теплом способны оттаивать и звучать сами по себе, вдали от сказавшего их человека.

В Сибири легко поддаться такому настроению.

Весна у нас — это еще не весна, как ее принято всюду понимать, а добрых два месяца только раскачивание зимы: тепло — мороз, тепло — мороз, пока не свернет наконец на устойчивое тепло. И тогда торопится оттаять и расцвести, распуститься и зазеленеть все вокруг наперегонки. В северных широтах это похоже на выстреливание лета: еще вчера было разорно и голо, еще только приготавливалось к переменам, а сегодня уже завылдывало отовсюду дружной всхожестью, завтра — загорится полным летним заревом. И запольхает красотой яркой и отчаянной, не способной на оглядку: как медлительна зима, так торопливо лето. Только-только начало августа, а уж оно на свороте и заходит в него по-свойски, как домой к себе, осень. С тем и живет лето: с одной стороны поджимает холодная весна, с другой — осень.

Зато осени стоят долгие и тихие. Конечно, год на год не приходится, и бывает по-всякому, бывает, что и этой поре не удастся задержаться, но чаще всего, рано наступив, она поздно и отстывает, давая возможность всему живому в природе, отстрадавав, отдохнуть и понежиться под солнцем. И не редкость: обманутые неурочным теплом, во второй раз за сезон набухают почки, и расцветает по склонам гор багульник, любимый сибиряками кустарник, по виду неказистый, корявый, но так радостно, так самозабвенно цветущий фиолетовым или розовым роспуском. И подолгу горят-догорают леса, пламенея широким разбросом осенних красок, здесь особенно чистых и сияющих, высоко и радужно наполняющих собой воздух.

«Горят», «польхают», «заревом», «пламя» — это не из страсти к пожарной лексике. Так оно в Сибири и есть. Сибирской природе не свойственна ленивая и сытая красота южных мест, ей приходится, повторюсь, торопиться, чтобы успеть расцвести и отцвести, принеся плоды, и делает она это с выверенной стремительностью и скоротечным, но ярким торжеством. Есть у нас цветы, которые за Уралом не растут, они так и называются: жарки, огоньки. В июле, когда они распускаются, сочным, праздничным заревом озаряются таежные поляны, и ничем нельзя поколебать впечатления, будто от них ощутимо доносит тепло.

Итак, стремительность в одно время года и медлительность — в другое, с неровными и непрочными в своих границах переходами — это и есть Сибирь. Порывистость и оцепенелость, откровенность и затаенность, яркость и сдержанность, щедрость и сокровитность — уже в понятиях, имеющих отношение не только к природе, — это и есть Сибирь. И, размышляя об этих двух едва ли не противоположных началах, вспоминая, как велика, разнообразна и непроста Сибирь, с той же порывистостью кидаясь вслед беспокойному зову и с той же сдержанностью приостанавливаешься: Сибирь!..

Слишком многое сходится нынче в этом слове.

И так хочется из этого огромного и сложного клубка связанных с Сибирью противоречивых надежд и устремлений, так хочется добыть из него, как волшебное жемчужное зерно, одну простую и очевидную уверенность: и через сто, и через двести лет человек, подойдя к Байкалу, замрет от его первозданной красоты и чистых глубин; и через сто, и через двести лет Сибирь останется Сибирью — краем обжитым, благоустремленным и заповедным, а не развороченным лунным пейзажем с остатками закаменевших деревьев.

В каждом развитом духовно человеке повторяются и живут очертания его родины. Мы невольно несем в себе и древность Киева, и величие Новгорода, и боль Рязани, и святость Оптиной Пустыни, и бессмертие Ясной Поляны и Старой Руссы. В нас купиной неопалимой мерцают даты наших побед и потерь. И в этом смысле мы давно ощущаем в себе Сибирь как реальность будущего, как надежную и близкую ступень предстоящего возвышения. Чем станет это возвышение, мы представляем смутно, но грезится нам сквозь контуры случайных картин, что это будет нечто иное и новое, когда человек оставит ненужные и вредные для своего существования труды и, наученный горьким опытом недалеких времен, возьмется наконец не на словах, а на деле радеть о счастливо доставшейся ему земле.

Это и будет исполнением Сибири. Таким и должен быть сибиряк, житель молодого и славного края, — края, имеющего право на свое будущее.



ГЛАВА ВТОРАЯ

Тобольск

В сибиряке Тобольск, хоть бывал он в нем, хоть не бывал, живет так же, как в россиянине Москва, как в славянине Киев. Древлестольный, былинный Киев, первопрестольная Красная Москва и восточный стольник, под управой которого находился огромный полунощный край, младовеликий Тобольск. Удалью русского человека добытый и поставленный, удальством живший, леворукий у Москвы, но ох, длинна была эта рука, и много она пригребала Москве! У Киева Владимирская горка, у Москвы под кремль Красный холм, у Тобольска — тридцатисаженный Троицкий мыс при слиянии Иртыша и Тобола, с которого открываются для прозора по-сибирски удесятеренно размашистые картины, и открываются они туда, куда и приставлен был смотреть Тобольск, — на восток.

Тобольск появился на свет в ту пору, когда с присоединением Казани и Астрахани Русь только-только переходила в Россию. Но волжские земли до самого устья всегда были как бы свои, самой природой предназначенные под одну руку, еще не прибранные «украины», прибор которых оставался делом времени и силы. А дальше природа рубеж Уралом поставила слишком заметный. Это обстоятельство тоже играло, надо полагать, не последнюю роль в замешке Ивана Грозного, остановившегося за Волгой. Он еще именуется себя, не привыкнув к титулу царя, одновременно и великим князем всея Руси. А уж недалеко оставалось до империи. И появление Тобольска, а вместе с ним

скорый прибор многих языков и стран на востоке, для перечисления которых при поименовании самодержавства государя у писцов не хватило бы чернил, явилось для защиты крепкими воротами, а для завоеваний — широкими и прицельными. Роль Тобольска, как сама собой разумеющаяся, в приращении территориального российского могущества историками обычно не взвешивается, а она потянет зело много. Еще до побед Петра Великого отец его Алексей Михайлович благодаря одним только сибирским приобретениям мог бы именоваться императором. И в царствование Петра азиатская Россия как не преодоляла ли европейскую, из Москвы и Петербурга за Урал от великости поприщ можно было смотреть только с закрытыми глазами, чудь, и переписанная поименно воеводами, все одно оставалась чудью. И только Тобольск со своего Троицкого холма должен был все видеть и знать, разведывать и догадываться, строить и прибирать, требовать и обещать, повелевать и ответственность, озабочиваться продовольствием и провиантом, людьми служилыми, надельными и мастеровыми, мягкой рухлядью и рудами, вести учет и догляд, казнь и милость, вести дипломатию с местными князьями на всем протяжении огромного края и с иностранными владыками за его пределами.

Он был столицей Сибири, отцом сибирских городов. Лишь Москва и Тобольск могли принимать послов и отправлять посольства. Все, что утверж-

далось в Сибири — летописи, училища, книги, театр, науки и ремесла, православию, ссылка, лихоимство, фискальство и т. д., — все это и многое другое начиналось с Тобольска и только после распространялось вглубь. Во всем он был первым. В 1593 году он принял первого ссыльного — угличский колокол, возвестивший убийство царевича Димитрия, а спустя триста с лишним лет, после февральской революции в 1917 году, последнего русского императора с семьей. К этому времени, к моменту высылки Николая II, Тобольск давно захирел, потерял всякую самостоятельность и своей громкой бедностью как нельзя более подходил для утратившей власть династии. В этом был какой-то рок, судьба, какая-то холодно и тяжело взыскующая справедливость. Но она же, судьба, от последнего, от греха и ославы гибели царской семьи, Тобольск отвела.

По Тобольску, по его истории, нравам, мешанине населяющего его люда, удачному разделению на верхний и нижний города, по взлетам и падениям можно почти безошибочно составлять портрет русского характера в Сибири, который постепенно переходил своими отличиями в сибирский, но не успел и снова соединился в одно с русским, теряя затем и эти черты. Новейшая история Тобольска лишь подтвердит лицо теперешнего сибиряка. Понятно, что характер больше всего вызревает в глубинах страны, там же, где вызревают хлеба и ремесла, но как результаты трудов везли в прежние времена на ярмарку, так и его черты заметней проявлялись в городах, где жизнь шла побойчей и пооткровенней.

Начинать рассказ о Тобольске следует, пожалуй, с факта, что, будучи в Сибири долгое время во всем первым, сам Тобольск не был здесь первым русским городом. Хоть чуть, но опоздал. И тут хочешь не хочешь, а надо возвращаться к Ермаку.

Ни одна, похоже, историческая личность не оставила нам столько загадок, сколько Ермак. И в этом оказался он казачком, заметавшим за собой следы. Споры вокруг его имени, мотивов и подробностей похода начались в XVIII столетии, продолжались в XIX, не окончились и сейчас. И чем больше разгадывают истину, тем более запутывают. Меняется дата начала его похода и дата гибели, не однажды переиначивались и обстоятельства самой гибели;

Строгановым то отказывают в пособничестве Ермаку, то признают его; разные историки, пользуясь разными источниками (а разноречивой в сибирских летописях — как гвалт ударившихся в воспоминания, друг друга перебивающих и обрывающих пьяных казаков) и разными предположениями, то одной битве придают значение, то другой, путаются в потерях, именах татарских и русских, погибшие встают из могил и участвуют в сражениях, именитые пропадают неведомо куда. И так без конца и без края.

Вот и сам Ермак — не было в святцах такого имени, стало быть, кличка. Но откуда она взялась — от созвучия ли с именем, или действительно от артельного котла, называвшегося ермаком, когда будто в молодости кашеварил в волжской ватаге будущий завоеватель Сибири, или откуда-то еще? Кажется, никто не оспаривает, что в походе он шел Ермаком. Но в татарском языке есть это слово, означающее прорыв, проран. И если согласиться с историком прошлого века Павлом Небольсиным, что Ермак и прежде своего звездного прорыва бывал на Чусовой и знал пути в Зауралье, не мог ли он в таком случае сталкиваться с татарами в коротких набегах раньше и получить свою кличку от них за военную удаль? Этой догадкой больше того, что запутано, все равно не запутать, а ежели правда лишний раз и охнет от досады, нам не услышать.

Обо всем спорим. С детства знали по Карамзину, что столица Кучума, занятая Ермаком, называлась Искером или Сибирью. Позже Искер как-то само собой стал заглядывать перед более привычной Сибирью, появились и предположения, что название это было совсем в другой стороне. Хорошо: Сибирь. Город, давший имя всему зауральскому матеруку, а этимологически означающий центр, сборный пункт. Только установились, историки переправляют: не Сибирь, а Кашлык — так писалось в летописях. И будто был этот город до того мал, что триста или четыреста оставшихся в живых Ермаковых казаков перезимовать в нем не поместились и ушли в устье Тобола в улус Карачи, где и провели все три зимовки. Если так, то кого осаждал с ранней весны несколько месяцев татарский мурза Карача, когда среди осажденных в Кашлыке называются и Ермак и его атаман Мецшеряк (Кольцо к тому времени погиб)? Не собираясь вступать в дискуссию с



историками, у которых там, где не хватает документов, должно бы быть чутье, способное проникать за века, нельзя все же не заметить, до чего они вошли во вкус раскольничьего толкования Ермаковой истории, предлагая раз за разом все новые и новые версии, строящиеся уж не на иртышском ли песке. Как бы ни противоречили одна другой летописи, но нигде в них, и это вынуждены признать историки, нет упоминания о карачинской зимовке. Откуда же она взялась? Вероятно, из желаний связать концы с концами в своей схеме, мало считаясь с тем, что стало фактом.

Точно так же почему-то главная битва у Чувашского мыса, к которой Кучум успел подготовиться, сделав засеки и вал, собрав многочисленную рать (накануне чуть было не дрогнули казаки при виде Кучумова войска), обратилась нынче в незначительный эпизод, в приключение, в исторический дым без огня. Казаки при начале боя дали залп, остяцкие князьки показали тыл, Кучум, следивший за боем с горы, после ранения царевича Маметкула, не мешкая, обратился в бегство, открыв путь к своей столице. У казаков потеря якобы почти не было. «Бысть сеча зла, за руже емлющи, сечахуся» — преувеличение. И опять вперекор со свидетельствами Ермаковых казаков из синодика. Мол, составлялся синодик спустя сорок лет после события и казаки мало что помнили. Не помнили, где им выпал главный жребий в сибирской судьбе — здесь или в Абалаке? Да об таком истлевающие кости и те не забудут и не перепутают. Тем более что писался когда в Тобольске синодик, Чувашев мыс был тут, под носом у них, в полутора верстах от Тобольска.

Но уже пошло подхватываться из книги в книгу: не Ермак сбил с сибирского куреня Кучума, а Кучум отдал его чуть ли не добровольно. Бои происходили позже. Казакам, оставившим воспоминания, ни в чем доверять нельзя. Вот что значит привнести в историю увлекательную новизну.

Без малого 150 лет назад П. Небольсин с мудрой иронией заметил:

«Слепое счастье! Надобно же было простому казаку, волжскому казаку, забрать в голову счастливую мысль и идти в Сибирь; надобно же было счастью помочь ему счастливо добраться до Сибири, счастливо побеждать татар, счастливо не умереть с голоду, счастливо не замерзнуть от морозов,

счастливо обладать Сибирью, счастливо три года держаться в ней, счастливо не упустить ее из рук, счастливо указать путь другим, счастливо заставить все потомство чтить его память...

Нет, тут уж из рук вон много счастья!

Невольно вспомнишь слова другого русака-счастливицы: «Все счастье да счастье — надо же, помилуй бог, ведь и ума сколько-нибудь!»

Как бы то ни было, какими бы жертвами ни досталась победа у Чувашского мыса, но она открыла дорогу в Искер-Сибирь-Кашлык. Чувашское столкновение произошло по прежним сведениям 23 октября 1581 года, по нынешним поправкам 26 октября 1582 года. Не вступая в спор о годе, что у Р. Скрынникова, на которого мы ссылаемся, является наиболее доказательным, прицепимся тем не менее к числу, поскольку оно исправлено на том основании, что Ермак вступил в Кучумов город 26 октября, стало быть, и бился он тем же днем и трое суток терять ему было негде. Негде? Но вспомним принятое «стояние на костях», когда хоронили павших, собирались с силами и принимали меры против неожиданного нападения. Ермак был в чужой стране, сведения мог получать только от «языков» и, прежде чем двинуться к Сибири, до которой еще грести оставалось верст с пятнадцать вверх по течению, должен был внимательно оглядеться и подготовиться к следующему, чрезвычайно важному шагу, не сделать ошибки и не поддаться опьянению от победы.

Ермак должен был оглядеться, и другой мыс, называвшийся у татар Алафеевской горой и названный впоследствии русскими Троицким, при слиянии Иртыша и Тобола, он не мог не заметить, тот был рядом. На нем к тому же было поселение и жила одна из Кучумовых жен. Проезжая и проплывая в три своих сибирских года многожды мимо и будучи «вельми разумен», не мог он не оглядываться на него: сразу две реки под прозором и до третьей, до Оби, недалече, вот бы где поставить острог. Можно предполагать, что Ермак отыскал место Тобольску еще до его зарождения и поименования, место само просилось под выбор и застройку.

И когда спустя два или три лета после смерти Ермака письменный голова Данила Чулков в 1587 году спускался по воде из Тюмени, посаженной за год до того и ставшей таким образом пер-

вым русским городом в Сибири, он знал, куда правил. Ладьи его приткнулись к крутому берегу под Алафеевской горой, и казаки без разведки принялись за разгрузку. Среди тех, числом в пятьсот (это число так часто повторяется при отрядном счете, что поневоле, подобно татарскому слову «тюмень» — тысяча, принимается за обозначение множественности), так вот среди тех, кто прибыл с Даниилом Чулковым и расчал Тобольск, были и ветераны, Ермаковы сотоварищи. С этого времени сибирская история худо-бедно пошла в ногу с событиями; она вспоминает, что, разгрузив свои струги, казаки принялись и их разбирать и потянули борта и днища в гору, чтобы пустить на острожное строительство.

Но попервости именно и худо, и бедно. Сибирский историк П. Словоцов, не давая пояснений, почему-то относит первую закладку Тобольска к 1586 году, а следующим летом острог переменил якобы место и встал там, где находится и поныне. Словоцов изыскатель до исторической правды был строгий и дотошный, выговаривавший самим отцам сибирской истории Миллеру и Фишеру за пропуски и неточности, а уж слогатаев — летописцев иркутских и прочих готовый и по смерти пороть за то, что вели они не летописи, а станционные записки о приезде и выезде чиновников да амбарные книги о прибытии караванов. И основания, пусть и глухие, начинать хронологию Тобольска с перемещения у него, вероятно, имелись. Но были основания и не настаивать. Так или иначе, но Тобольск ведет свою родословную от года 1587-го, с которого, когда бы не пожары, не однажды истреблявшие главный сибирский град дотла, нам не представляло бы теперешних трудностей искать концы и начала.

За лето дружина Даниила Чулкова поставила острог, укрепила его, а в нем вознесла небольшую церквушку в честь живоначальной Троицы, от которой название, погребя под собой старые поименования, перешло на весь мыс и холм. Нет, не могли, возводя крепостцу, не чувствовать казаки победоносного и благословляющего соседства Чувашского мыса: «Понеже ту бысть победе и одолеси на окоянных... вместо царствующего града Сибири (Искера) старейшина бысть сей град Тобольск...» Много позднее, когда будет отстроен белокаменный кремль, один из декабристов скажет, что нет

города более картинного, чем Тобольск. И это правда до сей поры. В Сибири, по крайней мере, нет и быть не может, пока, вопреки чертежникам, не вернется архитектура.

Но Тобольск был «картинен» с самого начала, еще до Софийского собора, до рентерей и всего кремлевского ансамбля. Лишь не до такой вдохновенной высоты, не до духовного совершенства, не до полной слиянности рукотворного с нерукотворным, не до грудного распора при взгляде снизу от Иртыша — эх, живая былина, да и только! — но красотой и вдохновенностью природной, которую умело подхватил, не споря с творцом, человек. Еще и в деревянном завершении дело его рук должно было напоминать корону, пусть скромную, без позолоты и блеска, не столь величественную, как впоследствии, но достаточно красноречиво являвшую власть. Разбогачел, прославился коронованный град — сменил и корону. Жаль только, что нельзя было, сняв старую, поместить ее в хранилище, где бы могли мы любоваться ее рисунком и посадкой. Памятники тех времен (ровно тех в Сибири быть не может, то, что сохранилось, например, Братская острожная башня, на полвека моложе) дадут представление о крепостных сооружениях, подобные которым могли быть в Тобольске, но не о Тобольске. Все в нем, даже самое обыкновенное, должно было стоять и смотреться по-иному, внушительней и ярче, потому что стояло высоко, державно и царило далеко, как ныне царят, захватив власть, телевизионные вышки. Совсем недавно, к слову сказать, тоболяки всем миром с великим трудом оттеснили ее, новую владычицу наших умов и душ, из кремля, где телевышка выбрала себе место, пугая население, что ниоткуда больше она показывать картинку не станет. Только из кремля, чтоб сверху вниз смотреть на Софийский собор и его колокольню. А подвинули — ничего, показывает и от кладбища, иной раз выдерживает даже и Троицкий мыс в кадре, где чудом, сказкой и музыкой парит восстановленный Софийский двор.

Тобольск Даниила Чулкова простоял недолго: наскоро и тесно срубленный, он сыграл свою роль, заключающуюся в том, чтобы твердою ногою стать при сибирской степи, и, как только это произошло, должен был уступить свое место более просторному и, надо полагать, более «картинному» острогу. Но на

- КАТИОГЪ**
 Описание Града
 Истории Града
 Довольнаго Города
 И круга его палим
- Цркви**
- 1 Св. Духа
 - 2 Вознесенная
 - 3 Златоустовская
 - 4 Стефанова
 - 5 Богородица
 - 6 Троица
 - 7 Спасенная
 - 8 Никольская
 - 9 Св. Николая
 - 10 М. Михаила
 - 11 Петра и Павла
 - 12 Благочестивая
 - 13 Стрелецкая
 - 14 Михаила Архангела
 - 15 Города св. Стефана
 - 16 Приказная Палата
 - 17 Св. Духа
 - 18 Св. Николая
 - 19 Покровская Башня
 - 20 Набережная Башня
 - 21 Калитка
 - 22 Калитка
 - 23 Покровская Башня
 - 24 Калитка
 - 25 Св. Николая
 - 26 Св. Николая
 - 27 Покровская Башня
 - 28 Св. Николая
 - 29 Св. Николая
 - 30 Св. Николая
 - 31 Св. Николая
 - 32 Св. Николая
 - 33 Св. Николая
 - 34 Св. Николая
 - 35 Св. Николая
 - 36 Св. Николая
 - 37 Св. Николая
 - 38 Св. Николая
 - 39 Св. Николая
 - 40 Св. Николая
 - 41 Св. Николая
 - 42 Св. Николая
 - 43 Св. Николая
 - 44 Св. Николая
 - 45 Св. Николая
 - 46 Св. Николая
 - 47 Св. Николая
 - 48 Св. Николая
 - 49 Св. Николая
 - 50 Св. Николая
 - 51 Св. Николая
 - 52 Св. Николая
 - 53 Св. Николая
 - 54 Св. Николая
 - 55 Св. Николая
 - 56 Св. Николая
 - 57 Св. Николая
 - 58 Св. Николая
 - 59 Св. Николая
 - 60 Св. Николая
 - 61 Св. Николая
 - 62 Св. Николая
 - 63 Св. Николая
 - 64 Св. Николая
 - 65 Св. Николая
 - 66 Св. Николая
 - 67 Св. Николая
 - 68 Св. Николая
 - 69 Св. Николая
 - 70 Св. Николая
 - 71 Св. Николая
 - 72 Св. Николая
 - 73 Св. Николая
 - 74 Св. Николая
 - 75 Св. Николая
 - 76 Св. Николая



Из «Чертежной книги»
 С. Ремезова.

исходе первого же, судя по всему, лета, еще до конца не отстроенному, ему представился случай отомстить за смерть Ермака, его ближайшего сподвижника атамана Ивана Кольцо и многих казаков, погибших не в честном бою, а в результате обмана и вероломства. При всех разнотолках, до сих пор сопровождающих поход Ермака, есть события, в которых появляется согласие, говорящее о бесспорной подлинности. Ивана Кольцо, того самого, кто повез от Ермака царю известие о взятии Сибири, по возвращении из Москвы мурза Карача вместе с отрядом в сорок человек погубил совсем уж из рук вон подло: уговорил пойти с ним вместе против якобы притеснявшей его казахской орды, сыграв на чувствах искавших с ним мира русских, и при первом же удобном случае уничтожил всех до единого. И Ермак погиб, поверив ловко пущенным слухам о бухарских купцах, которых он решил перехватить, чтобы не дать им добраться до Кучума. Какими бы ни были последние минуты и обстоятельства смерти Ермака, не вызывает сомнений, что его обманули, заманили подалеже от своих, шли за ним огромной силой и среди ночи напали. В этом все легенды послушно становятся былью.

И вот пришел черед без длинных и хитроумных замыслов, благодаря удаче, на коварство ответить коварством и одним махом освободиться от самых опасных врагов. Кучум к той поре в междоусобной борьбе окончательно потерял царство и кочевал со своей позазиатски густой, гуще войска, родней по дальним стойбищам, изредка объезжая данников и делая привычные для него тайные и опасные вылазки. По Оби, Иртышу и Тоболу наступило двоевластие, как бы даже не трехвластие. В Тюмени стоял воевода В. Сукин, в Искере — Сеид-хан, по степям рыскал Карача. Поэтому, когда Карача вместе с Сеид-ханом в сопровождении 500 воинов (опять пятьсот!) появились вблизи Тобольска на Князьем лугу и принялись забавляться соколиной охотой, письменный голова Данила Чулков имел все основания усомниться, что тут и место для соколиной охоты. «О спорт! — Ты — мир!» — четыреста лет назад этого завета еще не знали и под видом спорта вполне могли явиться с войной. Бог в таких случаях разумно отступает, а дьявол надомил Чулкова перехитрить татар. Внешне отношения были сносные, до этого дня

письменный голова старался обходиться без стычек. Он снарядил на Княжий луг послов с приглашением высоких гостей прибыть на мирные переговоры. Те, как казалось им, обезопасив себя стражей в сто отборных воинов, согласились. Остальные встали под стены. Гостям предложено было считаться с обычаями хозяев и за стол идти без оружия. То ли невеликость народа внутри острога, то ли простодушные лица и ласковые речи, то ли самонадеянность, что нет такого молодца, чтобы превзойти восточного хитреца, чтобы превзойти татарских военачальников, но и сами они сняли оружие и сопровождавшим их ордынцам повелели снять. Должно быть, запоздало екнуло у Карачи сердце, когда увидел он за столом своего старого недруга, атамана Мещеряка из отряда Ермака, с которым не могло быть у него мира. Но и к Мещеряку, в свою очередь, должно было явиться предчувствие, начавшее отсчитывать последние часы. Старые герои-ветераны одновременно с той и другой стороны сходили со сцены, и, без того заглянув без Ермака в чужое действие, в роль вступали новые действующие лица.

Кульминация этой захватывающей истории просматривается слишком русской, не потерявшей своего обычая и сегодня. Наливалась чара — и хану. Тот пить не может, у него на шее ислам, запрещающий пить, заставляющий отводить чару. Наливается Караче, но и тот отводит. Слова, которые впоследствии стали для нас знакомы: «А, так вы брезгуете — стало быть, на уме у вас измена! (Сейчас бы сказали: «Ты меня, значит, не уважаешь!») А ну, вяжи их, ребята!» Ребята набросились и связали, а потом разделались со стражей. Но за крепостными воротами оставалось еще четыреста ордынцев. В схватке с ними, как вспоминали четыреста лет назад очевидцы, и сложил свою голову последний товарищ Ермака, храбрый атаман Мещеряк. А Карачу с Сеид-ханом отправили в Москву и там, как водилось тогда, как было со многими пленными сыновьями, племянниками и женами Кучума, наградили поместьями и службой.

Каждому свое: победителям смерть, побежденным — почести.

Как ни дурно поступил Чулков, обратившись к обману, но добыл он им мир, Искер татары снова оставили, теперь уже навсегда, двоевластие прекратилось, закаменная страна окончательно

отошла к русским. В пору, когда в России все ближе придвигалось Смутное время, в Сибири смуты все больше затухали, дальше на восток столь организованной силы, как у Кучума и его наследников, больше не существовало.

Вот когда впервые должна была понастоящему оценить Россия не одну лишь экономическую, но и политическую выгоду приобретения Сибири — в Смутное время. Сибирь постепенно, но незаметно входила новой мощью в весь государственный организм. Польское войско надвигалось на Москву, а сибирские казаки вышли к Енисею. Собирая ополчение, князь Пожарский пишет о своих намерениях сибирским воеводам, а осуществив их, великие намерения свои, и освободив Москву, к ним же обращается с торжественным посланием, там, за Уралом, видя для отечества бесшаткую опору.

«Сибирским воеводам» — это в Тобольск, который очень скоро, уже через семь лет после своего первого колышка, выходит из подчинения Тюмени и становится главным городом Сибири. В 1596 году ему вручается печать всего сибирского царства, которое прирастает с небывалой быстротой. Управляется оно воеводой и его товарищем, один ведет военную власть, другой гражданскую, в действительности же им приходится колотиться за все вместе, с прибавлением царства прибавляются и воеводские обязанности. Оборона выстроженных острогов и строительство новых, разведение старых путей и новых земель, снабжение, вооружение, ясак и десятинная пашня, призыв и расселение крестьян, набор, в том числе и среди татар, в казаки, спрос на христианских девиц в женки служилым, то высочайшее требование вылавливать и возвращать в российские отчины беглецов, то закон по прошествии шести лет от побега не взыскивать с них; торговля и пошлина, отношения с инородцами внутри царства и отношения с соседями за царством, поощрения и наказания, храмы и питейные дома, фискальное и свары — чем только не приходилось заниматься первым сибирским воеводам, о чем только не болела у них голова, которая по суровости тех времен ни у кого не сидела прочно на шее. Надобно же и нам вслед за П. Небольсиным помянуть их добрым словом. Небольсин писал:

«Припоминая себе житье-бытье наших первых воевод в Сибири, мы очень жалеем, что не можем представить

читателям описания великолепных дворцов, торжественных въездов, вкусных пиров, романтических происшествий, роскошной природы, которыми бы наслаждались русские головы в нашей Сибири по примеру испанских генералов в Сибири американской. И летописцы наши скупы были на эти описания, да и сама Сибирь мало представляла лакомых сторон в этом отношении... Житье-бытье наших воевод было плохое, удел их был — и вечный труд, и вечная забота, и вечные лишения».

История к сибирской администрации не всегда была справедлива. Послушать ее — вор на воре, плут на плуте сидел и самодуром погонял. Хватало с избытком и этого, на то она и Сибирь, чтобы, как богатую и простоватую тетку во все времена, пока не поумнеет, обирать ее под видом благотворительности, но — не всем же подряд. И в те времена существовали понятия о чести и долге. И если полностью нравственность о всех праведных струнах еще не открыта была из сибирских снегов и не явлена в полный вид из полунощных сумерек, то главными своими выступлениями, явившимися вместе с рождением первого человека, она должна была требовательно взыскивать и помимо писаных законов и, бесспорно, взыскивала. Это — если смотреть на нравы как на местное достояние, слепленное из местных материалов, а ведь по большей части они прибывали тогда из Москвы и показывали, чем руководилась в морали первопрестольная.

Глухо и невнятно, но и в истории можно разобрать имена воевод и губернаторов, чьей деятельности изначально обязана Сибирь организацией жизни и власти. Боярин Сулешев, князья Черкасские — это из воевод, большая часть из которых осталась в неизвестности лишь потому, что слава любит питаться преступлениями, а не благодеяниями. Из губернаторов — Соймонов, Сперанский, Муравьев-Амурский, Деспот-Зенович, Чичерин, прибавим к ним и казненного за лихоимство князя Гагарина, имевшего перед Сибирью и Тобольском немалые заслуги, перечеркнутые потом, к несчастью, позорной смертью. Если же попытаться сравнить прежних владетельных «племянников», прибывавших для управления «теткиной экономией», с нынешними, придется с огорчением признать, что в старые безнравственные времена они лихоимствовали для себя и увезти с



собой много не могли, тем более что существовало правило при выезде из Сибири досматривать воеводские обозы; нынешние же для себя, за малыми исключениями, не берут, но для других ничего не пожалуют, и чем больше отдадут на разграбление и поругание, тем выше в своем дальнейшем продвижении вознесутся. Тайная взятка превратилась в Сибири в открытое и разгульное разбазаривание природных богатств, которое вороватым воеводам и не снилось. Что для нравственности предпочтительней, судите сами.

Но до этого еще далеко, вернемся к только что явившемуся на свет божий Тобольску. Явился он в казацком зипуне, а оказалось — стольной крови, что называется, из грязи да в великие князи. Званию этому приходилось соответствовать не одной лишь царской печатью, следовало иметь и подобающий сану вид. Возбравшись на Троицкую гору, письменный голова Чулков не мог выбрать места более подходящего для сибирской столицы. Но, сев на нем, Тобольск долго ерзал, вертелся на той горе, никак не получалось у него устроиться на ней раз и навсегда удобно и величественно и за первое столетие еще до камня только в дереве перестраивался шесть раз. Трижды этому способствовали пожары. Рубленный Чулковым острог продержался всего семь лет и показался воеводам Щербатову и Волконскому ненадежным, они сняли его и перестроили на свой лад. Воеводы тогда менялись через каждые два-три года, и при отъезде их Тобольск опять пошел под новый топор, а в 1606 году перекочевал на «другой бугор», на западную оконечность мыса. В последний раз рублен он был в 1679 году и простоял... год: жестокий огонь слизнул его вместе с храмами и 500 обывательскими домами. Только после этого кремль принялись возводить в том виде, который частью сохранился до сегодня. Сибирский митрополит Павел обратился к царствующему тогда Федору Алексеевичу с прошением о позволении на каменное строительство и получил разрешение. Строили тогда не только прочней и красивей, но и быстрее. В 1686-м отстроен соборный Софийский храм, в 1690-м — Богородская церковь, в 1691-м — Знаменский монастырь, в том же году Троиц-

кая церковь, вскоре Софийский двор обнесли оградой в две сажени высотой с шестью башнями и святыми воротами, поставили двухэтажный (не сохранившийся) архиерейский дом. И это при том, что по царскому повелению мастеровых следовало искать на месте, а нашенных крестьян привлекать «без отягощения их и без помехи в десятинной пашне». Правда, по настоянию Павла нескольких опытных мастеров-уставщиков из Москвы прислали, но на том кадровая подмога и окончилась, все остальное приходилось изыскивать в собственных вотчинах — находить, учить, добывать материалы и подспорье, потакать каждому, кто обнаруживал чутье к точности и красоте.

Началось с духа и воспоследовало уже при Петре Алексеевиче сооружениями власти и торга. Еще до князя Гагарина выстроены были в кремле Приказная палата и Гостинный двор, последний — в виде крепости с башнями по углам. Но это уже произведение и эпоха в кремлевском зодчестве сына боярского из местных Семена Ремезова, больше известного своими «чертежными книгами», по которым мы судим о сибирской старине. О Ремезове, историке, писателе, архитекторе, художнике и географе, надо рассказывать отдельно, но при одном лишь воспоминании об этом имени невольно вырывается вздох, касающийся отношения потомков к нашим великим предкам — первопроходцам, расчинателям городов, искусств, ремесел. Ремезов умер в нищете, могила его потеряна; Тобольск, имеющий мало что одну из главных улиц с именем Розы Люксембург, да еще и переулок, до недавнего времени не мог отыскать для Ремезова угла. Ни в Иркутске, ни в Тобольске, ни во многих других городах не отыщете вы упоминания об их основателях, забыты просветители, реформаторы и благодетели. Вся Европа — что Европа! — весь мир знает Страленберга, пленного шведского кашигана, отбывавшего после Полтавы ссылку в Тобольске, составившего карту Сибири и по возвращении на родину написавшего о России книгу. А теперь представьте: что, если бы Ремезов, оказавшись по счастью или несчастью в Швеции, привез оттуда карту этой страны, как расчертил он до последней земли всю

Сибирь, — кто-нибудь теперь поставил бы ему это в заслугу?! Коли и перед собственным отечеством заслуги занесены толстым слоем забвения и бескультурия! Мы за то, чтобы Tobольск помнил и даже в материальных росчерках памяти помечал имена и капитана Страленберга, и серба Юрия Крижанича, трудившегося в этом городе над своей славянской унией, и немца Миллера, первого автора сибирской истории, и других знаменитых иноземцев, если существуют они, но прежде всего ни буквы не потерял из имен и деяний своих великих земляков, будь то домо-

нижний, и столичность, породистость появилась не одним махом, и громкость, слава, именитость прирастали не одним десятилетием и столетием, да и затухать впоследствии стали не общим своротом. Поэтому, как бы ни пытались, не удастся нам следовать тобольской хронологии. Граф Сперанский, отправляя историку П. Словцову, жившему в Tobольске, в подарок часы и Библию, надписал: «Вот тебе время и вечность». Отличить время Tobольска от его вечности не так уж и просто, для этого пришлось бы, несмотря на незавидность и убогость теперешнего по-



*Тобольск.
Гравюра.*

рощенный поэт или зодчий, доморожденный декабрист или ямщик, составивший летопись. К сожалению, собственное происхождение у нас все еще служит препятствием для гордости, а не наоборот.

Но мы отвлеклись. Tobольск — не Москва, не Киев, не Новгород, но столько в нем достопамятного, яркого, так много в его истории скрыто имен и событий, что, потянув за одну нить, как по одной улице пройдешь, оставив в стороне соседние, к которым волеяневолей приходится возвращаться, чтобы составить хоть в урывках общую картину. И кремль строился не сразу вместе с верхним городом, и город

ложения Tobольска, произнести приговор, что вся вечность его осталась в прошлом.

Из вечности, в которой можно не сомневаться, у нас лишь едва упомянуто об угличском колоколе, первом и необыкновенном изгнаннике, указавшем дорогу не самому лучшему назначению Сибири, — великой ссылке и каторге, продолжавшимся более трех столетий, а потом и еще... Сотни, тысячи и до миллионов прошло печальным и набитым путем отвержения в темные глубины Зауралья, навсегда ославив Сибирь в безрадостный и подневольный край, не способный дать ни приюта, ни утешения. Долгое время все они

следовали через Тобольск или оставались в Тобольске. Если есть у него бескорыстная память, не зависящая от принятой буквы признания или непризнания, многих и многих российских великомучеников должен он помянуть в своем молчаливом синодике.

И Киприан, первый архиепископ тобольский и сибирский, первый просветитель и памятователь, еще не возглавил у нас епархию, хотя и открыта она в 1620 году под его начальственность. После Смуты церковная и державная власть, как никогда ни до, ни после не бывало, сошлись в одном доме Романо-

приану и императорском троне теперь мало кто помнит, а об угличском колоколе, возвестившем убийство царевича Дмитрия и отосланном в наказание с оторванным ухом в Тобольск, должно быть, знают все, в ком окончательно не отмерло отеческое сознание. Доставлен он был на указанное Годуновым место назначения в 1593 году, а угличские граждане, возмущившиеся от его звона, во множестве, кто с отрезанным языком, кто с рваными ноздрями, привлечены в только что поставленный вслед за Тобольском Пелым Воевода Лобанов-Ростовский, принявший уг-



вых, которые хорошо понимали значение Сибири для России. Не случайно патриарх Филарет, отец первого царя новой династии, посылает в Тобольск близкодверенное лицо, вручив ему от себя жезл и от царя золоченый именной крест с надписью: «Царствующий град Сибирь», а потом постоянно не оставляет вниманием. Через сто пятьдесят с лишним лет Екатерина II поднесет восточному «царствующему граду» и вовсе отмененный знак державного благоволения — свой императорский трон, очевидно, после смены мебели. Но до этого еще надо дожить.

Самый первый дар сделал Борис Годунов. Об именованном кресте на грудь Ки-

лического ссыльного, надо думать, немало озадачился, что с ним делать, а потом решил, что и с отсеченным «ухом» может тот справлять службу, и приказал поднять его на выстроенную вновь церковь Спаса. Дальнейшая его судьба, как и у многих, кто попадал в Сибирь не по своей воле, таинственна и темна. В юбилейный год прошлого века, спустя триста лет после смерти царевича Дмитрия, колокол испрошен был угличанами обратно на родину — и тоболяки после долгих споров и торгов вернули, а себе на память отлили точную копию угличского колокола и выстроили для него в кремле часовню, где он находится и поныне. Но при

*Ледяные горки
на Иртыше. 1812 год.
Акварель
Е. М. Корнеева.*

этом сознательно или бессознательно забыто давнее упоминание об одном из опустошительных пожаров XVII века, в котором угличский колокол расплавился без остатка. Если это так, то в Угличе в прошлом веке торжественно встречали копию с бунтовщика, а в Тобольске осталась копия с копии.

Угличскому колоколу рвали «ухо», угличским гражданам, заселенцам Пелыма, языки, а Федору Ивановичу Соймонову, сподвижнику Петра по морской службе и будущему тобольскому губернатору, рвали ноздри. А мы еще спланиваем нравственность с Сибири,



Старый Тобольск.
Нижний город.

куда вместе с казаками и в путь за казаками кинулась самая разбитная вольноохочая публика, не признававшая ни бога и ни дьявола, а потом и без охочести вслед за знатными фамилиями, уничтожавшими одна другую в крутых поворотах власти, погнали со всей России отпетые головушки.

Сибирской нравственностью обеспокоился, утверждая правую веру, тобольский архиепископ Киприан, носивший фамилию Староруссенский — родиной его была Старая Русса на Новгородчине, облюбованная потом для трудов Ф. М. Достоевским. На службу в Сибирь, в том числе и пастырскую, определялись порой личности настолько яркие и биографические, что, не заглянув в предварительную жизнь, ограничившись лишь коротким сибирским периодом, значило бы сказать о них слишком мало или не сказать ничего. Попробуйте, назвав в роли сибирского губернатора Соймонова, не приостановиться с чувством удивления над его судьбой, — ни один из российских историков не миновал ее — так она крута и удивительна (и уважитель-

на), имея к тому же, что случалось редко, счастливое окончание. Одной из таких выдающихся фигур был и архиепископ Киприан. Лежал на нем перед Россией грех: в Смуту новгородские власти, выбирая из двух зол меньшее, чтобы не присягать Владиславу, решились призвать на престол шведского королевича Филиппа и отправили с этой миссией за новым варягом архимандрита Киприана. Шведы от престола не отказывались, но требовали отторжения от России Великого Новгорода. Едва ли у тайного посланника были полномочия решать судьбу этого вольного во все времена города, но и самой мысли его отторжения от России он воспротивился. Его пытали, требуя каких-то секретов, морили голодом, держали раздетым на морозе, но добиться ничего не могли. С воцарением Романовых Киприана отпустили вояси, он явился к царю и пал на колени, испрашивая прощения не себе, а Новгороду, был вместе со своим городом прощен, замечен и приближен.

И вот не прошло и семи лет, из огня да в полымя, из Швеции в Сибирь. После Новгорода, где закон издавна имел силу, Киприан встретил в Тобольске, как показалось ему, крайнее развращение нравов. Казаки пьянствовали, картежничали (игра в кости занесена была ссыльными литовцами), не соблюдали постов, держали женок в каждом месте приклонения службы, покупали их и продавали, как с огородов разносол. Не успел Киприан оглядеться и ужаснуться — взыск от Филарета: «ведомо учинилось нам...» Ведомо учинилось святейшему, что в женки берут девиц не только без креста в душе, но и на шее, не считаясь с первой христианской нормой. Приходилось, поелику возможно, со всей строгостью выправлять принятые в нравах заведения.

Киприан вошел в сибирскую страницу, кроме этого, как расчинатель ее порусской письменной истории. Почти сорок лет минуло от Ермака, доживали по сибирским острогам последние его сотоварищи, а никому и в голову не приходило записать их воспоминания и составить список участников похода. Это было сделано стараниями Киприана в 1622 году, так появился синодик по погибшим казакам, и с той поры ежегодно Ермаку и его соратникам, каждому отдельно «кликом» воздавалась слава и память. Сто лет назад кяхтинский купец Немчинов отписал Софийскому собору в Тобольске несколь-

ко тысяч, с процентов которых панихида по Ермаку справлялась бы на все времена дважды в году, не подозревая, что «все времена» будут иметь близкий конец.

Киприан остался в памяти как натакатель синодика, и полностью забыты его усилия по добродетельному управлению сибиряков. А это было трудней, чем опросить казаков. Это было трудней, чем взять Сибирь, эта Сибирь, если верить старым и новым писателям, от французского аббата Шаппа в XVIII веке до Анатолия Рыбакова в веке XX, так никогда и не была взята. Остается добавить со своей стороны, что если это так, то она, Сибирь, давно распростерла свою могучую длань на всю страну, поскольку нравы ныне в Москве ничуть не лучше, а, по нашим наблюдениям, хуже, чем в малопросвещенных по части новейших развлечений Красноярске или Якутске, перед коими, перед развлечениями этими, грехи тобольских казаков представляются хоть и грубой, в духе того времени, но невинной забавой. Как не вспомнить в этой связи, что еще в нашем веке в Сибирь отправлялись не только сыновья Арбата в тридцатых, но и дочери Арбата вплоть до восьмидесятых — в последний раз, чтобы не портить целомудренный дух гостей Олимпиады. И не возмутительно ли после этого читать, какая распущенность встречала благонравных детей Арбата в низовьях Ангары среди потомков Ермака и Кучума! Уроженец тех мест, я свидетельствую, что какие угодно грехи можно приписывать моим землякам, хоть и невежество, доходившее до утверждений, что восстание Пугачева не обошлось без большевиков, но только не то, что со смаком рисует в них Анатолий Рыбаков. Из лести ли притравленному читателю рисует, которому желается чего-нибудь этакое, или из мести к местам невольничьих поселений, которые виноваты в этом столько же, сколько кобыла, попукивающая от непосильной натяги, виновата в наваленном на нее негуманном грузе.

Кстати привести тут замечание Слоцова: «...издавна клеветают на него (сибиряка. — В. Р.) в России различным образом, и даже возводят на него чернокнижное искусство вызывать нечистых духов, подобно как и ныне поверхностные наблюдатели, за исключением благоразумного лейтенанта Врангеля и его спутников, называют расудительного, хозяйственного, добро-

нравного сибиряка невежею, ленивцем, развратником. Оставляя без примечания все три присвоения, как приличные для сволочи русских поселенцев, мы не могли бы без негодования слышать те же нарекания, если бы кто вздумал относить их к коренному классу сибиряков».

Но не станем преувеличивать и добродетельность Сибири, пусть каждой стороне и каждому времени достанутся собственные грехи. «Сам дурак!» — не логика, а ругань. Бесспорно, архиепископу Киприану было чем возмущаться и что выправлять в местном жи-



теле. Неизвестно, добился ли он за три своих сибирских года каких-нибудь заметных результатов, должно быть, разнорogie семьи поуменились, а все остальное ушло с глаз в темноту. Но он оставил после себя сильную, хорошо подготовленную и убежденную кафедру, призывающую многоликое сибирское население в лоно веры и морали. По крайней мере, через сто лет пришлось синоду сочинять воззвание к православным, прежде всего к тобольским женщинам, которые не решались заводить семьи с пленными шведами. Считалось, что не решались, а после возвания выяснилось, что не хотели, так воспитаны. Что это — издержки воспитания? Или опять невежество? Попробуем сравнить с сегодняшней просвещенной страстью совлечься с любой масти иноземцем, чтобы убежать из отчих пределов, и пораскинем, что лучше.

И все же многие картины быта и справления власти покажутся сейчас и дикими, и странными, и непонятными.

Участник сибирской академической экспедиции 1733 — 1743 годов натура-

*Никольский взвоз.
Верхний город.*

лист И. О. Гмелин в своей книге, так и не переведенной в России с немецкого (выдержки из нее взяты из «Истории русской этнографии» А. Н. Пыпина), описывает обычай, о котором прежде не приходилось слышать. Будто всех скончавшихся или несобственной смертью или без причастия свозили в Тобольске за город в сарай и хоронили скопом раз в году, в четверг перед Троицей. Гмелин показал себя не только серьезным ученым, но и серьезным наблюдателем нравов, это не аббат Шапп, наблюдавший в 1761 году в Тобольске затмение Венеры и в своих

В архивных рапортах о наказаниях едва ли не самая убедительная мера — бить «морскими кошками». Били и девиц, и женок, и служилых, и посадских. Разъяснений, что это такое — «морские кошки» и почему они так действовали на чувствительность тоболяков, документы не дают. Наставляли, правда, из разнообразия еще и батожем, и плетями, и палками. Императрица Елизавета отменила смертную казнь, а Екатерина Великая повелела о каждом случае телесных наказаний доносить в губернскую канцелярию — да кто в Сибири стал бы брать на себя такие пустяки?!

За бороду и русское (требовалось немецкое) платье в Тобольске наказывали и аховыми штрафами, и битьем спустя десятилетия после Петра.

По распоряжению полицмейстера губернской канцелярии в 1750 году трупы двух умерших по дороге в Сибирь раскольниц, коих следовало по тогдашним правилам предать земле без христианского обряда, поволокли на веревках по всему Тобольску и скинули за городом в ров. Надо ли удивляться после этого поступающим отовсюду в Сибирь на протяжении ста с лишним лет сведениям о массовых самоожжениях староверов. «В 1679 году собралось обоего пола с детьми до 2700 душ из разных мест Сибири на Березовке при Тоболе и сделали из себя всеожжение». В 1687 году в Каменке под Тюменью в храме сожгли себя около 400 душ, в 1722 году близ слободы Каркиной на Ишиме — неизвестное, но огромное число душ, в 1724 году за Пышмою — 145 душ... И так далее. И так до конца XVIII, а кое-где и с заходом в XIX столетие.

Раскол — трагедия народа, о нем особый разговор. Что же касается тобольских нравов, от которых сегодня содрогается, то добро бы они водились в таком виде только в Сибири. Нет, и вся Россия избытокствовала ими, оттуда они и приносились в Сибирь.

Монтескье писал, что для того, чтобы привести русского в чувство, его нужно отодрать. Оставим эти слова на умолкнувшей совести французского философа, тем более что России он не знал и судил о ней понаслышке, на его родине и в его время тоже при желании можно отыскать сколько угодно примеров варварства. Только надо ли считаться, не лучше внимательней приглядеться к обидному замечанию великого француза и поискать в нем здравый смысл? На протяжении почти всей



Из тобольских фотографий прошлого века.

позднейших впечатлениях все на российской земле перепутавший и осмеявшийся. Гмелину приходится верить. Он же в Тобольске и Иркутске становится свидетелем беспробудного пьянства, но это-то нам не в диковинку. «Право, кажется, что такие праздники посвящены больше дьяволу, чем Богу, и это зрелище вовсе не служит хорошим примером для многочисленных язычников этого края, так как они видят, что высшее благо сибиряков состоит в пьянстве».

При тобольском губернаторе Гагарине обнаружен был в Соликамске (сибирская губерния в то время заходила за западные отроги Урала) виновник нарочитого пожара, некий Егор Лаптев. Дабы проучить поджигателя раз и навсегда, его закопали живым в землю.

истории, за малыми и недолгими исключениями, образование в России было делом третьестепенным, законы тяжелы и несправедливы, права искажались необходимостью скрытого противодействия законам, имперский панцирь отягощал народ, который постоянно жил на пределе физических и моральных сил; друг друга не продолжающие, а исключаящие, переворачивающие державные правления подрывали веру в благословенность государственного организма и заставляли строить крепость в себе. Отданная ближнему последняя рубашка, вероятно, способствовала нравственности, но когда примечал россиянин, что ближних становится все больше и больше и порывы его принимаются как обязанность, между тем как рубашка у него все так же одна, он снимал ее без вдохновения и с прищуром слушал вывернутые наизнанку заповеди. У образованных людей рождалось убеждение, что Россия принесена самой ее судьбой в жертву, а чему в жертву — они не умели внятно доказать. Благословляющий Россию «в рабском виде царь небесный» долго оставался и символом ее, и утешением, и надеждой, пока просветители не отняли у нее и этот образ. И невесть сколько стоит Россия — раскоряку меж своим и чужим, то на одну ногу делая упор, то на другую, шараясь из крайности в крайность, словно не подозревая, что можно и на обе ноги стать, коли их отросло две, но не забывая при том, что правая, несущая, — под свой груз, иначе теряется весь замысел о народе и национальности.

* * *

Но пора подняться и на поверхность сегодняшнего Тобольска. Только что справил он четыре столетия от своего основания. Справил торжественно, с соблюдением полного юбилейного церемониала, с приглашением гостей, сыновей и дочерей своих, коими можно гордиться, с возданием памяти прошлому и аллилуйей настоящему. Город разросся, прибавил в промышленности, в числе жителей, перешедшем за сто тысяч, и в цифре жилплощади. В юбилей все идет в строку, хотя в век демографического взрыва трудно избежать заслуги в приселении, это все равно что взрослому дяде хвалиться килограммами своего веса.

5 В. Распутин

Еще в прошлый юбилей сто лет назад Тобольску пришлось с излишней старательностью начищать свой служебный мундир отставного героя. В 1839 году губернаторство у Тобольска отняли, переведя его в Омск, трактовый путь прошел южнее — и осталась сибирская столица на выселках. Но Сибирь сто лет назад сделала все, чтобы Тобольск не заметил своей обделенности. Депутации процветающих тогда городов из Кяхты, Иркутска, Красноярска, Омска и Томска прибыли и с богатыми дарами, и с искренним поклонением перво-создателю Сибири. Печать всего ог-



Гимназистки.

ромного края воздала должное своему старому славному граду, в его честь устраивались собрания, чтения, денежные сборы, выпускались книги, назывались улицы. Сибирь сто лет назад была цельнее, теснее и родственней — и намного, чем теперь, когда благодаря скоростям сократились расстояния. Еще одно тому свидетельство — открытие Томского университета, на которое, как на общий праздник и общую победу, с великодушием отозвалось все Зауралье.

Нынешнего юбилей Тобольска Сибирь, можно сказать, даже и не заметила. Как перед тем не заметила круглых дат Тюмени, Иркутска, Томска. Не до того: нефть, уголь, ГЭС, лес, металл... Сибирью распоряжается не местная администрация, а ведомства из Моск-

вы, у которых история, культура, патриотическое сознание в планах не значатся. 400-летие Тобольска не вышло за событие местного значения, а в местном значении (это участь не одного Тобольска) — до чего же не вовремя все эти Чулковы, Поярковы, Сукины и прочие дети боярские и письменные головы затеяли строительство своих острогов, без них дел невпроворот, нет, надо отвлекаться на пустыки, на дату, организовывать, проводить, пробивать...

Повсюду это от Урала до океана: Сибири не до Сибири... Не до старого Тобольска, не до остатков Кузнецкой кре-

пнивают и утыкаются в грязь, не избежал этой участи и дом П. П. Ершова, автора «Конька-Горбунка», витающие над посадом запахи заставляют задуматься над происхождением замысловатого слова «благовоние».

Я был в Тобольске в мае, на июнь назначались торжества. Потом их пришлось перенести. Тура, Тобол, Иртыш, Обь — все в ту весну 1987 года переплескивало воду через берега, все топило свои города и селения. Наш автобус двигался из Тюмени по Тобольскому тракту как по ленточной насыпи, с обеих сторон далеко вокруг стояло половодье, которое все прибывало и прибывало. В Тобольске отсыпка у Иртыша шла круглые сутки, 20 мая уровень воды превысил восемь с половиной метров. Молодой председатель горисполкома Аркадий Григорьевич Елфимов, за полгода до того пришедший на этот пост из строителей, спал урывками, мобилизовал у предприятий на отсыпку весь годный для этого транспорт, сновал между телефоном, берегом и карьерами беспрерывно, делая все возможное, чтобы отстоять нижний город, но не раз, должно быть, являлась ему тайная, вопрекор делу, мысль: а пусть бы к черту-дьяволу снесло все это раз и навсегда, тогда бы, глядишь, на стихийные бедствия раскошались. Запущенность дошла до такого состояния (никто не считает эту отметку), что легче и дешевле, вероятно, строить заново, чем латать и перелатывать.

Но не пустили воду, спасли еще от одного наводнения нижний город, и пришлось городскому голове с той же поспешностью, с какой ограждались от Иртыша, ограждаться от старых построек новыми потемкинскими заборами, чтобы не смущать юбилейный взор непотребством. Все, буквально все нуждается в ремонте и восстановлении, а денег хватило только на заборы, и до нового юбилея теперь далековато.

Тобольск возрос в последнее время с открытием тюменской нефти, с проведением железной дороги и строительством под боком нефтехимического комбината. Комбинат в верхней части города поставил для себя новые кварталы, похожие, разумеется, на все соцгородки в стране, провел от них, от своих кварталов, многокилометровую магистраль к цехам, назвал ее именем Д. И. Менделеева, уроженца Тобольска, поставил ему свой памятник, как бы отняв великого ученого у старого



Бывший дом тобольского губернатора...

пости, сдавленной промышленным Новокузнецком так, что из камня сочатся слезы, не до Енисейска, не до Кяхты, не до Селенгинска, не до реликтовых роц, не до археологических погребений, не до заповедности и единственности. И уж на свой манер слышат полновластные хозяева нашего края звучание Сибири — себе бери, себе бери, себе бери... вывози, выноси, не зевай, пока не поспели другие.

У Тобольска, по-прежнему расположенного двумя частями — верхним городом и нижним, сразу за гордостью от восстановленного своего белокаменного кремля должно на те же тридцать саженей, на которые возвышается Троицкий холм, опадать сердце при взгляде на нижний город. Там с нарушением старой и простой дренажной системы, происшедшей от небывалого уровня нынешней технической грамотности, поднялись грунтовые воды, все лето улицы стоят в болоте, затянута зеленой ряской, деревянные дома под-

города, и стоит теперь независимо и гордо: вот я каков, молодец! У меня сила, власть, молодость, деньги, со мной не поспоришь! Но и комбинат начинает жаловаться, что прижимает его министерство, не выполняет своих обещаний. Кто сам небрежен, небрежения и заслуживает. Великие прибыли качая из тюменской земли, в которую входит и Тобольск, крохотной доли нефтяные и газовые магнаты не выделяют на поддержание тощего культурно-исторического живота этой земли.

И в колониях принято выделять... Чем Сибирь хуже колоний?!

Тут кстати опять вспомнить старого сибиряка. Разбогатев на мягкой рухляди и золоте, торговлей и рудниками до того, что тесной для жизни становилась родная сторонюшка, перебравшись домом в Москву или Петербург, он умел не потерять чувства долга и вины перед местом своего рождения и обогащения. И платил всякий раз, когда требовалась поддержка в культурном и духовном строительстве, в попечительстве наукам и ремеслам, дабы не осталась Сибирь навсегда «полуночной страной», дабы не только отряжала она лучшие свои умы и сердца в российское духовно-энергетическое общество, но просвещалась изнутри. Не всяк толстосум был таковым на ум, а и немало их было, кто способствовал картинным галереям, библиотекам и училищам, давал деньги для научных и технических обществ.

А теперь попробуем сравнить их с нынешними выходцами из Сибири, с теми же всесильными министрами, которые воспитанием или возвышением обязаны нашему краю. И что же — чем благодетельствуется от них Сибирь? Не до благодетельства. Не до жиру — быть бы живу. словно мстят они ей за свое происхождение, срываются друг с другом, кто больше возьмет и меньше даст, чья промышленность быстрее превратит ее в отработанные отвалы. А если и вынуждены по малости что-то давать на так называемые социальные нужды — не во благо Сибири, а только в ведомственное благо, чтобы было где переночевать и чем развлечься, перед тем как снова рубать уголек и качать нефть. Если бы можно было в шахтах и на буровых, на лесосеках и комбинатах обойтись хотя бы вполнину роботами, которые на ночь бесхлопотно отставляются к стенке и не подвержены профессиональным заболеваниям, чтоб не строить ни квартир, ни профилакто-

риев, — без раздумий пошли бы на выгодную реконструкцию сибиряка. Он и сейчас обходится столь малым, давая многое, что недалеко ему и до работа.

Нет, виноваты, виноваты господа Сибиряковы, Лушниковы, Демидовы и Трапезниковы, плохо они просвещали Сибирь, недостаточно патриотствовали, мало успели — вот и результат, что через десятилетия современным воротилам Сибири нет до нее дела, а дело — до угля, нефти и леса. Конечно, товарищи министры и надминистры могут возразить на это, что у господ Сибиряковых был собственный карман, а у



...и его узники.

них — государственный, в котором не должно быть ни родительства, ни приятельства. Но тут уж вместе с патриотическим чувством сдает и политическая логика. А что Сибирь — уже и не государство? Почему, влезая в ее закрома, вы действуете от имени государства, а как доходит до платежей — от своего собственного? Где и кто он, справедливый посредник между братьями и возмещать, в каком государстве его искать?

И верно, не успели, не преуспели господа Сибиряковы в просвещении сибиряка.

Рискуя увести читателя и совсем далеко от Тобольска, я тем не менее хочу вспомнить Сундсвал, промышленный город на севере Швеции. Не ради сравнения с сибирскими промышленными городами, это вещи разного порядка, которые для сравнения не годятся. Искать сходство между Сундсвалем и, предположим, Братском на том осно-

вании, что тот и другой рабочие города, все равно что искать его между куском антрацита и самородком золота — ничего, кроме каменного происхождения, общего, все будет одно отличие.

В Сундсвале три целлюлозных комбината, деревообрабатывающий завод, механический завод, поставлявший, кстати, оборудование для Братского лесопромышленного комплекса, алюминиевый и химический заводы. А население — сто тысяч. Ни комбинатов, ни заводов не видно, они кормят город, но не властвуют в нем, как у нас, не выставляют с гордостью свои корпуса и трубы. В прошлом Сундсвал успешно торговал и любил украшать себя архитектурой, сегодняшняя современность в городской застройке на удивление уважительна и церемонна к старине, как и вообще в этой стране отношение к старикам возведено в ранг государственной добродетели. Им дается столько льгот и они так окружены в обществе атмосферой благопритования, что молодые всерьез мечтают стать пенсионерами. Нечто подобное, мне показалось, происходит и в городской архитектуре: до тех пор, пока новое здание не перестанет быть новым, как бы ни было оно исполнено и какие бы чувства оно ни вызывало, оно проходит что-то вроде испытательного срока, кончающегося, быть может, лишь с первым ремонтом.

Мы путешествовали по Швеции вместе с моим давним знакомым, журналистом и переводчиком Малькольмом Дикселиусом, который несколько лет проработал в Москве и не однажды бывал в Сибири. Сундсвал — его родной город, здесь живут родители Малькольма. Поэтому, обсуждая еще в Стокгольме маршрут, первую линию мы провели по восточному побережью, к Сундсвалю. А по приезде, зная мои пристрастия, он повел меня сразу в старые торговые ряды, которые переоборудуются в культурный центр. И мы провели там часа три, разговаривая с реставраторами, художниками; кто-то встречался из городских властей, кто-то из жителей, интересующихся работами, к тому времени сюда успела переехать детская библиотека, шли последние приготовления для экспозиции по истории города — я спрашивал, мне подробно разъясняли, и все больше я убеждался в том, что судьба складов занимает весь город.

И вокруг мы обошли — ничего особенного в прежнем своем служебном

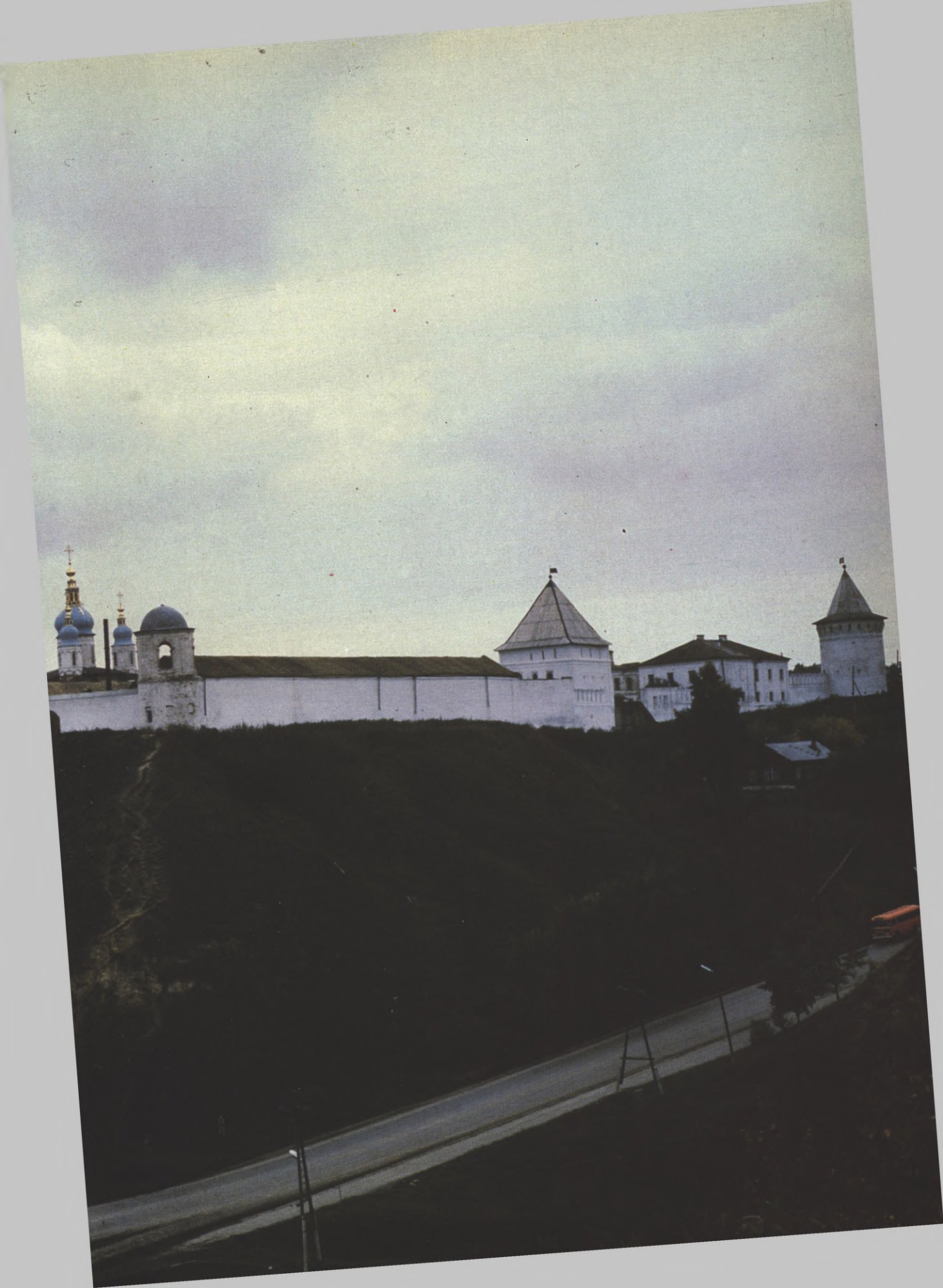
виде они из себя не представляли. Склады как склады близ причала, с той, разумеется, поправкой, что это не наши склады — абы не мочило да пудовый замок на ворота. Строились они, чтоб не портить городу вида ни с моря, ни с суши, и все же строились не под музей. И когда остались они без дела и пришли в ветхость, ждала их та же участь, что и повсюду. Вернее, должна была ждать. Но для шведов старина имеет совсем другой смысл, чем для нас, они не приводят в качестве доводов ни воспитательное, ни историческое значение, чтобы кого-то ими убедить; старина для них — родительский мир, ничто из которого без последней нужды приговору не подлежит. Сундсвалцы больше всего гордятся не целлюлозными комбинатами, не химическим заводом, а находящейся у них на острове Альнен в храме реликвией XII века — деревянной чашей для крещения, купелью. Сгори комбинат — это будет беда для части горожан, которая потеряет работу, но пострадай святыня с острова Альнен — это будет трагедия для всех. После того как купель свозили на выставку в Париж и на ней появились трещины, они появились, без иронии сказано было мне, в сердце каждого сундсвальца.

Решая судьбу торговых складов, город решил не поспешить и принять самый дорогой проект реставрации, по которому склады соединятся стеклянной галереей и станут единым обновленным зданием. Кроме детской библиотеки и экспозиции по истории города, уже упоминавшихся, в нем разместятся картинная галерея, экспозиция охраны природы, читальный зал, некоторые культурные учреждения. Теперь уже, конечно, все это разместилось, соединилось в единый центр и работает, а затраты в сто миллионов крон остались позади. Надо сказать, что часть их приняло на себя государство, часть — город и часть составила из частных пожертвований.

После складов мы с Малькольмом Дикселиусом отправились обедать, рассуждая заодно за столом о роли культуры в судьбах людей и народов. Пусть не тревожится читатель, до меня дело не дойдет, а об обеде я упоминаю потому лишь, что после него наши планы пришлось срочно изменить. Для Дикселиуса не имело большого значения то, о чем он спросил меня, и я благодарен толчку, который заставил его поинтересоваться:







— Вы что-нибудь о капитане Страленберге знаете?

— Не о моем ли «земляке», который отбывал после Полтавы плен в Сибири, в Тобольске?

Малькольм засмеялся:

— Но он и мой земляк. Благодаря Страленбергу и его товарищам по несчастью мы с вами ближе, чем предполагали. А знаете ли вы, что карта Сибири этого капитана находится здесь, в нашем городе?

От неожиданности в таких случаях как «ой» только и вырывается:

— Не может быть!

Малькольм оставил меня и пошел к телефону. Через две минуты объявил:

— Нас ждут. Не берусь судить о Сибири, а карта Сибири в целости и сохранности.

— А его книга?

— С книгой, наверно, проще, она выходила не в одном экземпляре. А карта вычерчена рукой Страленберга, это большая ценность. Но Страленберг попал в мировые энциклопедии, кажется, не из-за карты и не из-за книги, а потому, что открыл где-то у вас древнюю наскальную живопись.

— «Томские писаницы» на реке Томь неподалеку от нынешнего Кемерова.

— Сохранились они?

— Да. Но в какой сохранности, не знаю, я их не видел. Слышал, что там собираются устраивать заповедник.

Мы проехали за город, оставили справа один из целлюлозных комбинатов, смотревшихся архитектурно не хуже, чем в Иркутске новый музыкальный театр, повернули влево, потом еще повернули и оказались на возвышении перед старинным замком. Не меньшей неожиданностью, чем известие о карте Страленберга в Сундсвале, было место ее нахождения — в архиве Мерло, принадлежащем целлюлозной акционерной компании SCA. Этакая редкость у целлюлозников! — я все меньше понимал эту страну. У нас бы ее без промедления, как классового врага, переварили в несколько граммов целлюлозы для шинной промышленности.

Навстречу нам вышел симпатичный невысокий человек средних лет, оказавшийся архивариусом. Архивариусом? Ну да, если есть архив, должен быть и архивариус. Ян Остром, так звали его, провел нас в зал заседаний, где висела на стене карта, снял ее и осторожно расстелил на огромном столе. Мы вместе склонились над нею, отыскивая Тобольск, Иркутск, реку Томь,

Байкал и Лену. С тем же чувством, с каким вглядывались бы мы в живые лица наших прямых предков почти за два столетия до нас, рассматривал я полузнакомые наивные очертания. С нее, с этой карты, Сибирь все еще представлялась загадочной и сказочной страной, великой и необмерной. Так хотелось когда-нибудь побывать в ней!

— Помнят в Сибири капитана Страленберга? — должно быть, архивариусу пришлось задать свой вопрос не однажды, я не слышал.

— Помнят. Но его больше знают у нас по имени Табберт, ведь Страленбергом он стал позже, уже по возвращении на родину.

— Да, он взял имя своего родного города. Хотите осмотреть архив?

Я хотел. Но двигался от экспоната к экспонату, от Библии Карла XII к древним рукописям, от святыни к святыне с какой-то подавленностью и стыдом: вот вам и технократы! И уже не удивился, когда рассказали мне, как несколько лет назад алюминиевый завод в Сундсвале решил расширить свое производство, но город потребовал от него гарантий, что расширение не повлечет за собой дополнительных загрязнений. Гарантий таких компания дать не могла и отказалась от реконструкции. Наверное, и у нее есть свой архив с культурными ценностями.

Как не согласиться с великими: насколько поднять, настолько и уронить может любую страну ее отношение к культуре.

* * *

И вот я стою на Чукманском мысу, куда вынесли ноги в первые же тобольские часы сами собой, не зная, что это и есть самое удачное место для обзора и что отсюда открывается «лучший вид» на Западную Сибирь. «Лучший вид» я ставлю в кавычки лишь потому, что замечено это было давно и как бы утверждено в путеводителях и справочниках в ранге достопримечательности. Видно действительно так далеко и широко, так вольно и охватно, будто просторная излучина Иртыша подставлена для полета. Ибо что это и есть, когда с радостью и удивлением переносишься без помех все дальше и дальше, как не полет? И извиляющийся размашистой и разливистой дугой Иртыш, берущийся от Подчувашей и западающий за Троицкий мыс, — тоже как по-

Восстановленная часть стены Софийского двора.

Церковь Воздвижения креста в Нижнем Тобольске. 1791 год.

Церковь Захария и Елизаветы.











лет в глубокой зелени неба, полет беспрерывный, могучий и властно-спокойный, ибо за что же, как не за небо, и принять эту бескрайность?!

И еще не однажды всходил я и на Чукманский мыс, и на Панин бугор, чтобы полюбоваться и на Западную Сибирь, и на нижний город, и вправо на кремль, и влево на Вершину, уцелевшую чуть ли не в средневековом строе деревянную улицу в овраге вдоль сбегавшей в город речки Курдюмки. И она, Вершина, тоже как запань в небе среди облаков, разрисованная облачными же оттаями под пакибытие. Только здесь дано было родиться вопросу, который любят задавать тоболяки: чего у нас больше — воды, зелени, дерева? И ответу: неба.

Не мог, одержав рядом победу над Кучумом в Подчувашах, не подняться Ермак на Чукманский мыс. Не мог, ибо как же и удержаться, чтобы не взглянуть с высоты, что за страна открылась ему, куда она ведет, какой пробуетса на глаз. Здесь и поставлен Ермаку еще полтора столетия назад строгий беззатейливый мраморный обелиск с короткой адресной надписью на постаменте: «Покорителю Сибири Ермаку», огражденный тяжелой цепью. За ним в глубь бугра тоже в прошлом веке разбит парк в честь покорителя Сибири, изрядно сейчас запущенный, колонизированный покорителями зелья.

А справа, справа через Никольский взвоз — кремль с Софией, пятиглавие которой вместе с колокольной — как сосцы, собирающие корм небесный. Весь Софийский двор с восстановленной стеной и башнями, с архиерейским домом и гостиним двором, с храмами и звонницей, откуда на него ни взгляни, сбоку ли, снизу — чудное видение, да и только, счастливый вздох и благодарствие людское за солнце и землю. Людское — и все-таки надо делать усилие, чтобы поверить, что строилось и восстанавливалось все это людскими руками, а не спущено с неба. Принято говорить: застывшая легенда, застывший камень, застывшее прошлое... Но как это застывшее сияет, дышит, живет, как много и чудно глаголет! Дерзко, вольно, красиво, на вечные времена, а не на постояльство, на царствие земное, а не на вахтовый способ жизни расцвела Сибирь... Отсюда обозначалась ее судьба, и тобольским кремлем повелевалось сибирской судьбе быть высокой и славноносной.

Внизу — кружево и разброс старого

города. Многожды горевшего, много плававшего, потемневшего, с обрывами и заставками, с узлами и дырами... Позады него половодье Иртыша, перед ним у холма речка Курдюмка, и среди улиц тут и там проблески воды — будто на плаву он весь из края в край, как загруженный на плоты скарб, ожидающий отплытия. Среди темной старобывательской деревянной застройки богатые купеческие особняки, гимназии, присутствия в камне, верховодье устоявших храмов. И если всмотреться — да нет, не на плаву, на земле стоит, снуют вон машины, ходят люди, но был он оставлен и заселен заново лишь недавно, не успели еще справиться с разором, отвести воду, восстановить житность. И топоры стучат над новыми заборами — обживаются люди, вспоминают, где что было, поправляют картину. Самый ведь «картинный» в Сибири город!..

Половина Тобольска тут, половина истории, половина жизни.

По Никольскому взвозу можно спуститься в нижний посад и неторопливо пройти по старине. Тут все старина, новоделы — как заплатки на общем полотне, да их и немного. И по-прежнему слобода с ее особым духом, покромом и законами. Жили тут когда-то отдельными общинами татары, поляки, немцы, литовцы, шведы, здесь заводились ремесла, сюда же спустилась из кремля торговля. Не мною подсмотрено, что нельзя, кажется, было отыскать худшего для заселения места — болото, иртышские затопления, грязь, но в этом и характер россиянина: чего нельзя, то можно. Как было из красоты, из соперничества, из противоречия и поклонения не приникнуть к Троицкому мысу! Страдать от упрямства, от огня, от мокроты, но вращать все сильнее и сильнее, любить нижний город за мученичество, вольнонародность и демократичность. Как снизу при взгляде на кремль красота собирается в одно целое, а не спущено организованное начало, так сверху при взгляде на посад она тепло растекается по улицам и дворам, чтоб было опять откуда ей взяться для нового поклона. Если верхний город — крона дерева, нижний — ее корни. Это как две стороны одной медали. Без любви из них другого не станет. И ржавчина на одном съест и другой.

Сибирь, в сравнении с коренной Россией, не столь богата вышедшими из нее великими именами. Принято по старинке говорить «вышедшими». Вы-

шел — чтобы уйти в столицы и там прославиться на своем поприще. Что делать! — Сибири приходится гордиться ссыльными раскольниками, анархистами, декабристами, поляками, а уж потом собственными величинами. Вот и в Тобольске остались могилы декабристов А. М. Муравьева и Ф. Б. Вольфа, переехавших сюда в 1845 году из-под Иркутска, В. К. Кюхельбекера (пушкинского друга Кюхли), А. П. Бяратинского, С. М. Семенова, Ф. М. Башмакова, С. Г. Краснокутского. Здесь сохранился дом М. А. Фонвизина. Один лишь сибиряк не по ссылке, а по рождению был среди декабристов. Это тобольяк Г. С. Батеньков. Отсюда же вышел художник В. А. Серов. А вот поэт П. П. Ершов, автор «Конька-Горбунка», и историк П. А. Словоцов, выйдя, тут и остались, еще раньше к ним надо прибавить велеталанного С. У. Ремезова. Представим только: что бы Тобольск был без этих своих сыновей, не покинувших его ни в славе, ни в юдоли? Сколько бы потеряла Сибирь, если бы ушли из нее Г. Н. Потанин, тоже уроженец Тобольска, и Н. М. Ядринцев, а в наше время — археолог А. П. Окладников и другие?

Сразу перед кремлем стоит в нижнем городе длинное приземистое двухэтажное здание, которому по славе нет, пожалуй, равного в Сибири. Сейчас здесь поликлиника, а строилось оно в XVIII столетии купцами Корнильевыми, затем продано было после пожара в кремлевском наместническом дворе под резиденцию наместника, каковым тогда являлся А. В. Алябьев, отец композитора. В нем, этом доме, будущий великий композитор и родился. В начале XIX века оно было перестроено под губернскую гимназию, в ней учился Батеньков, директорствовал И. П. Менделеев, отец великого химика. Когда Иван Павлович Менделеев служил директором, у него учился Ершов, впоследствии и сам ставший во главе гимназии, а у него, в свою очередь, проходил курс первоначальных наук четырнадцатый ребенок в семье Менделеевых, открывший затем периодическую систему элементов. Все в Тобольске, небольшом городе, было тесно сплетено между известными фамилиями. Мать Д. И. Менделеева вышла из рода Корнильевых, тех самых, которые построили дом, ставший гимназией, и начинали в нем издательскую деятельность, выпускали первый в Сибири литературный журнал под названием

«Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Правда, П. А. Словоцов оставил о нем нелестный отзыв: «В 1790 и 1791 гг. издавалось периодическое сочинение «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Не Ипокрена ли превращалась в Иртыш? Вместо того, чтобы заняться сообщением современных в Сибири происшествий, изложением местных исторических отрывков или описанием торговли, хлебопашества и вообще хозяйственного быта, издатели пустились обезьянничать в словесности и поэзии пошлой».

С самых начал строго в Тобольске спрашивали с искусства. В музее местного театра есть выписка из летописи: «Мая, 8 числа, 1705 г., в день Иоанна Богослова, в Тобольску, во время игрища комедии, возста тучею буря жестокая и сломила под алтарем соборной церкви верх весь с маковицей и крест. Прознаменуя всемогущий господь бог гнев свой на творящих игрища комедианские: в тот же час на взвозе базарном сажени с три горы сползло с места глади».

Спустя два с лишним века «игрища комедианские» не прекратились. Это уже афиша: «Воскресенье, 7 февраля 1926 г. Состоится первая постановка сенсационного боевика сезона. Исключительный сюжет. Ввиду того, что в пьесе выведены некоторые тобольские обыватели, а также исторические события времени пребывания здесь бывшего царя и его семьи, эта постановка представляет для Тобольска исключительный интерес. «Конец Романовых». Драма в пяти действиях. Сочинение М. Волохова и П. Арского». После сего уже не с одной церкви повалились под «бурю жестокой» кресты и маковицы, они вполовину и сегодня стоят обезглавленные.

Что до исключительных сюжетов — к ним опять, как в 20-е годы, потянулись поклонники сенсаций.

Уж коли оказались мы возле театра, надо и о нем упомянуть. Яркая, веселая красота всегда вызывает или любованье, или раздражение. В Тобольске, и прежде всего в нижнем городе, немало праздничных зданий в стиле барокко и сибирского барокко, даже, как называют специалисты, местного барокко с неожиданной игрой и театральностью форм. Уж если жилые дома и храмы выписывались театрально, то театр в Тобольске должен был стать совсем особенным, не походить на своего собрата нигде в мире. О нем писали, еще когда

он строился, что бедному и провинциальному городу (так оно и было в конце прошлого столетия) заводить такой терем не с руки. Он и есть терем. Деревянный. И не один, а несколько, набегаящих друг на друга, подхватывающихся, соединенных в общий теремной городок, с шатрами, как коронами, над главным зданием и над приделами, увенчанный башенками и шпилями, разукрашенный резьбой, держащий при входе узорные колонны. Не сразу и найдешь, что можно поставить в Сибири рядом с такой нарядностью, форсистой и фантазией. Разве что томскую деревянную узорность, но там она богаче — под стать своему городу, там она рисовалась в пору расцвета, когда Томск спорил за столичность в Сибири с Иркутском. Тобольск в то время отодвинут был далеко. Но он не был бы Тобольском, если бы и при бедности не напомнил о себе широким и красивым жестом. И сколько бы ни говорили о тобольском театре, что он перегружен деталями, ярмарочен, бросок, что нет в его формах ничего ценного — да ведь и строился не в XVI веке и строился не под университет. А что вспомнил и повторил глубокою старину, украсился под сказочную старину, показал русский дух по-библински ярко, щедро, легко и замысловато — за то спасибо театру. При одном взгляде на него вольно распрямляется душа и всплывает улыбка. Театр начинается с театра, со стен его, принимающих зрителя.

Это был один из последних заметных штрихов в архитектурном лице города. Позже театра появился, кажется, лишь особняк купцов Корниловых возле Базарной площади — и тоже не без претенциозности, которую в живых столицах сочили бы устаревшей. Затем началось старение уже не моральное, а физическое, угасание и проживание нажитого. Вот и театр давно нуждается в ремонте и не может его дожидаться. Архитектура, как и повсюду, стала вычерчиваться квадратными метрами, Ремезовы и Черепановы (Черепановы — тобольские зодчие, строители и летописцы из ямщиков) исчезли, столоничальники пошли не только без царя, но и без России в голове, нужда в мастерах отпала, стиль жизни потребовал замены искусства ремеслом, духовности — агитационностью; постоянно говоря о прекрасном будущем, ни камня не положили в это будущее, не поспевающая за настоящим; из богатства и бед-

ности, из величия и скудости, смешав их, добыли хлебово, поддерживающее лишь желудок...

Заканчивая воссоздание в прежнем облике кремля, Тобольск, похоже, растерялся: что же дальше? Работы непочатый край, в нижнем городе сплошь одна работа, а реставрационные мастерские слабы, мастеров мало, зарплата — как из милости. В чужие двери стучаться — всюду то же самое, в свои — в своих дверях заняты прокормно-обогревными делами, там не до истории, не до старины. Жизнь давно уже приняла конвейерный характер со все убыстряющейся скоростью, и что не успели набросить на конвейер сегодня, завтра негде взять. Мчится эта слепая прожорливая линия мимо старого Тобольска, мчится невесть куда, издавая требовательные понукания, и устроена она так хитро, что только на нее и наворачивай, а взять ничего не смей. Сочувствие к погибающему историческому городу меж пробежками проявить еще можно, а на помощь ни времени не остается, ни денег, ни сил. Потом, потом... Это стало походить на рок.

Я слышал о тобольской «Доброй воле» раньше; в отличие от множества неформальных объединений, заполнивших в последние годы общественную жизнь, она появилась еще до перестройки. Появилась и, несмотря на подозрительность к ней, патриотические движения всегда подозрительны (у нас привычной принимают групповое насилие, чем групповое пособие, которую тут же продолжают в пособничество и к чему только не подвяднут), несмотря на недоверие и окрики, не исчезла. В таких случаях должен быть руководитель, лидер; интеллигенция наша горазда вести разговоры, но не двигаться, — лидером оказалась инженер Людмила Николаевна Захарова, больше десяти лет назад приехавшая на стройку комбината из Омска. То, что из Омска, придало ей решительности и инициативы, в Омске со своей стариной обошлись как с пережитком проклятого прошлого и уничтожили, а в Тобольске Людмила Николаевна нашла город как из другого мира, уже не подозреваемого ею, что он существует, влюбилась в него, почувствовала, как удобен он для души, как покровителен отеческой вере, как много говорит он улицами и стенами. Со временем она осмотрелась внимательней и увидела, что не только сносы и граби-

тельство, но и равнодушие, небрежение, мимоходство, привычка к духовно-прожиточному минимуму губят город ничуть не меньше, а только медленней. Надо было что-то предпринять. Захарова пошла в газету и дала на пробу объявление к тобольским гражданам тогда-то и там-то собраться на первый субботник по восстановлению старины. И — собрались. Обратись с подобным призывом власть — вероятней всего, поостереглись бы, привыкнув не доверять ей в том, что выходит за текущий день, а тут призыв почти от себя, от неопытного и искреннего сердца. Выяснилось, что и у них сердца болели тем же, и они страдали от беспризора памятников и вялого реставрационного копошенья. Пришли школьники, студенты (в Тобольске пединститут, и носит он, как ни странно, имя не Клары Цеткин, а Д. И. Менделеева), рабочие пришли и косторезы, бабушки вместе с внуками, сотрудники краеведческого музея и Дома пионеров. Сначала были «прихожанами» церкви Михаила Архангела, ломами и кайлами вырубая из нее закаменевшую за десятилетия грязь, чтобы после реставрации устроить выставочный зал, потом пошли выручать дом Ершова для музея его имени, потом дом Фонвизина для музея политической ссылки, провели переучет деревянных памятников, взялись на пустыре, заваленном строительным мусором, разбивать сквер. А после работы самовар, сейчас «Доброй воле», когда доказала она истинность своего названия, отдали во временное пользование и для ремонта квадратную башню в кремле, за самоваром чтения и беседы о прошлом города, песни и встречи с гостями Тобольска.

Конечно, в сравнении с тем, что требуется сегодня Тобольску, — требуются же ассигнования, а не подачки, значительное увеличение мощностей реставрационных мастерских, повышение квалификации городских и областных руководителей по отношению к историческому городу, — по сравнению со всем этим «ручной», так скажем, вклад «Доброй воли» рядом с механизированным производством не столь и велик, как хотелось бы, но и при малости его польза он приносит огромную. И польза его прежде всего в том, что: вот как надо. Не ждать, явится ли добрый дядя, который соблаговолит заметить рядом с нефтью древний город, приклонивший в прошлом к России эту

землю, а действовать и воспитывать примером, чтобы подобный народ не мог не явиться.

Другого пути у нас, похоже, нет.

Лишь возле Базарной площади нижний Тобольск покажется благополучным. Сюда еще в прошлом веке спустились торговля и административный центр, сейчас здесь асфальт, широкая планировка улиц, богатые особняки, в Гостином дворе шумит универмаг, Захарьевская церковь, образец местного барокко, обнесена реставрационными лесами. Неподалеку губернаторский дом, в котором после революции сохранилась царская семья, рядом плац-парадная площадь. Напротив — уже упоминавшийся дворец купцов Корниловых, построенный незадолго до революции. В губернаторском доме сегодня райком партии и райисполком, в доме купцов Корниловых банк, а Благовещенскую церковь, в которой молился император, чтоб о лишнем не напоминала, уже в 50-х годах снесли. «Умом Россию не понять...» Чтобы еще раз убедиться в этом, достаточно пройти не спеша по улице Мира, где присутствуют и отсутствуют поименованные и другие здания и где свои архитектурные стили в классицизме, барокко, эклектике и примитиве они распростирали на современное общество.

А от Базарной площади по Софийскому взвозу, который в разные времена назывался и Прямским, и Торговым, и Базарным, через 198 деревянных ступеней можно подняться, оглядываясь на нижний город, к арке Дмитриевских ворот, над которой проходит Рентеря, или Шведская палата в ансамбле кремля. Шведская — потому что по чертежам Семена Ремезова строили ее пленные шведы. За воротами сразу словно в другой мир переносишься, где Сибирью и не пахнет, а оказываешься будто в средневековой Европе. Глубокий, как ущелье, каменный коридор с отвесными стенами намерен, кажется, вести лишь в подземелье. О подземных ходах, прорытых от местнического дворца и обжитых затем разбойниками, и поныне продолжают гулять легенды, но тоннельный ход от Софийского взвоза выводит на простор и свет Троицкого холма к западной стене кремля возле Софии. Первое, что видишь на старой каменной кладке, — мозаичный портрет сибирского зодчего, измыслителя и строителя кремля, летописца, карто-

графа, художника и поэта Семена Ремезова, выполненный уже в наше время, когда стала возвращаться память.

Собственно, то, что заключено в стены и зовется сейчас кремлем, есть лишь половина кремля — Софийский двор с пристроем к нему двора Гостиного. Вторая половина, центр административный, располагался в Малом городе на западной оконечности Троицкой горы. Их и соединяла торжественным переходом Рентерея, предназначавшаяся под хранилище казны. В этом качестве Рентерея, судя по всему, прослужила весьма недолго. А. Н. Радищев, на полгода задержавшийся в Тобольске по пути в Илимскую ссылку, застал уже в Рентерее архивохранилище, где и увлекся чтением сибирской истории, составив потом «Описание тобольского наместничества» и «Описание китайского торга».

Рентерея протягивалась над взвозом уже при губернаторе Гагарине. До того в должности главного строителя каменного кремля Ремезов поставил Гостиный двор и в Малом городе Приказную палату. Гостиный двор сейчас реставрируется, а Приказная палата еще в XVIII столетии вошла частью в дворец наместника.

Наибольшего могущества достиг Тобольск в XVIII веке, и началось оно с разделением российских территорий на губернии. Тобольская, или Сибирская, губерния одна тянула не меньше, чем остальные четыре, и простиралась от Великого Новгорода до Великого океана, включая в себя вятские, пермские и оренбургские земли, как бы принявшись, дойдя до Великого океана и развернувшись, распространять свою власть за Урал. Это «как бы» имело потом, насколько можно догадываться, серьезные последствия.

Первым сибирским губернатором назначен был князь М. П. Гагарин, в молодости стольник Петра, затем нерчинский воевода, судья Сибирского приказа, комендант Москвы. В то время строился Петербург, и строился он, как БАМ в наши дни, всей страной, каменное строительство повсюду было запрещено — Петербургу не хватало мастеров. И только Гагарину благодаря своей близости к императору удалось добиться для Тобольска исключения. При нем сооружение кремля завершилось. По плану Ремезова оно не было завершено, по этому плану тобольский кремль недалеко бы отстал от москов-

ского, но пришло к тому результату, который воспринимается нами как законченный ансамбль. При Гагарине расширяется торговля, развиваются ремесла, отовсюду идут сведения о сыскании руд, серебра и золота, на крайнем севере по Холодному океану открываются новые острова, чжунгарские подданные просятся под руку Сибири. Ничего не стоит Гагарину руками пленных шведов взять и отвести русло Тобола на две версты в сторону — чтобы не подмывал кремлевскую гору. В Тобольске чеканится собственная, сибирская монета. Сибирь все меньше походит на малосведомую страну, какой она считалась еще накануне нового века.

Неожиданная расправа Петра и позорная смерть князя Гагарина до сих пор таят в себе загадку. Можно лишь предполагать, что вызвало тяжелый гнев государя. «За лихоимство» — это, вероятно, далеко не все. Да, любил Матвей Петрович роскошь и блеск, он и на службу в Тобольск плыл от Верхотурья на судне, обшитом красным сукном. Слухи живучей свидетельств, а они до сих пор нашептывают, что при выездах князя лошади стучали по мотовой серебряными подковами, ободья колес были также обиты серебром. Но любил Гагарин и сам щедро одаривать. То выдаст пособие шведам в несколько тысяч, то отправит от себя в Киево-Печерскую лавру золотые сосуды, то поднесет тобольскому кафедральному собору бесценную митру, которая «украшена золотым крестом с алмазными искрами и убрана 40 финифтяными золотыми чеканными штуками, 778 драгоценными камнями, в том числе 8 изумрудами, 532 алмазными искрами, 31 большим яхонтом и 3131 жемчужиной». За лихоимство Петр взыскивал строго, да и на расправу был скор, но не до того же, чтобы повешенного перед юстиц-коллегией прославленного сибирского губернатора приказал он не снимать с виселицы, пока не сгниет веревка. И сгнила, доносит опять молва, — подняли и вздернули на цепь. Это было что-то сверх кары, для этого требовалась вина сверх любостяжания. Не имея доказательств, историки намекают, что при следствии «развязались в Сибири языки у злословия, у злобы, неблагодарности... иный утверждал, что Гагарин злоумышлял отделиться от России...» (П. А. Словцов).

Не здесь ли и надо искать разгадку Петровой расправы? Едва ли Гагарин



УЛ. ТАТАРСК



«злоумышлял», но мог, мог вельможный губернатор гаркнуть при подвернувшемся фискале водившимся у него зычным голосом: «Мы сами государство!» Мог и повторить, недовольный поступившим повелением. И этого оказалось достаточно, чтобы получить приговор по подменной вине, а подлинные обвинения скрыть. Случайно ли, что вскоре после отозвания Гагарина в Петербург Сибирь разделяется на провинции, а при Елизавете при губернаторах заводятся тайные комиссии. Без Сибири Россия уже и не помышляла жизни, Сибирь приучила правительства к легким доходам, ее щедрость как не способствовала ли общему нашему безрадетельству.

Кроме лихоимства, попробуем поискать о сибирских губернаторах что-нибудь поприятней и попоучительней. Вспомним Федора Ивановича Соймонова, заступившего на губернаторство через сорок лет после Гагарина. Тоже любимец Петра, спасший ему в молодости жизнь, Соймонов был при Бироне по подложному обвинению судим, ему рвали ноздри и отправили в Сибирь на вечную каторгу. Слишком давно на Руси завелось, что возвышенный при одном правителе становился преступником при другом. Помилованного при новой смене власти, Соймонова с трудом разыскали близ Охотска, вернули ему поместья и награды и направили губернатором в Тобольск.

Не станем перечислять плоды его деятельности в Сибири, поверим историкам, что они были по тем временам значительные и касались просвещения, продовольствования народа, устройства путей сообщения, облегчения участи раскольников и прочего. Но вот что оставлено Соймоновым в письменных трудах: «История Петра Великого», «Краткое изъяснение астрономии», «Известие о торгах сибирских», «Сибирь, золотое дно», «Описание Каспийского моря», «Описание штурманского искусства» и т. д.

Другой губернатор сибирский, Д. Н. Бантыш-Каменский, был автором «Словаря достопамятных людей земли русской» в пяти томах.

А. М. Деспот-Зенович первым своим делом считал покровительство печати и культуре.

А Алябьев, отец композитора! А Сперанский! А Муравьев-Амурский!

Да, были люди в ваше время...

С Борисом Эристовым, научным сотрудником Тобольского краеведческого музея и знатоком тобольской старины, мы отправились взглянуть на Искер. Давно нет уже этого города, татарской столицы Сибири на берегу Иртыша, ставки Кучума, откуда управлял он своими владениями и куда свозил богатую дань. Города нет, но хотелось посмотреть хоть на место, где он стоял, представить, как стоял, с какой стороны входил в него Ермак, что перед собой видел. И хотя знал я, что Иртыш («землерой» с тюркского) подмывает и Кучумов холм, что, вероятней всего, мало что от него осталось, но и это «мало» не терпелось увидеть.

По Иркутскому тракту мы проехали мимо Ивановского монастыря, поставленного первой постройкой в середине XVII века, миновали вдоль полей еще несколько верст и перед лесной поймой остановились. Иртыш остался справа, за полями. Дороги туда нет, нет нигде и упоминания об Искере. Только чудачки да историки помнят еще о нем, редко кто спросит теперь о Сузге, красавице жене Кучума, которой Ершов посвятил поэму. История, кормясь, тоже пашет свою пашню, и целый пласт ее перевернут за четыреста лет, полностью погребя под собой Кучумово царство, и уж немного, судя по всему, остается, чтобы и новому пласту лечь наверх и закрыть навсегда даже и для памяти бывшее тобольское могущество.

Мы пошли по лесной меже, нахватали с берез клещей, которых потом выдирали из себя дня три. От реки Сибирки, подходившей к Искеру, теперь только урман и остался, показывая ее русло. Лес повернул круто влево, а мы направились через незасеянное поле напрямик к Иртышу. И когда вышли — будто вознесло нас, и далеко-далеко, верст на тридцать, открылось подолье могучей сибирской земли в зелени и старицах, островах и низких берегах. Перед такой картиной с особенной печалью чувствуешь свою немоту, это восхищение не имеет языка. Видно, и в нас, как в Сибирке, пересыхают чувствительные струи, и лишь по обессиленным смутным толчкам догадываемся мы, где, перед чем бы они брызнули и наполнили нас радужной страстью. Не то же ли самое происходит и перед делом рук человеческих, перед вершинными творениями предков наших, перед коими мы останавливаемся, догадываясь, что достойны они восхище-



ния, — и оскудело восхищение! Можно расчистить русло Сибирки, но где взяться влаге, если завалены и опустынены истоки? Часто, слишком часто любованье наше имеет механическую силу, словно даешь себе команду, что тут принято любоваться, и принимаешься качать насосик.

По высокому берегу Иртыша и подошли мы к крутому оврагу, за которым подымался Кучумов холм. Историк Миллер два с половиной века назад застал здесь пятьдесят сажен в ширине холма, тобольский краевед и художник М. С. Знаменский сто лет назад намерил лишь пятнадцать сажен. Ныне ушло под воду и начало их замеров. Знаменский пил из Сибирки студеную воду, стоял над знаменитым Кучумовым колодцем, открытым на случай осады. Сегодня все кануло в преисподнюю. От холма осталась уже и не часть его, а понижение к Сибирке с северной стороны. Как время сносит события, так ветер и вода — место этих событий на земле, и чем громче и ярче прозвучали они в истории, тем безжалостней результат.

С основанием Тобольска и восселением русских Искер обречен был на ги-

бель, Иртыш лишь исполнил приговор. Какая судьба ждет теперь Тобольск, неужели появятся люди, которые поставят новый град и отдадут Тобольск Иртышу или какой-нибудь иной силе? Суждено ли им быть? Или они уже пришли, молодые и энергичные, без груза памяти на этой земле, и встали под боком Тобольска, тесня и тесня его к обрыву? Пятнадцать верст считалось от Искера до Тобольска. Эти — рядом. Не значит ли это, что настолько же скоростней будет их безжалостный надвиг?

Или они все же мирно уживутся?

Или — как вышло с домом М. С. Знаменского, того самого, который за сто лет до нас искал Искер. Дом снесли, на его место поставили новый и прибили к нему, полностью новому, прежнюю мемориальную доску: «В этом доме жил известный художник-демократ М. С. Знаменский». Тоже выход для исторического города.

Что ждет тебя, Тобольск, громкая, славная старая столица Сибири?! Достанет ли у нас сил, мужества, убедительности, памяти и доброй воли, чтобы тебя отстоять?



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Байкал

«Посмотрел Господь: неласковая вышла земля... как бы не стала она на создателя обижаться!.. И, чтоб не держала обиды, взял и вымахнул ей не какую-нибудь подстилку для ног, а саму меру щедрот своих, которой мерил, чему сколько быть от него. Упала мера и превратилась в Байкал».

Не помню, когда и от кого слышал я эту бесхитростную и гордую легенду о сотворении Байкала. А может, не от кого другого, а от себя же и слышал, как наговорилось мне в одно из беспамятных созерцаний этого чуда, но всякий раз, когда подхожу я к Байкалу, снова и снова звучит во мне: «Упала господня мера щедрот его на землю и превратилась в Байкал».

Произошло это, как считают ученые, примерно двадцать миллионов лет назад, слишком задолго до появления здесь и где бы то ни было первого человека.

Вот это и непонятно: Байкал был, а человека не было, и любоваться-дивиться на него, выходит, было некому. Уж очень неразумно. Мы привыкли к тому, что для нас, для нас они создавались и нам предназначались, и стали забывать, что человек ее же, Природы, как и многое другое, произведение, стечение счастливых для него обстоятельств. И все же справедливо и наше, пусть самолюбивое, но искреннее недоумение: как так — человека, единственно способного на высшее наслаждение и понимание, не существовало, а предметы наслаждения существовали! Для чего? Если никто не в состоянии был их оценить, сравнить, если ничья голова не могла закружиться и ничье сердце обмереть от их красоты и чудотворности, ничей ум не делал попытки доискаться до причин! Но, вероятно, все было в свою пору, и, как только созрела до плодов и красот Земля, явился и человек. И где освобождалась она от стылости, где принималась укрываться лесами и травами — туда и двигался он для заселения.

Для нашего утешения можно предполагать, что до человека Байкала в совершенных его формах не было. Он лишь подготавливался, постепенно образуясь, наполняясь и оживляясь, окрываясь и окрашаясь берегами. Его образование не прекратилось и поныне. Он то и дело ворочается, устраиваясь удобней, иногда, как это было в самом начале 1862 года или в 1959 году во время сильнейших землетрясений, довольно опасно для человека; он растет: на два сантиметра в год, как в Мировом океане, расходятся его берега; подозревают, что, не довольствуясь судьбой, он в океаны и метит.

Любопытно еще одно: ступив в Сибирь и ходом двинувшись на восток, русские проскочили Байкал. К океану они вышли, судя по всему, раньше, чем к внутреннему «славному морю». Одним из первых (считается, что первым, но есть глухие сведения о предшественниках) испил байкальской водицы пятидесятник Курбат Иванов, успевший до того, как перевалил он в 1643 году водораздел от верховьев Лены, положить на Крайнем Севере на карту Лену, Колыму и «прочьи

собачьи реки». Тобольского казака Курбатку Иванова как-то не по чину называть отцом сибирской картографии, но что делать, коль из песни запева не выкинуть. И Байкал свои первые очертания получил под его рукой. «Роспись против чертежу от Куты реки вверх по Лене и до вершины и сторонним рекам, которые впади в Лену реку и сколько от реки до реки судового ходу и пашенным местам и распросные речи тунгусского князца Можеулка про брацких людей и про тунгусских и про Ламу и про иные реки» — так называется этот труд, который по завершении похода был отправлен пятидесятником якутскому стольнику Головину и который ныне требует некоторых разъяснений.

Свои «распросные речи» Курбат Иванов вел в верховьях Лены с эвенкийским князцом Можеулкой, а у эвенков Байкал назывался Ламой. Переправившись на остров Ольхон, отряд русских встретил там «брацких» — бурят, у которых со своим подворотом языка Байкал имел собственное имя. Но первоначально услышанное название показало Курбату Иванову подлинней, под ним он и указал Байкал в своем описании и чертеже. Так до конца XVIII столетия и жил Байкал то под своим именем, то под именем Ламы, то Далая, указывающих на святость воды, пока окончательно и по праву не установилось одно.

Откуда, с какой стороны, от какого народа пришло это название, спорят до сих пор. Похожие звучания, означающие большую, богатую воду, есть в якутском, бурятском языках, есть оно, оказывается, и в арабском, а поискать — сыщутся и дальше, словно в каждом большом и малом речении приговорен был для Байкала, как для будущего спасителя, единый зов. У китайцев Бай-Хай — северное море. Ученые склоняются к якутскому варианту: якуты до исхода на Север жили подле Байкала, в их языке и сейчас сохраняется «байгьал» — море. Вероятно, у них и переняли это слово буряты. Но не переняли ли, в свою очередь, древние якуты его у кого-то, кто жил до них, у тех же курыкан, у народа тюркского происхождения, оставившего следы своего обитания на Байкале еще во времена позднего неолита? Или у кого-то еще? Николай Спафарий, русский посланник в Китай, побывавший на Байкале в 1675 году, записывает: «...А иноземцы все, и мунгалцы и тунгусы и иные, называют все Байкальское море своим языком Далай, се есть море... И имя того Байкала видется что не русское, его тем именем (назвали) по имени иноземца, который жил в тех местах».

Одно наверняка донеслось из далекого прошлого: каждый народ, находивший приют на берегах Байкала, почитал его воду святой и наделял его самого богоносной властью. У бурят святыни, которым они продолжают смутно поклоняться, разбросаны почти по всему побережью, особенно много их на острове Ольхон. Едва ли не каждая крупная гора или скала там — место общения с бурханом, главным духом Байкала. Это не мешает, правда, нынешним бурятам из своего священного острова устраивать огромную мусорную свалку, а жертвенное брызганье на почитаемые камни «огненной» водой превращать в пьянство, в наше время это, к несчастью, повелось не у одних бурят, они в сем обычае — равные среди равных, походя и бессмысленно творящих надругательство над родной землей, древние праздники и поверья приспособивших для поклонения иным богам...

Пользоваться прошлым во имя внушения или даже сравнения — обычно занятие бессмысленное и бесполезное, и не для урока, а только из любопытства послушаем свидетельства того, как наши предки относились к Байкалу.

Европеец Избрант Идес в «Записках о русском посольстве в Китай (1692—1695)»:

«Следует заметить, что, когда я, покинув монастырь св. Николая, расположенный при устье Ангары, выехал на озеро, многие люди с большим жаром предупреждали и просили меня, чтобы я, когда выйду в это свирепое море, называл бы его не озером, а далаем, или морем. При этом они прибавили, что уже многие знатные люди, отправлявшиеся на Байкал и называвшие его озером, то есть стоячей водой, вскоре становились жертвами сильных бурь и попадали в смертельную опасность».

Исследователь Байкала Б. И. Дыбовский (год 1868-й):

«Байкал, называемый туземцами «святым морем», полон дивного обаяния; что-то таинственное, легендарное и какой-то необъяснимый страх связывались у всех с предостережением об этом озере. Всякий раз, когда мы собирались отправиться на озеро, нам пророчили неминуемое несчастье».

Поверия, как и предания, живучи; попробуйте, попав в байкальский шторм,

смеяться над местными рассказами о всемогущих духах моря, которые словно бы и выпускают, как из рукава, шквал за шквалом, сокрушительные порывы один другого яростней и опасней. Если вы способны в такой момент над этим смеяться — честь и хвала вам, способным на все.

Предания, кстати, связывают остров Ольхон с именем Чингисхана: здесь якобы и обрел он вечный покой. Это тот случай, когда к преданию предпочитаете относиться с сомнением, зная, сколько в Азии углов, претендующих на прах великого завоевателя. Но и сомневаясь, хочется предположить: если был у владыки многих земель вкус да была последняя воля — отчего бы и не Ольхон?! Коль выбирать для вечного пристанища вечное величие, коль присматривать себе место рядом с богами — что еще и искать?! Стоит выйти на северной оконечности острова к скале Саган-Хушун да повести с обрыва глазами вокруг на все четыре стороны, почувствовать себя одновременно среди стихий неба, воды и земли, ощутить лицом разрыв воздуха, как при быстром движении, услышать то могучий, то прибаюкивающий плеск волн, увидеть рядом, что не меркнет древность в камне и что всходит она здесь исчезнувшими повсюду растениями из земли, стоит поддаться настроению и понять, что нет под этой бездной деления на дни и недели, на проходящие и уходящие жизни, на события и результаты, а есть только бесконечное всеохватное течение, устраивающее смотри, на которые одно и то же, окунаясь то в свет, то в тьму, является бессчетно... Стоит побывать здесь, и кем бы ты ни был, — ты пленник...

Открытие Байкала, вернее, его явление не произвело на русских первопродовцев особого впечатления. Никаких свидетельств личного характера они о нем не оставили: все больше о рудах, о соболях да обидах... Или надивились великострадники XVII века за глаза, или не принято было в то время письменно выражать свои чувства. Но людей художественного склада, едва пришла их пора, Байкал не мог не ошеломить. При этом надо иметь в виду, что три века назад для живописных описаний, для полукрасок и полутонов русский язык был малоповоротлив, и там, где должна бы явиться яркая картина, нередко раздавалось крикание. Но и об этом мы можем судить лишь со своей колокольни; вполне допустимо, что, не обставленное подпорками определений и уточнений, слово обладало тогда более широкой выразительностью, чем теперь, и читатель чувствовал его наклон, как мы продолжаем интуитивно слышать его в устной речи.

Самый первый гимн Байкалу пропел протопоп Аввакум, неистовый вождь церковного раскола. Возвращаясь летом 1662 года из даурской ссылки, он описывает: «Около ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки — двадцать тысяч верст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы — все богоделанно. Лук на них растет и чеснок, — больши романовского луковицы, и слаток зело. Там же растут и конопли богорасленныя, а во дворах травы красныя — и цветны и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег плавают. Рыба в нем — осетры и таймени, стерледи и омули, и сиги и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во океане-море большом, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нем: осетры и таймени жирны гораздо — нельзя жарить на сковороде: жир все будет. А все то у Христа тово, света, наделано для человека, чтоб, успокояся, хвалу богу воздавал».

Николай Спафарий в следующее после протопопы Аввакума десятилетие сетует: «Байкальское море невидимое есть ни у старых, ни у нынешних земнописателей, потому что иные мелкие озера и болота описуют, а про Байкал, которая толика великая пучина есть, никаких воспоминаний нет».

Чтобы восполнить этот пробел, Спафарий почти на месяц задерживается на Байкале и дает первое толковое и живое описание, перечисляя реки и заливы, спасительные укрытия для плавателей, рассказывая о занятиях жителей, о лесах, удивляясь обилию рыбы, объясняя, почему Байкал может называться и озером и морем. «А вода в нем зело чистая, что дно видится многие сажени в воде, и к птию зело здравая», — скажет Спафарий.

Два столетия спустя А. П. Чехов подхватит: «...видно сквозь нее, как сквозь воздух, цвет у нее нежно-бирюзовый, приятный для глаза».

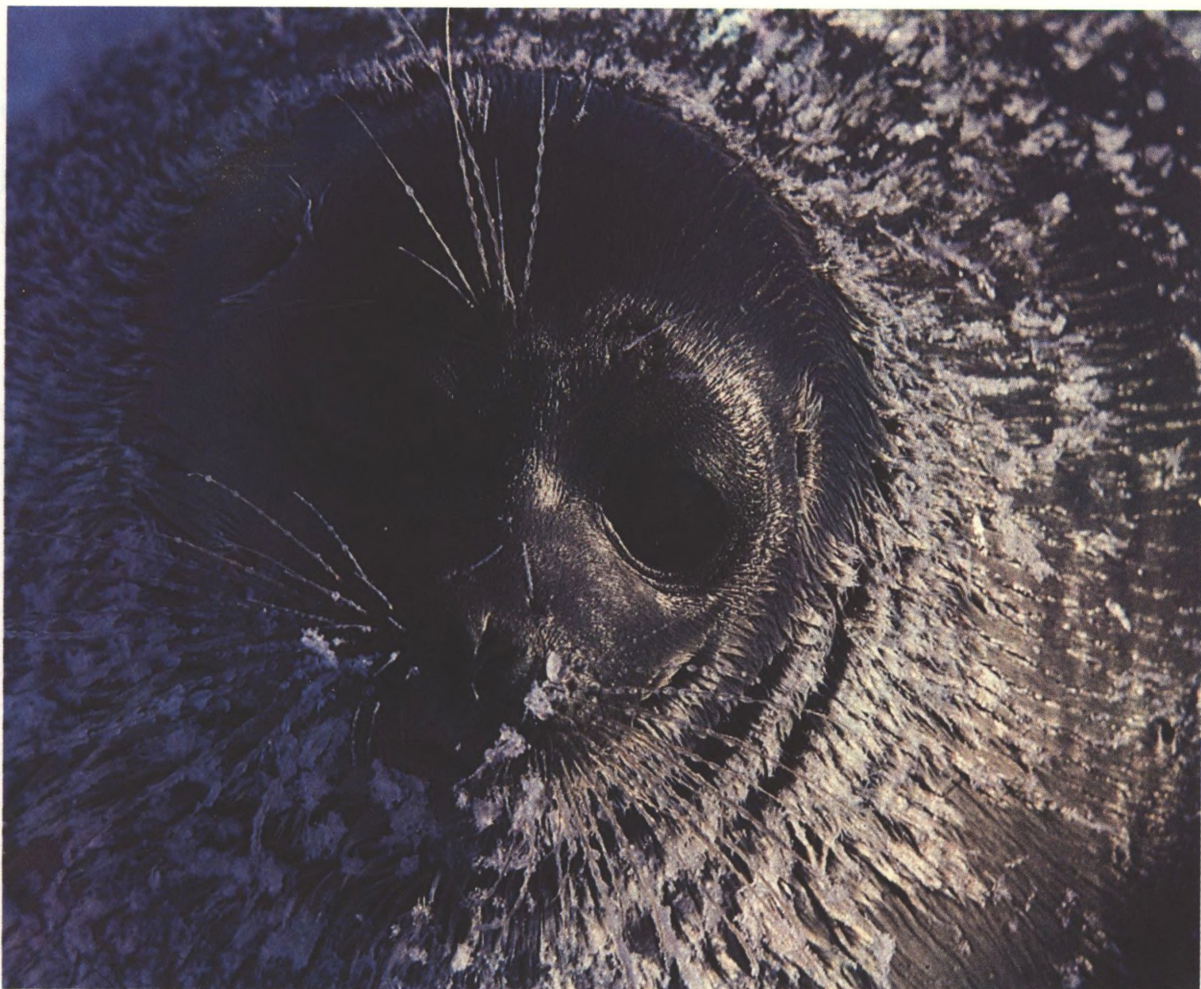
О Байкале осталось столько восторженных отзывов, что из них можно составить не одну книгу. Стократ больше осталось незаписанным и, должно быть, организованным в музыку, звучит в иные дни, когда нужно ответить небу, дивной



Старая Круго-байкальская железная дорога.

песней человеческого благодарствования. Долгое время поклонение Байкалу было всеобщим, хотя и затрагивало у одних прежде всего мистические чувства, у других — эстетические и у третьих — практические. Человека брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался в его представления: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло бы находиться, был не тем, чем мог бы быть, и действовал на душу иначе, чем действует обычно «равнодушная» природа. Это было нечто особенное, необыкновенное и исключительное.

Со временем Байкал обмерили и изучили, применив для этого в последние годы глубоководные аппараты. Он обрел определенные размеры и характеристики и по ним стал сравним. Его сравнивают то с Каспием, в котором в единственном среди внутренних морей воды больше, чем в Байкале, но в Каспии она соленая, то с Танганьикой, считающейся на противоположной стороне планеты двойником Байкала: тот же полумесяц по форме, близкие к байкальским глубины, огромное число эндемиков. Вычислили, что Байкал вмещает в себя пятую часть всей поверхностной пресной воды на земном шаре и что на одной лишь байкальской воде человечество могло бы прожить, не стесняя себя в затратах, не менее сорока лет. Объяснили его происхождение, предположили, как могли зародиться и сохраниться в нем нигде более не существующие виды животных и растений и как могли попасть в него виды, существующие за многие тысячи километров. Не все эти объяснения и предположения согласуются даже и между собой, Байкал не столь прост, чтобы лишить себя загадочности, и все же, как это и должно быть, по своим цифровым параметрам он поставлен на соответствующее место среди величин обмеренных и изученных. И он стоит в этом ряду... потому лишь, что сам-то он, живой, таинственный и величественный, ни с чем не сравнимый и ни в чем нигде не повторимый, знает свое собственное место и свою собственную жизнь.



Загадочная нерпа.

Как и с чем, действительно, можно сравнить его воздух и воду, его красоту? И красота ли это? Не станем уверять, что прекраснее Байкала нет ничего на свете: каждому из нас мила и любя своя сторона, и для эскимоса или алеута его ледяная пустыня есть венец природного совершенства. Мы с рождения впитываем в себя соли и картины своей родины, они влияют на наш характер и организуют на свой манер клетки нашего тела. Поэтому мало сказать, что они дороги нам, мы часть их — та часть, что составляет естественной средой. В нас обязан говорить и говорит ее древний голос. Бессмысленно сравнивать, отдавая чему-либо предпочтение, льды Гренландии с песками Сахары, сибирскую тайгу со среднерусской степью, даже Каспий с Байкалом — можно лишь вынести о них свои впечатления. Все это прекрасно своей красотой и удивительно своей жизнью. Чаще всего попытки сравнения в таких случаях происходят от нашего нежелания или неумения увидеть и почувствовать единственность и совершенство картины.

Меньше всего для Байкала подходит понятие красоты. То, что мы принимаем за нее, есть впечатление иного рода — как бы надстоящее над горизонтом нашей чувствительности. Сколько бы ты ни бывал на Байкале, как бы хорошо ни знал его, каждая новая встреча неожиданна и требует с твоей стороны усилий. Всякий раз приходится опять и опять словно бы приподнимать себя на некую высоту, чтобы оказаться с ним рядом, видеть его и слышать.

Не все, как известно, называется. Нельзя назвать и то перерождение, которое случается с человеком вблизи Байкала. Надо ли напоминать, что для этого должен быть душемущий человек. И вот он стоит, смотрит, чем-то наполняется, куда-то течет и не может понять, что с ним происходит. Как зародыш в чреве матери проходит все эволюционные стадии развития человека — и он, замороженный древним могучим изладом этого чуда, испытывает всевременное чувство приливности создавших человека сил. Что-то в нем плачет, что-то торжествует,

что-то окунается в покой, что-то сиротствует. Ему и тревожно и счастливо под пронизательным всеохватным оком — родительствующим и недоступным; он исполняется то надежды от воспоминаний, то безысходной горечи от реальности.

Кто из нас не знает замечательной песни «Славное море, священный Байкал», написанной в прошлом веке сибирским поэтом Д. П. Давыдовым от лица каторжника, сбежавшего от тюремщиков и переправляющегося через Байкал. Есть в ней слова: «ожил я, волю почую». Вот это и испытываем мы на Байкале, словно бы вырвавшись из застенков созданного собою рабства на вольный простор, перед тем как снова возвращаться обратно.

ИЗ «БАЙКАЛЬСКОГО ДНЕВНИКА»

Январь, 17-е. Листвянка, исток Ангары.

Байкал встал, замерз. Вчера, когда приехал, ходила еще полая вода — перед тем сорвало и унесло ветром слабый лед, а сегодня окончательно. Огромное ледяное поле в заплатках: льдины еще не притерло друг к другу, в местах стыков выжимает наверх крошево и выплескивается вода. Возле Ангары она давит на лед с глухим ропотом, недовольная и не привыкшая, что нет выхода там, где ходила.

День солнечный, яркий. Вспоминается, что по числу солнечных часов в году Байкал даст фору любому европейскому курорту. Солнце, падая на синий застыв, разбивается и дымит. В чутком оцепенении стоит лес по горе, медленно и вяло двигаются люди. Общая завороченность от ледяной разостели. На торосистый выжим возле берега лает собака. Грузно смотрят на противоположном берегу горы. Вместе с водой застыл и воздух.

В истоке Ангары густо плавают возле кромки льда утки-зимовщики. И для них это свежо и ново. Их сносит, они опять наплывают и, оставляя след, двигаются с определенным интервалом вдоль припая, одна за другой исчезая в нырках. Воздух в стрекоте от их взлетов.

Стоял на смотровой площадке в истоке, наверное, с час. Сняла свадьба. Подъехали, застучали дверцами машин, сходясь, радостно заматерились. Молодые и сразу некрасивые от ругани. Никто не удивился ни льду, ни солнцу, ни вынырывающим близко уткам, никто, кажется, и не взглянул ни на Ангару, ни на Байкал. Машины остановились — они и вышли, исполняя заведенный ритуал и давая привычные движения ногам и языку, окунувшись в блаженство картины без глаз и без души.

Уходя, припомнил еще, что Алексей Мартос, в своем сибирском путешествии проезжавший мимо сего места без малого 170 лет назад, заносит в дневник варварский обычай местных жителей бить из ружей вот так же доверившихся людям уток. Сейчас, кажется, такое извелось совершенно. Может быть, человек и стал лучше, но так далеко ему еще... Не хочется продолжать. Всех тварей остановила природа на одном уровне, а человека отпустила — и что же, как распорядился он своей свободой?!

18-е. Вот те и окончательно: опять открыло. Ни ветра ночью не было, ни тепла особого, а поднялся утром — Ангара ушла далеко в море, и чистая, совсем без льда, воронкой расширяющаяся в Байкал полость лежит спокойно и как-то победно. И только подле берега ледяной пристав, на нем ребятишки гоняют шайбу. Это уж Байкал показывает характер: хочу накроюсь, хочу откроюсь.

...Удивительно горит он на закате, когда солнце уже ушло и на западе полыхают заревые полосы. Байкал подсвечен как бы не сверху, а снизу — солнцем, ушедшим под воду и просквозившим ее до поверхности. Мягкое пурпурное сияние не утонуло, когда и заря догорела, словно Байкал, как тепла, набрал его про запас и будет отдавать до новой, до утренней зарю, как отдает он летнее тепло до весны.

Ангара за мысом и горой тыльно темнеет, а Байкал все горит и горит...

20-е. Опять заледенело. Лед до того тонкий и гладкий, что сверху с берега не отличить от воды. Только по отражению солнца и понять: на льду солнце раскальзывающееся, разбегающееся, а в ангарской воде оно лежит прогнувшейся неширокой верстой.

Вечером опять «картина». Все небо со стороны Ангары как зашторено серой плотной облачностью, с противоположной стороны над Хамар-Дабаном тоже

тучи, в край которых бьет заходящее солнце (уже зашло), бьет в какой-то один центр — и солнце будто там, наверху, едва-едва прикрытое тучами. Весь Байкал в ослепительном сиянии, все брызжет солнцем, но от гор надвигается стена тумана. С одной стороны от Хамар-Дабана наступает туман, вытесняя свет, а с другой, от Ангары, — темнеющая тень сумерек, и сужающаяся полоса солнца все ярче — горит, плавится, искрит.

Февраль, 17-е. Белое пустынное поле Байкала, с которого соскальзывает взгляд, ослепительно белое и пустынное, без горизонта, в яркой белизне переходящее в небо. И только уже высоко над головой по блеклым разводам и успокаивающейся краске видно, что это небо. В белой равнине снега есть какая-то недоступная нам чрезмерность, в которую мы не проникаем, потому что в нашем зрении чего-то для этого недостает, мы слепнем без темного упора и теряемся, скользим по ее раздражающей чужести и скорей убираем глаза.

Вчера был тоже яркий день, но с ветром, который дул не с Ангары, как обычно, а в Ангару, вздымая туман. Сегодня совсем тихо. Не привычная для зимы синеватая гладь воды на Ангаре, утыканная утками, с чистым пунктирным звуком перелетающими, когда их сносит. Река звенит от этой музыки.

Спустился на лед и пошел по нему в море. Снег еще не вымело, он твердый и корковатый, но с пятнами льда, сквозь который, как сквозь синее стекло, видно шевеление воды. Снег жесткий, закрупившийся, он не скрипит под ногами, а ширкает, идти по нему приятно.

Поначалу Байкал как бы не заметил меня. А потом — началось! То стреляло, то вскрывало, то взрывалось что-то под самыми моими ногами, так что раза два я едва удержался, чтобы не отпрыгнуть. Могло, как гром, возникнуть где-то в стороне, но налетало на меня или пронеслось, пугая, совсем рядом. Знаю прекрасно, что безопасно, каждую зиму хожу по льду и всякий раз испытываю все ту же восторженную жуть. Знаю и по каким таким законам это происходит, но не хочу объяснений, а хочу думать, что эту канонаду, играя и пугая, Байкал устраивает для человека.

18-е. Утром четкие, как у Р. Кента на картинах, горы — близкие и до подробностей видимые, хоть точки у них глаза. С восходом солнца за мысом они загораются, но огромное снежное поле внизу лежит в неплотной, рубашечной синеве. Солнечный подтай спускается с гор все ниже и ниже, вытекает на поле — хорошо видна граница между сухой синевой и сухим красноватым горением. Она надвигается, и там, за ней, где было только что ясно, возникает туманная легкая дымка — как парение. Постепенно солнце заливает все поле, выкатив из-за мыса, и постепенно затеряется и слепнут горы, наступают яркие сумерки.

С Ангары ветер, совсем не сильный, но Ангару не видно из-за панесенного от Иркутска чада. Черная, чернильная под ветром вода и задымленное нездоровое небо. Солнце белое, разлохмаченное и растекшееся. На противоположной, на восточной, стороне небо голубое, летнее, глубокое.

Все вместе, все в один час.

Июль, 3-е. Порт Байкал.

Неделю дождь. Сидел, сидел в городе, переживая, и вчера не выдержал, приехал, рассчитывая приездом сломать ненастье. Ничего не вышло, сегодня опять льет, да так яростно, что и голову не высунуть.

Ближе к обеду вышел за какой-то надобностью в сенцы — на полу лежит, едва возит крылом стриж. Пробовал отогреть его, кормить — поздно. Через полчаса окодел. Вечером зашел с работы Федя, добрый и слабый парень, страдающий, как и многие здесь, «русской» болезнью, списанный по этой причине с корабля на берег, говорит, что множество птиц, намкнув и обессилев, падает в Ангару и тонет. Пока он шел от Молчановской пади до столярки, поднял девять стрижей. В столярке их обогрели, четырех он выпустил.

В сумерках вышли вместе и остановили водовозку, чтобы Феде доехать. Пока он устраивался, шофер водовозки рассказал, что за день поднял тридцать валявшихся по дороге птиц, теперь они до солнца летают у него в сарае.

Неделю дождь, а ключик мой, булькавший в прошлые лета через двор, так и не ожил.

Июль, 13-е. Утром светло, чисто, и вдруг через пять минут не видно ни берега под носом, ни воды, ни неба — туман. Через полчаса опять чисто. И в этой чистоте, когда за сорок километров на противоположном берегу, как в бинокль, различаешь каждое дерево, из Ангары белая труба тумана — выдуваемая аккуратно, без

разрывов, и неизвестно как далеко тянущаяся в Байкал. А в небе над нею стоят тучи — кипящие, скрученные, громовые.

Сентябрь, 22-е. И опять, как в прошлом году, теплынь, лето наступает все позже и отодвигается все дальше, укорачивая осень. Сегодня было за 20 градусов. Какое-то не бывавшее прежде, в первый раз явившееся настроение. Ярким увяданием полыхают леса, все кругом отцветает или отцвело, отживает или готовится к зимней спячке, все скоро оцепенеет и загаится, а нет ощущения тоски и прощания — напротив, приподнятость и благодарность за жизнь. Или от солнца, от тепла это, или от близости к Байкалу, или от возрастного перевала, когда чувствуется — как видится с высоты, после которой начнется склон, устроенный так хитро, что еще несколько лет тебе будет казаться, будто ты продолжаешь подыматься и силы твои прибывают. Но это завтра, а сегодня какое-то полное и счастлирое совпадение с самим собой, ощущение уюта и свободы — будто услышал ты и исполнил сказанное тебе бессловесно: если это ты — сделай... Вчера бы не сделал, не сделаешь и завтра, но сегодня, может быть единственный раз в жизни, отошедший от всего чужого, ты способен на многое...

Ноябрь, 17-е. Тихая расслабленная погода, снег и тепло, каждый день до нуля и выше. словно природа разомлела, размякла и не в состоянии сделать решительного движения.

Сейчас вечер. Мягкая серь воды, мягкая белизна снега. И глубокое мягкое небо, наполовину чистое и наполовину по склону к западу разлинованное ровными длинными полосами, между которыми стоят, достывая, вытянутые облачные знаки — точно запись в нотной тетради. И сверху подвигается к ней серпик месяца — звонкий, тонкий и острый, без всякого нажима и вдавленности. Над горизонтом слабое и прерывистое мерцание — должно быть, где-то там и звучит музыка.

Взглянул: месяц отразился в глубине неба — два друг за другом серпика, одинаково наклоненных к облачной россыпи. И не отражается в воде. Вода уже не серая, а темная и плотная, не пропускающая неба. И только позже, как подмок на твердом, как подогрев на холодном, едва-едва обозначилась извивающаяся лунная дорожка.

Человек на всю жизнь остается ребенком, взрослеют и развиваются его наклонности, дурные и хорошие. Сам он за столь короткий срок взрослеть не успевает и не хочет. Стоишь перед Байкалом, маленький и слабый, принимающий себя все-таки не за худшее из того, что есть человек, пытаешься понять, что Байкал перед тобою и что ты перед ним, истязиваешься в мучительных призывах увидеть, понять и осмыслить — и отступаешь: впустию. Рядом с Байкалом мало размышлять привычно, здесь надо выше, чище, сильнее думать, вровень с его духом, не бессильно, не горько. Мы способны лишь вопросы задавать, когда что-то великое касается нас, только в вопросах мы ищем, окликаем тот язык, который не сумели распознать.

Быть может, между человеком и Богом стоит природа. И пока не соединишься с нею, не двинешься дальше. Она не пустит. А без ее приговорительного участия и препровождения душа не придет под сень, которой она домогается.

* * *

С юга на север Байкал вытянулся на 636 километров, в ширине, то поджмаясь, то раздаваясь, имеет от 20 до 80 километров, длина береговой линии — около двух тысяч километров. Это самое глубокое озеро в мире: пока найдена пучина в 1637 метров, которая в любой момент может быть превзойдена, — Байкал не лежит спокойно, под ним ежедневно ходят подземные бури. В среде ученых в последнее время появилось мнение, что Байкал бездонен: поскольку в глубинах вода минерализована меньше, чем в верхних слоях, делается вывод, что на дне Байкала существует постоянный мощный источник сверхпресных вод, которому неоткуда взяться, как из верхней мантии планеты за 70–80 километров от ее поверхности. Эту версию тотчас подхватили другие, с позволения сказать, ученые, состоящие на службе у промышленных загрязнителей Байкала, в голос ударившие: отравить Байкал невозможно, мантия Земли не позволит, а потому шуруй, ребята! И ребята, ободренные наукой, засучив рукава, налегают.

По площади разлива Байкал сравним с такими странами, как Бельгия, Дания или Голландия. Когда б не эти ребята, хозяйничающие на Байкале, пить бы его во-

ду — не отпить, грести его дары — не выгрести, любоваться им — не налюбоваться. Он лежит в державных берегах, для которых подобраны, кажется, все существующие в природе узоры, краски и чары, все измышленное ею великолепие. По тому, как видится и понимается Байкал, примыкающее и наезжающее к нему человечество отчетливо делится на коренную людскую породу и на развес, необычайно легко передвигаемый мелкими либо корыстными страстями.

Западный берег Байкала — почти повсеместно гористый, Приморский и Байкальский хребты подступают там близко к воде; восточный в средней части — более пологий, подставленный для больших рек, из которых только Селенга несет почти половину приточной воды. Глядя на очертания Байкала, поневоле начинаешь измышлять его давнее и сравнительно недавнее прошлое: само собой просится соединение между островами Ольхон и полуостровом Святой Нос, которое затем опустилось, или, напротив, единая проливная вода между нынешними Чивыркуйским и Баргузинским заливами, где неширокая разделительная перемычка могла подняться позднее. В последнем случае так оно, вероятно, и произошло, когда неустанный архитектор Байкала сделал простую и, как все простое, гениальную поправку с двумя глубокими, просторными и богатыми карманами в виде заливов, без которых фигура Байкала выглядела бы гораздо грубей. В первом же случае известным ученым Г. Ю. Вережагиным был открыт подводный хребет, простирающийся от Ольхона к восточному берегу, названный им Академическим. А как было не клонуть на удочку, будто Лена в геологическом прошлом, подобно Ангаре, брала свое начало из Байкала, если до ее верховьев всегонавсего восемь километров! Восемь километров — рукой подать! Однако на этих считанных километрах проходит водораздел Байкальского хребта, по ту сторону которого эта легенда уже не звучит столь заманчиво. Живой ум, высмотрев, как близко река Иркут на юге подходит к Байкалу и вдруг, словно по окрику, резко поворачивает в сторону, неизбежно найдет: Иркут был притоком озера-моря, да в свое время вздыбилась перед ним земля и заставила его прокладывать другой путь. А ум художественный сочинит романтическую и красивую историю о том, как батюшка Байкал собирался отдать свою единственную дочь Ангару замуж за Иркуту, но темной ночью своенравная дочь сбежала от него к могучему Енисею, запоздал и брошенный Байкалом вслед заградительный камень, ставший Шаманкамнем в истоке Ангары, а огорченному Иркуту ничего не оставалось, как уйти несладко хлебавши.

В легенде тот, кого предпочла Ангара, должен быть непременно могучим, в действительности же она, стекаясь с Енисеем, приносит воды больше, что дает право считать: это не Ангара впадает в Енисей, а Енисей в Ангару.

Байкал разрисован легендами, как лед его — кружевной изморозью, а вода зыбью. При встрече с ним сама собой начинала звучать песня — и складывались слова, извлеченные из таинственных глубин происхождения и поведения «славного моря», под шум ветра, под плеск волн и взгляд округ они нанизывались и нанизывались, пока не слагались, как новый приток, в признательный выдох.

Кроме красивых легенд, есть на Байкале и грустные. Одна из них возникла из факта, который был фактом сто лет назад, когда исследователь Байкала из ссыльных поляков И. Д. Черский проводил описание озера. Он насчитал 336 больших и малых питающих Байкал притоков. С тех пор много воды усохло, но несокрушимая, почти библейская эта цифра продолжает звучать во всех художественных и научных сказках о Байкале. А исправить ее согласно живым водам ни у кого рука не подымается.

И. Д. Черский в прошлом веке совершил, правда, одну приятную оплошность, обернувшуюся в наше время прибытком. Он нанес на карту озера 27 островов. Еще три острова Байкал сумел от него каким-то образом скрыть, или И. Д. Черский не счел нужным считать их островами. Цифра 27 удержалась в памяти лишь специалистов, а среди любителей разного рода принялась «плавать» и «нырять» от собственных подсчетов: то вдруг объявят, что на Байкале 6 островов, то не поспеют на 50. И только совсем недавно, кажется, дотошностью ученого-биолога О. К. Гусева поставлена окончательная точка — 30, которая до новых катаклизмов не может быть изменена.

А ведь острова, притоки, мысы, заливы, бухты на виду — что говорить о глуби-

нах! Сибирский отдел Русского географического общества начал свою деятельность в середине прошлого века с того, что после экспедиции натуралиста Густава Радде заявил об исключительной бедности фауны Байкала. Ничего нет проще, чем делать подобные «открытия». В конце 60-х годов того же минувшего века еще два поляка — Дыбовский и Годлевский буквально ахнули, когда вопреки приговору заглянули по тогдашним возможностям в байкальскую утробу. В письме в ученый отдел они сообщали:

«Странно и непонятно, каким образом могло так долго удержаться мнение, составившееся на основании поверхностных наблюдений первых естествоиспытателей прошедшего столетия насчет бедности фауны низших организмов в Байкале, и каким образом оно могло в научном мире упрочиться и находить постоянное подтверждение в отчетах натуралистов, путешествующих с ученой целью изучить фауну Байкала; это тем более удивительно, что один уже факт нахождения миллионов омулей и иных рыб, добываемых всякий год, должен был привести к тому логическому заключению, что рыбы без пищи существовать не могут и, чтобы вырастить такое громадное количество рыбы, необходимы миллиарды низших животных... Одним словом, богатство животных так велико, что без всякого преувеличения можно сказать, что Байкал кишит такой жизнью, которую едва ли можно встретить в южных морях...»

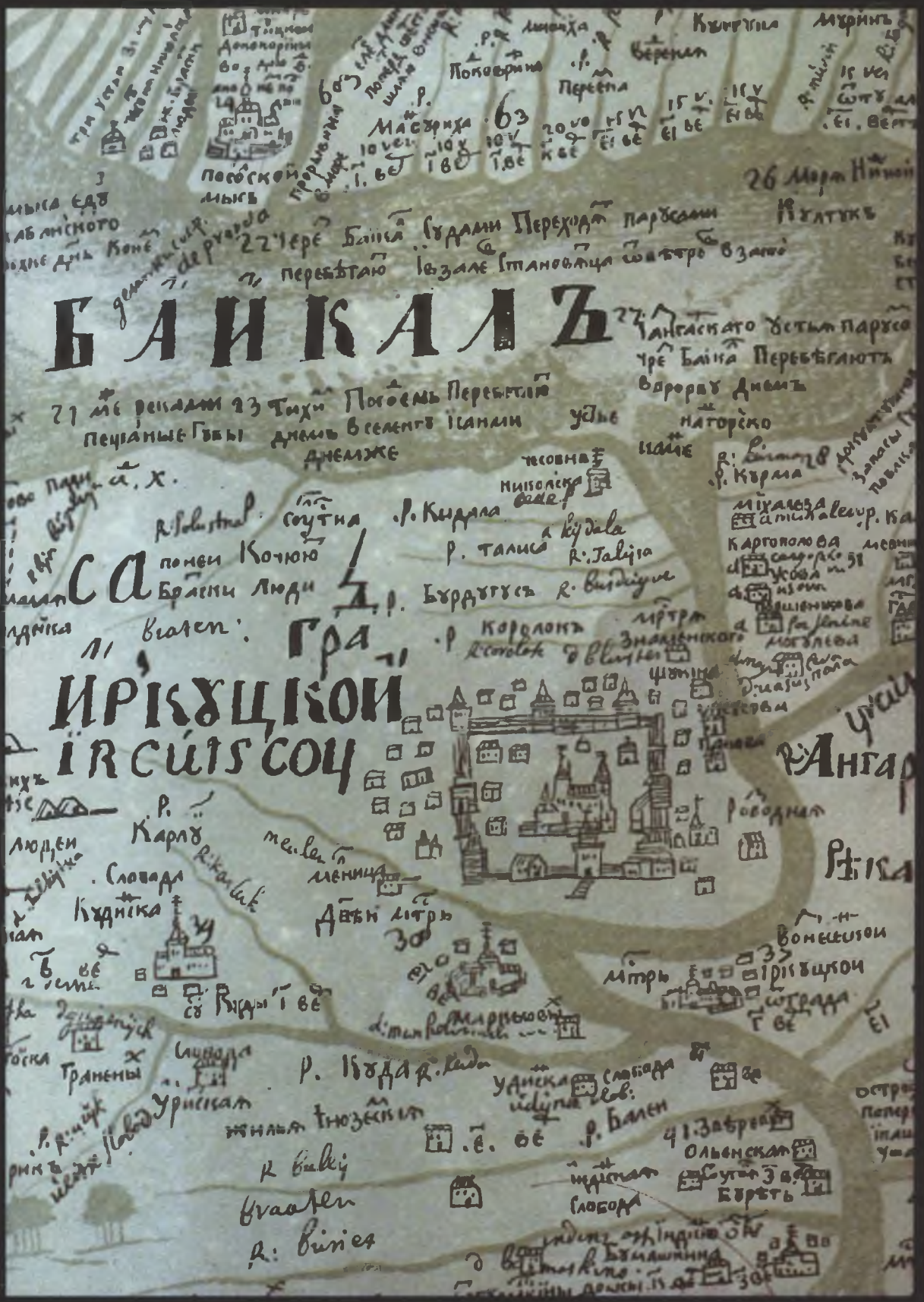
Ко времени открытия в 1925 году на озере постоянной научно-исследовательской станции было известно в Байкале 760 видов животных и растений. К 1960 году, когда станция превратилась в лимнологический институт, их число подскочило до 1800, а к концу 80-х годов — за две с половиной тысячи. В животном мире почти на две трети это эндемики — виды, нигде, кроме Байкала, не встречающиеся. «Перепись» байкальского «населения» продолжается, ее наверняка еще писать да писать. Если в Танганьике, также интересной неповторимостью ее обитателей, жизнетворны только первые сто-двести метров от поверхности, дальше мертвая зона, то на Байкале, как подтвердили глубоководные аппараты, заселена вся великая пучина. «Первое, что мы увидели, сев на дно Байкала на глубине 1410 метров, — это покрытое холмиками илистое дно и бычка, лежащего на нем и разглядывающего нас. Невдалеке от него не спеша полз рачок-гаммарус», — пишет в книге «Вижу дно Байкала» А. Подражанский, член исследовательской группы с «Пайсисов», двух аппаратов канадского изготовления, которые летом 1977 года погружались в Байкал. Для ученых опять загадки: откуда в неподвижных слоях эти холмы и почему голомянку при подъемах и снижениях двигается вертикально — как груз на шнуре?

Эта голомянку — сплошь загадка. Небольшая полупрозрачная рыбка с радужным отливом, она наполовину состоит из жира и при огромных ее количествах могла бы вылавливаться в пищу, если бы не предпочитала одиночества. Только бураном выбрасывает ее на берег, и тогда местные жители еще в начале века торопились собрать голомянку, чтобы вытопить из нее чрезвычайно целебный жир. Но это еще не весь сказ про голомянку: чудо ее заключается в том, что она живородящая рыба. Все, как наложено природой, мечут икру, лишь она, словно предчувствуя, что метать ее в будущем рыбе станет негде, все реки превратит человек в свалки и сточные канавы, выпросила себе размножение понадежней. И — не прогадала. Не прогадала и нерпа, невеста когда и как забравшийся в Байкал северный тюлень (разве можно сравнивать: в Танганьике крокодил, а в Байкале милейшее существо — нерпа), которой невод не забрасывать, она эту голомянку по одной клюет и всегда сыто живет.

Второе, вслед за голомянкой, чудо Байкала, которому обязан он своей исключительной чистотой, — рачок эпишура. Не быть бы Байкалу Байкалом без этого усатого веслоногого рачка, едва заметного на глаз, удивительно работоспособного и многочисленного, успевающего за год раз десять, а то и больше профильтровывать всю байкальскую воду. Этот чистюля не терпит ничего постороннего — выносятся ли оно реками, выбрасывается ли с судов, терпит ли бедствие. Через два-три дня утонувшего в Байкале искать бессмысленно. Эпишура самоотверженно бросилась и на ядовитые сливы с целлюлозных заводов, но эта начинка оказалась ей не по силам, и она принялась гибнуть.

Науке не узнать никогда, сколько видов животных и растений водилось в Байкале в счастливые для него времена. Один за другим они начинают сейчас исчезать.

Только ветры все те же.



БАИКАЛЪ

21 мѣ рекамъ 23 Тихи Погѣемъ Перевѣтлѣи
печаннѣ Гвѣи Днѣмъ Вселенгъ Иланнм ульѣ
Днѣмжѣ

27 Ангаскаго Дѣтъ Пархсо
трѣ Баика Перевѣтлѣи
Варорат Днѣмъ
маторѣко
калѣ

СА

Р. Котюю
Брѣннѣ Людн
Бурдугхъ
Р. Талиса
Р. Кудала
Р. Талиса
Р. Кудала
Р. Талиса
Р. Кудала

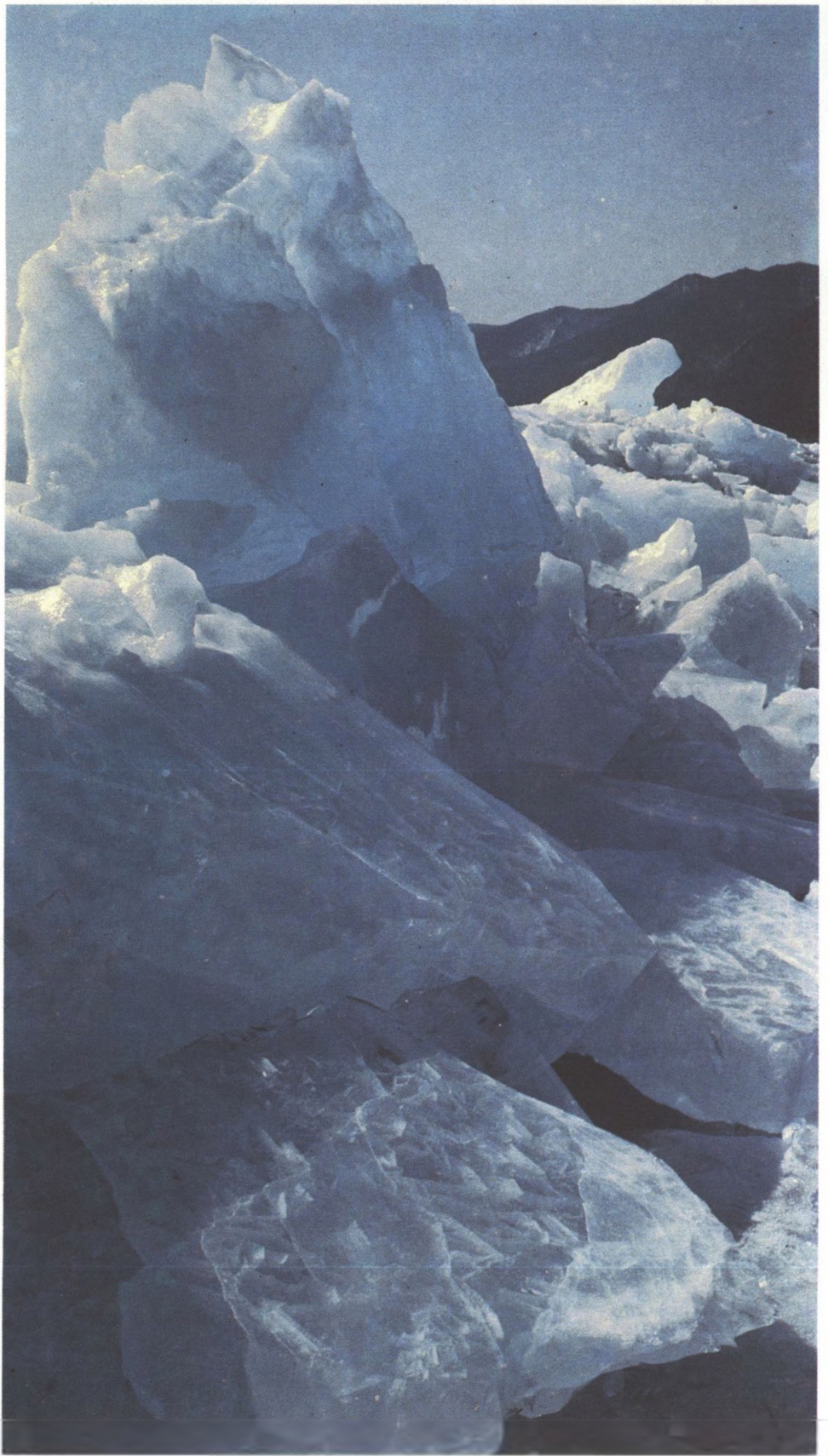
ИРКУЦКОИ І R C U T S C O Y



АНГАР

РѢКА

Р. Карлѣ
Словари
Куднѣка
Дѣвн мѣтръ
Р. Бадар. Кѣда
Удѣска
Р. Балѣн
Ольска
Бурѣтъ
Р. Балѣн
Ольска
Бурѣтъ
Р. Балѣн
Ольска
Бурѣтъ



*Зимний
Байкал.*

Как огромное животное, Байкал дышит глубоко, сильно и порывисто, то затихая, то с шумом и жадностью втягивая в себя потоки воздуха. Байкальские ветры стремительны и неожиданны. Не обольщайтесь их невинными именами, происходящими от названий рек и звучащими песенно: сарма, култук, баргузин, ангара... Не приведи господь попасть под эту «музыку» на открытой воде. Местный житель не станет выпрашивать: «Эй, баргузин, пошевеливай вал...», он знает, что этот ветер, как и «горная», как «сарма», способны расшевелить вал до шести метров высоты. И тогда — спасайся, как можешь... По байкальским немногочисленным храмам пропеты тысячи и тысячи отходных, порой, после крупных даней, они звучали неделями.

Сарма — и речка невеликая в южной части Малого моря (между островом Ольхон и западным берегом), но срывающийся из ее узкой горловины ветер подобен обвалу. В старой дореволюционной лоции Байкала в поучительных целях говорится: «Этот ветер, особенно свирепствующий здесь в осеннее время, отличается не только своей ужасающей силой и продолжительностью (ветры свыше 40 метров в секунду, дующие в течение суток и более, здесь не редкость), но и тем еще, что он поднимает целые тучи водяных брызг, быстро обледеневающих в воздухе...» Сарма срывает и выбрасывает в море тяжелые карбасы, зимой по льду катит, пока не перевернет, куда ей заблагорассудится, машины; раскидывает с домов крыши. На ее гибельном счету много чего. После нарусских судов, после дощаников и павозок, одномачтовых плоскодонных, как бы теперь сказали, плавсредств, которые брали на борт до 6 тысяч пудов груза и которые все равно становились добычей волн, вся надежда была на пароходы: уж эти выгребут против любого вала. Но перед байкальскими ветрами пасовали и они, обрубая канаты и бросая на произвол судьбы баржи с людьми и грузом. Только в 1902 году в Малом море — две крупные аварии пароходов «Потанов» и «Александр Невский» с сотнями жертв.

Добро бы одна сарма была такова, и добро бы, говоря о несчастьях, пришлось оглядываться лишь назад. Нет, и сегодня внезапно, без всякой метеосводки выбрасывающийся по речным распадкам с гор ветер способен натворить любые беды. А если один ветер подхватывается другим, а то и третьим, если учиняют они над Байкалом бешеную кутерьму с перекидывающимся со стороны в сторону напором, если вал начинает закручиваться в пружину, тогда совсем «аминь». Но, как советовали еще в старину, «исчисление всех случившихся на Байкале с плавателями несчастий почти невозможно и было бы здесь неуместно» (журнал «Сибирский вестник» за 1821 год).

Но одну байкальскую «одиссею», вслед за этим журналом, стоит повторить, тем более что случилась она еще в XVIII веке, отстоящем от нас достаточно далеко. История эта небезынтересна игрой, которой, как кошка с мышкой, забавлялся Байкал с мореплавателями, и подробностями выпавших на их долю лишений.

Итак, «судно имело длины 11 сажен 2 с четвертью аршина, груз его составлял свинец, следующий из нерчинских в колыванские заводы... 31 июля оно достигло Байкала (из Селенги) и сильным ветром отнесено было с настоящего своего пути. 1 августа хотя и отправилось в дальнейший свой путь, но близ Песчаных мысов (это уже западный берег. — В. Р.) остановлено было безветрием. 2 числа у Голоустного зимовья судно сие встречено было опять противным ветром и из опасения сильной погоды удержано в отстое. 3 числа наступил попутный ветер (с потерянными ныне названием «обетонный». — В. Р.), и плователи, вынув из воды причалы и кошки, спешили оным воспользоваться, но в то же время ветер усилился и судно залито было водою. 4 числа вода отлита и судно переведено на стреж, где в ожидании попутного ветра ночевали. 5 числа только успели пуститься в путь, как ниже Кадильного зимовья опять встретила горная погода, которою не только судно унесено было на середину Байкала, но и отшибло прицепленную к нему лодку. 6 числа направили путь к северо-западному берегу Байкала. Там в трех верстах от Песчаных мысов застигла горная же погода, унесшая судно к Посольскому монастырю (восточный берег), на так называемую Бабью каргу. Здесь стояло оно четыре дня, и бывшие на оном люди, по недостатку другой пищи, принуждены были довольствоваться оставшеюся квасною гущею. Напоследок, когда уже не стало и сей убогой пищи, то 11 августа решились, сплотя судовые весла, отправить на них трех товарищей в Посольский монастырь для испрошения в столь крайнем положении помощи. Посланные возвратились на отшибленной 5 числа от



судна лодке, найденной ими в десяти верстах от монастыря. Они привезли хлеба пуд до трех и несколько рыб. Отсюда по наступлении попутного ветра отправились опять к Лиственничному мысу, но за три версты от одного встречены были столь крепким ветром, что оным сломлен сопец и судно унесено в Култук к речке Мишихе (крайняя на юго-западе точка Байкала. — В. Р.). Здесь плователи провели семь дней в бедственном положении, питаясь единственно только кореньями растущего на берегу шиповника, отчего пришли все в крайнее изнеможение и некоторые подверглись болезням. Предвидя неминуемую для себя погибель, они собрали последние свои силы и, подняв парус не более как на сажень, пустились к Каргинскому зимовью. По прибытии туда судно их, разбитое волнами и во многих частях расконопатившееся, затопило водою, так что не было возможности оное отлить, и они должны были его притащить к берегу, где на 26 августа усилившеюся горною погодою совсем было оно разбито...»

Вот вам и озеро. Вот и предрассудки темных местных жителей, заклинавших путников, пускавшихся в дорогу по Байкалу, называть его не иначе как морем.

В 1860 году с потерпевшего аварию парохода «Наследник Цесаревич» люди успели перебраться на баржи, которые носило по Байкалу полтора месяца, пока не вморозило в лед. Прежде по малограмотному и суеверному состоянию общества каждый такой случай описывался в подробностях, ныне поохают, поахают и забудут.

«На Байкале дуют почти все крупные пади», — это-то немудрено, но слова эти, взятые из наблюдений О. К. Гусева, имеют уже диковинное продолжение. «На Байкале умеют дуть даже мысы и облака». Много раз я испытывал не просто дуновение от мысов, а прохватистый ветер, который исчезал, как только мыс оставался позади. Объяснение, оказывается, простое: воздух вокруг мыса нагревается неравномерно, и это приводит его в движение, отнюдь не слабое. Дуют облака — «воздух над озером, попавший в тень набежавшего облака, мгновенно остывает, тяжелеет и устремляется в сторону от теневого пятна, туда, где по-прежнему греет солнце» (О. К. Гусев).

А отштормит, отбушует Байкал, и опять тишь да гладь да божья благодать, летом замрет в стеклянной синеве или заиграет слабым колышнем, будто ничего и



не было, зимой при открытой воде о «былом» свидетельствуют сокуи — огромные и причудливые ледяные фигуры на камнях и кустах от наплесков. Замерзает Байкал поздно и, в сравнении с прошлым, все позже: в последние годы в южной части в конце января — начале февраля. Сто лет назад нередко были декабрьские заморзы. И уже с конца апреля лед начинает ломать и таскать по озеру, постепенно освобождая воду все дальше и дальше на север. И тогда собираются над нею все байкальские духи, добрые и не очень, и принимаются решать, кому в чей черед погулять на Байкале.

Бухта Бабушка на западном берегу Байкала.

ИЗ «БАЙКАЛЬСКОГО ДНЕВНИКА»

27 августа 1988 г.

Начало экспедиции с Полом Уинтером, американским композитором, создателем экологического джаза. На Байкале он не первый раз, приезжал сюда и зимой и летом, и со своей концертной группой, и с американскими защитниками природы, из которых мне запомнился Марк Дюбуа, высокий решительный парень, удивлявший иркутян открытой при любых минусах головой. У себя на родине Марк Дюбуа известен тем, что, спасая от гидростроителей свою родную реку, приковал себя к скале и добился сначала интереса прессы, а потом и спасения реки.

Пол Уинтер собирается писать о Байкале большое произведение, в котором надеется на участие нерпы. Он использует в своей музыке природные шумы и голоса животных, на его саксофон отзывались киты и продолжали мелодию волки. На Байкале он надеется записать голос нерпы. И, конечно, окунуться в стихию Байкала не с туристского пятачка в поселке Лиственничном, куда партия за партией вываливают иностранцев, а вволю покачаться на нем, понюхать и послушать.

Для поездки мы арендовали у пароходства «Байкальский-3», внушительный буксировщик-теплоход, который больше десяти лет, пока строился БАМ, не знал от работы прордыху. Теперь, когда бамовская страда прошла, приходится распло-

дившемуся байкальскому флоту караулить, а нередко и урывать друг у друга любое заделье, вплоть до извоза алкающих Байкала, таких, как наша, живописных групп.

Она живописна не столько составом, хотя и по этому разряду представляет нерядовое явление: среди нас четверо японцев, журналистов и сотрудников фирмы, которая выпускает диски Пола Уинтера; киногруппа из АПН, воспользовавшаяся оказией, чтобы поснимать Байкал и знаменитого композитора; московский друг Пола, пропагандист его музыки в нашей стране Борис Переверзев, а в Сарме, на родине упоминавшегося байкальского ветра, нам предстоит взять на борт Семена Устинова, иркутского ученого-охотоведа, знатока Байкала, без которого наше путешествие потеряло бы вполовину.

Если выстроить нас, представителей разных стран, в ряд — а мы в ряд на борту и выстроились, когда судно отчаливало от Лиственничного, — да попробовать по нашим фигурам и лицам определить, что же свело нас вместе на этой громоздкой посудине, которой полагается таскать баржи или плоты, то по многим признакам должен был явиться вывод, что на Байкале затеваются съемки кинокомедии, что-нибудь вроде новой «Волги-Волги». Каждый из нас в отдельности мог казаться достаточно обыкновенным и серьезным человеком, но все вместе мы, словно подобранные опытным режиссерским глазом для противопоставления друг другу, являли компанию, один вид которой вызывал улыбку и заставлял гадать, по какой же части это общество станет отмачивать номера.

Отплыв, мы чуть было не вернулись. Меня срочно вызвали в рубку к капитану, где белее снега стояла ответственная за стол, или шеф-повар Галина Васильевна, в последнюю минуту узнавшая, что во вверенном ей семействе двое вегетарианцев, один из которых не ест даже рыбу, а второй не пьет даже чая. И это были, конечно, не советские граждане.

Комедь начиналась. «Чем я их стану кормить, чем? — восклицала потрясенная Галина Васильевна. — У меня мясо, консервы, югославская ветчина в банках. Нет, списывайте, не поеду. Я бы знала, я бы разве согласилась?!»

Пришлось употребить решительность. Не пьет чай? Пусть пьет воду, пусть хоть запыется Байкалом, от него не убудет. Не ест рыбу? Пусть ест элодею канадскую. Что это такое? Водоросли. Вон все байкальское дно в элодее. Можно всю Японию накормить.

Элодея канадская успокоила Галину Васильевну, все заграничное, пусть даже и на дне Байкала, внушает нам уверенность.

Спускаясь вниз, я услышал трели соловья — да такие залиvistые, такие восторженные, что, боясь поверить и вспугнуть, осматриваясь и вспоминая, где я, невольно приостановился. Оказалось, что Пол поставил кассету с птичьим пением. В салоне говорили о китах. Такеши Хара, один из японцев, старший редактор газеты «Майнити», пять лет назад написал о китах книгу, она так и называется — «Киты» и пользуется в Японии популярностью. Хара уверен, что до его книги примерно только десять процентов японцев были против употребления в пищу китового мяса, а сейчас — не меньше половины. А ведь японская провинция традиционно приучена к этой пище, ей не просто от нее отказаться.

Борис Переверзев с интересом переводил. Галина Васильевна, хлопотавшая в углу возле электрического самовара, то и дело замирала, прислушиваясь, и исподтишка косилась на другого японца, который не ел рыбу, подозревая его, должно быть, в китоедении. Тот, точно Будда, был неподвижен и смотрел на Байкал, где набиралась волна.

От китов разговор перешел к волкам. Пол рассказал, что отношение к ним, как к вредным и опасным животным, в мире постепенно меняется. Быть может, и его музыка, особенно «Глаза волка», где песня саксофона не раз подхватывается голосом волка, сыграла в этом определенную роль. На концерте Уинтера в ООН, после того как прозвучали «Глаза волка», огромный зал завыл, подражая животному. Свет был погашен, и дипломаты, в темноте то ли вспомнив, то ли забыв себя, согласно и восторженно выли.

Самовар, выплескиваясь, бурлил. Галина Васильевна сидела возле него приговоренно. Воюющие дипломаты ее доконали. За час один она была переполнена впечатлениями, а нам предстояло байкалить вместе десять дней.

Но страхи ее по поводу вегетарианцев оказались сильно преувеличенными. Пол прекрасно вместо чая швыркал гольный кипяточек, заставляя нас при этом всякий раз вспоминать, что его отец дожил до ста лет, а мать в 76 купается на Га

вайях вместе с китами. Японский вегетарианец запасся пакетами чуть ли не с птичьим кормом, и мы из любопытства помогли ему клевать содержащееся в них сладкое крошево. Впрочем, и стряпуха из Галины Васильевны оказалась отменная.

28-е. Дождь. Сырая белизна неба, холодная взбугренность воды и в тумане развесы берегов. Дождь разбрызгивается от полотна моря как от тверди.

Зашли в Сарму за Семеном Устиновым. Постоянно светящийся от какого-то внутреннего лада, Пол Уинтер, обнявшись с Устиновым, засветился еще больше. Едва ли осталось что-нибудь в Байкале и прибайкальской тайге, чего бы Устинов не знал. Читать его книги о медведях или лосях одно удовольствие. Крупный и выхоженный тайгой, в которой он пропадает не одно десятилетие, до удивительного спокойствия и добродушия, до самого только необходимого в теле, а потому легкий на ногу, поднимающий и несущий себя без усилий, он остался в том немногочисленном экземпляре сибиряка, на котором природа не сэкономила.

В первый же день, послушав Семена Устинова, Хара отозвался о нем: искусствовед природы.

Пол, не умеющий терять время, включил кассету с записями журавлей. Сибирских Устинов тотчас узнавал. Беда в том, что их становится все меньше и меньше. Полностью исчез на Байкале баклан, только Бакланы острова в Чивыркуйском заливе продолжают говорить о местах их многочисленных гнездовий. Величайшей редкостью стал черный аист. На северном побережье исчезает в озерах турпан. Не встретить больше на Байкале серого гуся, дрофу, гуменника, сухоноса. И все это в последние десятилетия.

Чтобы отвлечь нас от тяжелого настроения, Пол стал рассказывать, как он однажды летел к себе в Висконсин с четырьмя яйцами сибирских журавлей, которые собирался подложить в гнезда журавлям американским. И вдруг из-под сиденья, где стоял инкубатор, послышался писк. Сибирские птенцы решили появиться на свет божий в воздухе. Полу ничего не оставалось, как, приняв первых двух новорожденных, сунуть их в руки соседу. Тот был в ужасе и одновременно в восторге, пока Пол не справил свои акушерские обязанности и не водворил семейство в колыбель.

Оказалось, что на 1000-иеновой японской банкноте изображение журавля, что вызывает, по мнению Хары, сочувствие и любовь к животным.

...В Хужире, в самом большом поселке на Ольхоне, уже и не дождь, а бус, мелкое мокрое сеево. Купили хлеба, выменяли на водку омуля и уже в сумерках обошли остров вокруг его северной оконечности. Около полуночи, поднявшись на палубу, Пол исполнил «Колыбельную для Байкала». Было очень тихо, прожектор выхватывал из темноты часть скалы, наплескивала волна, и мелодия как бы возникала из шума волны и ею же продолжалась.

29-е. Узур, одно из самых древних поселений человека на Байкале. Без речки расстрой, и довольно широкой, среди гор, небольшой поселок с метеостанцией и научными станциями двух иркутских институтов. С той и другой стороны обрывистые стены гор. Ничего удивительного, что вкусы древнего человека и иркутских ученых совпали: более благодатного места на Ольхоне, пожалуй, нет. Теплое, укрытое от ветров, веселое в солнце и без солнца, разубранное сосняком, как бы втягивающее посмотреть, так ли красиво и дальше, в глубь острова.

Подожли утром на шлюпке, подтянуть ее помог стоявший на берегу молодой бурят в резиновых сапогах, назвавшийся Антоном Иршовым, лаборантом с научной станции. Пол, осмотревшись, пошел с инструментом к левой скале, и через десять минут оттуда зазвучала мелодия, подхваченная эхом с одной стороны, перехваченная с другой и унесенная в Байкал. Это был какой-то отчаянный зов, словно бы в первый раз повторенный с той поры, когда здесь, кроме гор, не было ни одного живого существа, и горы, поймав и усилив звук, возвещали о своей готовности принять жизнь.

К нам подошел еще один бурят, пожилой, Иннокентий Бадеевич Ишутков, привлеченный экзотическим, обвешанным аппаратурой десантом. Москвичи принялись расспрашивать, действительно ли буряты сжигают до сих пор мертвецов. Оба подтвердили: да, сжигают, когда старики сами об этом просят. Они заранее выбирают для себя сухую лесину, ее потом спиливают, делают нечто вроде сруба, который обкладывают хворостом, и находящееся внутри сруба тело предают огню.

Меня интересовала нерпа. Скелет одной из них валялся на берегу. В послед-





нее время известия о массовой гибели нерпы шли с разных концов Байкала. То же самое происходило с тюленем на Балтике и в Северном море. Ученые торопливо объяснили: инфекция. Но и инфекция с неба не берется, для нее нужны благоприятные, а для нерпы неблагоприятные условия, которые способствуют болезни. Спасаясь от нее, нерпа выплывает на берег, ищет защиты у человека, кричит и в конце концов застывает. Антон подхватил: пройдите вдоль берега, и на каждом километре вы найдете одно, а то и два животных, выброшенных морем.

Чтобы съездить на Саган-Хушун, святое для бурят место, мы выпросили у завхоза грузовичок, сгрузились на него со всем скарбом и тронулись мимо чистых сосняков, чистого покрова степи с пучками крапивы, миновали две кошары и, когда казалось уже, что летим под обрыв, остановились. Тут и выбирал я место для покойствующего Чингисхана. Сюда бы и приводил я грешников всякого рода, чтобы видели они, против какого мира идут войной; здесь находить слабым душам утешение, больным выздоровление, чрезмерно здоровым гордыней и самомнением — усекновение.

С этой скалы трудно смотреть на Байкал — так переполнен он силой, мощью, небом и водой, так великограден он по сторонам, где протягиваются горы, и великоложен могущественным и таинственным путем посредине. При виде этой картины приходят в смятение чувства и жалкует ум.

По узкой тропе, висящей на последних метрах над бездной, мы прошли в пещеру. В конце августа на тропе подснежники. Пещера просторна и как бы о двух комнатах — прихожая и направо боковушка с дырой в небо. Следов кострища нет, в пещере чисто, в древности сюда, вероятно, загоняли в непогоду овец, а еще раньше таились люди. Мистический дух, мистические предметы. Пол попросил Ишутова спеть по-бурятски, подхватил его древний напев на саксофоне, и это еще больше усилило ощущение нереальности.

Когда поднимались к машине, Борис Переверзев спросил, верю ли я в переселение душ. В другом месте позволительно и не верить, здесь лучше быть осторожней. Здесь ты невольно чувствуешь, как тебя втягивает и уносит во что-то иное, чем ты есть, здесь ты подозреваешь, что кто-то за тобой внимательно следит.

После обеда снялись с якоря и при сильной волне, по черной, мрачной взбучи воды двинулись к Ушканьим островам. Чем ближе подходили, тем больше и явственней Большой Ушканый вырисовывался в фигуру огромного осетра, плывущего к полуострову Святой Нос.

30—31-е. На островах. Зовутся они Ушканьими, как предполагается, по недлинной, всего в два колена, но уже замысловатой цепочке: здесь самое богатое на Байкале лежбище нерпы, нерпу по какому-то загадочному сходству на Байкале называли зайцем, а настоящий заяц, не имеющий отношения к нерпе, — это в Сибири ушкан.

Ушканьи острова — одно из чудес Байкала. Много в нем чудес, одни из которых вызывают удивление из-за их необъяснимости, другие уважение — от изобилия или величия, третьи опьянение — от необычного воздействия при обыкновенных, казалось бы, фигурах, четвертые поклонение — от желания прикоснуться, впитать и вдохновиться. Ушканьи острова притягивают всех — и ученых, которые удивляются их происхождению и особенностям и которые по позднему «следу» этого архипелага пытаются выйти к геологическому началу Байкала; и туристов, готовых, как камни Колизея, растащить удивительных расцветок и форм мраморные окатыши по берегам; и любителей поглазеть на огромные муравейники в человеческий рост, а также на белые муравейники, сплошь из мраморной крошки, и помочить ноги в мраморных природных ваннах на южной оконечности Большого острова. Но больше всего Ушканьи знамениты нерпой, здесь, на «ушканчиках», трех маленьких островах, ее «пляж», где десятками и сотнями она выбирается на камни и греется на солнце. Поэтому нам миновать Ушканьи было никак нельзя: уж если где присмотреться к «героине» да попробовать послушать ее, так только здесь.

В первое утро судно бросило якорь напротив метеостанции, и тотчас с берега снялась и подбежала к нам лодка. Александр Тимонин, гидролог, работающий на метеостанции уже десять лет, без разговоров согласился сопровождать нас на Круглый — тот из «ушканчиков», который особенно любим нерпой.

До него высматривалось километра три в сторону Святого Носа. Попасть туда хотелось всем без исключения, но на нашей шлюпке то и дело заглохал мотор, к тому же она годилась, чтобы пугать нерпу, а не искать ее общества, — пришлось

Тимонину делать три рейса. С первым отправились Пол, звукооператор, кинооператор и режиссер.

Особый блеск и живописность нашей экспедиции придавала вся эта аппаратура — снимающая, внимающая, записывающая, воспроизводящая, дублирующая и так далее. Она умела все, вплоть до того, как мне казалось, что сама выдумывала изображение, сама его снимала и сама потом подправляла. И стояла она бешеные деньги. При наблюдении за погрузкой поневоле являлись мысли о ценностях нашего мира. Человек при этом был предметом третьестепенным, меньше всего отправляющихся заботило, как он прыгнет в лодку и не промахнется ли в прыжке, но камеры, штативы, микрофоны, какие-то никелированные ящики с циклопической изготовкой передавались и принимались с такой нежностью, с такой замерью душ, под множественное «осторожно», что упаси и помилуй.

Мы с Устиновым прибыли на Круглый со второй группой и ехали вполне по-человечески, не молясь на окуляры. Подчалили с севера, осторожно вышли и так же осторожно, чтобы ненароком не вспугнуть долженствующих блаженствовать на камнях нерпушек, перешли по тропке на юго-восточную оконечность. Идти пришлось недалеко, островок был так себе. Последние десятки метров крались согнувшись, я всматривался в валуны на берегу, гадая, какой из них первым зашевелится, но смотреть надо было на воду. Нерпа выныривала недалеко, порой одновременно по пять-шесть голов, которые плавали черными шарами, то скрываясь, то снова появляясь, одна подобралась совсем близко и, высунувшись, вдруг чихнула совсем по-человечьи, смутилась и исчезла. Подошедший Пол дал мне бинокль, в него видно было, как, вспарывая воду, на огромной скорости, будто торпеда, двигается она на глубине.

Мы просидели в ожидании часа полтора, но нерпа по-прежнему не изъясляла охоты сушиться. Начало поддувать, и бухта покрылась морщью. Пол пошел на последнее средство, он встал в рост и заиграл «Славное море, священный Байкал» — то, что самого последнего рачка должно было заставить явиться пред нами для любого исполнения. Нерпа не явилась.

На второй день повезло больше. Солнце подействовало на нее сильнее, чем «Славное море», и без особой опаски она принялась оседлывать отполированные ею же валуны, забавно перебирая ластами и рывками заталкивая себя все выше и выше. Наблюдать ее не составляло труда что вооруженным, что невооруженным глазом; микрофон удалось спрятать совсем рядом, запись шла часами, но ничего, кроме пыхтенья да чмокающей о камни волны, не принесла.

Однако Пол и этим был доволен. Он видел нерпу, можно сказать, познакомился с нею близко и утвердился в своем решении: быть ей в сказочной истории, которая зазвучит музыкой, замороженной красавицей.

...Теперь дальше. Маршрут у нас такой: Баргузинский заповедник, где Семен Устинов когда-то проработал пять лет, так что его знают, он знает и нам помогут узнать; затем на обратном пути — недавно созданный Байкало-Ленский заповедник на западном берегу, где тот же Семен Устинов теперь работает заместителем директора по науке. После этого снова Ольхон, но уже не за омулем, а за бурятской стариной, и в конце самое неприятное — Байкальск, где целлюлозный комбинат, впечатление от которого должно сгладиться самим Байкалом за те три или четыре часа, пока мы станем перегребать к Лиственничному.

1 сентября. Вышли в ночь на Давшу (Баргузинский заповедник), и уже покачивало. Прогноз был — ангара, неприятный на воде северный ветер. Среди ночи проснулся от грохота и гула, судно подбрасывало и обрывало, что-то на нем каталось, издавая набегающий и отбегающий громоток, что-то натужно скрипело. И что-то с теми же неприятными звуками каталось внутри меня, я понятия прежде не имел о морской болезни, хотя и попадал здесь же, на Байкале, в переделку, но на этот раз наше знакомство состоялось. Промаялся до рассвета, с трудом, хватаясь за переборки, пополз в рубку. Новость: в Давшу мы не попали, судно, боясь подставить борт при переходе на восточный берег, вынуждено двигаться прямо против ветра на север. Берегов не видно, все заплескано валом. Это и не вал, а горы шли одна за другой, в которые врзался, встанывал, вскидываясь, и грузно зарывался в водяные обрывы корабль. Водой забрасывало всю верхнюю палубу, плескало в стекло рубки. Затем, когда стали проявляться берега, и они казались наплывающими волнами.

А и волна-то — 3, 5—4 метра. То ли бывает! Но и это, объяснил старпом, предел судоходства на Байкале.





Часов в десять стало успокаиваться. Накаты сделались ровнее, но вдруг навалит через две минуты на третью такая матушка, что хоть караул кричи.

Лежали вповалку до 12-го часа.

2 сентября. Мыс Покойники.

На Байкале два мыса Покойники и два поселка с этим малолирическим названием. Один в Чивыркуйском заливе и второй здесь. По преданию, название это пристало, а потом и перенесено было на карты после массового отравления жителей осетром. Так ли это, трудно сказать. Осетр теперь в Байкале стал такой же редкостью, как Несси в загадочном озере. Но здесь, вероятней всего, имя перешло от речки Покойницкой, имеющей основания для своего названия: она оживает только весной и летом после дождей, а затем снова и снова пересыхает.

Метеостанция стоит не на мысу, а в красивой излучке с глубоким лугом. Здесь же лесная охрана Байкало-Ленского заповедника, самого большого на Байкале, площадью в 660 тысяч гектаров и береговой линией в 120 километров. Самое отпадное: тут и вода в трехкилометровой зоне под охраной, а в Байкальском заповеднике вылезет какой-нибудь разбойник в шаге от берега — и закон перед ним бессилён.

Байкало-Ленский еще полностью не сформирован, только определены его границы. Там, где дело касается охраны, в России заведено не торопиться. Два года как вышло решение о создании двух национальных парков на Байкале — с бурятской стороны и с иркутской, а там и там все еще запрягают. Ольхон недавно был свободной территорией, затем северная его часть стала заказником, сейчас это национальный парк, но от вывесок мало что меняется, и чем был Ольхон, тем и остался. По-прежнему рубят там лес, выдирают, кому не лень, лечебные травы, безо всяких ограничений валят через паромную переправу колонны машин.

За Байкало-Ленский заповедник надо сказать спасибо Олегу Гусеву. Не ему одному, но прежде всего ему. Иногда добрые старания все-таки приводят к успеху. Годами обмерял и описывал, ходил по кабинетам, доказывал — и вот поди ж ты, получилось!

...И вдруг огненный шар впереди на горизонте по пути на Ольхон — алое зарево с зеленым лучом. Оно все разрастается и разрастается над Малым морем, пока не превращается в радугу, еще шаровую, но удлиняющуюся и поднимающуюся в небо. И только минут через десять на западном берегу появляется второй конец радуги.

3 сентября. Снова Хужир.

Пришли рано утром, побывали в краеведческом музее, удостоверились по материалам совместной советско-американской археологической экспедиции, производившей раскопки на Ольхоне, что сибиряки и американцы — близкая родня, когда-то общавшаяся между собой, и весь день готовили вечер бурятских песен, и, конечно, у костра. Режиссеру очень хотелось шамана, ему показали на одного — низкорослого, светливого, который якобы умеет... В самодеятельности участвовали школьницы, пошли к учительнице, она согласилась уговорить и привести вечером своих девочек.

Костер — значит, омуль на рожне. В лесничестве взяли разрешение на костер (национальный парк!), привезли дров. И отправились в сумерках на Шаман-гору, священное у бурят место километрах в полтора-двух от поселка.

Байкал лежал спокойно, как в блюде, чайки на воде сидели высоко и впаивно. Видно было так далеко, что верилось — до конца, до горных гряд со всех сторон. Замер и воздух, в его ощутимой после дождя плоти не дышалось, а плылось.

От верхнего Шаман-камня спустились тем же торжественным маршем вниз, к священной скале, сквозь которую ведет пещерный ход. Шаманы когда-то входили в скалу с одной стороны и, являя чудо, выходили с другой. Наш шаман, вступивший в роль с подозрительной и необыкновенной охотой, принялся объяснять старину — Пол внимательно слушал, Борис Переверзев стоял с приготовленным блокнотом... но, ничего толком не объяснив, шаман сбился, запутался, и ясно стало, что он за шаман. На обратном пути в гору двух девочек отозвали в сторону невесть откуда взявшиеся мальчики и повели следовать за собой. Как выяснилось, эти-то две девочки с русскими лицами и научились каким-то образом несколькими бурятскими песнями, а оставшиеся три буряточки языка своего не знали.

И когда стемнело и попробовали петь — ничего не вышло. Была тут и старушка бурятка, бабушка одной из девочек, она обрывками кое-что помнила, начала и спотыкалась. Наш шаман наконец решительно заявил, что без брызганья на этой горе и обыкновенного слова произносить не полагается.

А его, брызганье, как на грех, забыли на корабле. А корабль, как на грех, отошел от пирса и встал далеко на рейде. Отправили машину сигналить, но на это потребовалось не меньше часа, за который несколько раз вставали в ёхор (бурятский хоровод), пробовали, взявшись за руки, двигаться вокруг костра, но слов никто не знал, камеры стрекотали над беспомощными движениями. Шаман повелительно покрикивал, мальчик лет четырех, сын учительницы, глазел на все это с открытым испуганно ртом.

Привезли наконец водку. Шаман торопливо принялся брызгать в костер, окуная пальцы в кружку, дал побрызгать Полу, выпил, оживился еще больше — и уже не было ему никакого удержу. Снова пытались петь, и снова безуспешно. Кончилось тем, что угостились омулем на рожне, только это и получилось на славу, потому что руководил этим Семен Устинов, и взялись под крики шамана потихоньку отступать в сторону.

Байкал лежал в сплошной темноте, слабо мерцая под мрачным небом. Особенно стыдно было перед ним, перед Байкалом, за все это шутловство.

Вернувшись на корабль, спохватились, что нет Пола. Пришел он через полчаса. Всмотрел еще днем афишу, что сегодня «Вечер молодежи», и зашел на обратном пути взглянуть, что это такое. «И что?» — допытывался я. Он ответил не сразу и неохотно, лицо у него было померкшее. Гремел примитивный рок, дергались мальчишки и девчонки. «Зачем это здесь?» — он не спрашивал, и отвечать не понадобилось.

Но было, было: когда запел в темноте с горы саксофон Пола — отозвался весь Байкал: эхо звучало чисто, широко и мощно. На настоящее — настоящим.

5 сентября. Рано утром подошли к Байкальску. Дождь. Дымы от комбината гнет к земле и воде и стелет, как грязный туман, по Байкалу.

Пол сыграл на этом фоне «Песнь протеста», которую он исполнял в Большом Каньоне месяц назад в резервации индейцев, страдающих от урановых рудников. Потом сказал, не стыдясь громких слов, что Байкал и Большой Каньон не только похожи друг на друга, но пусть будет похожей и их судьба, чтобы вечно служить им красоте и радости.

Все до единого выстроились мы на палубе, взирая на комбинат, и долго смотрели на него с той окаменелостью, когда сознание отказывается понимать случившееся.

* * *

Это настроение всех пишущих о Байкале: сколько бы ни рассказывал о нем — только ноги замочил в его воде, только с краешка глянул на его величественную распростертость, только потыкался неумело в его жизнь. Г. И. Галазий, директор Лимнологического института с 30-летним стажем, а ныне директор Байкальского музея, издал недавно книгу «Байкал в вопросах и ответах», в которой дал почти тысячу ответов на тысячу вопросов, а при Байкале наверняка остались еще многие тысячи. Как под его водной стихией еще одна стихия — до шести километров в глубину наносов за миллионы лет, так за слоем познанного — толщи и толщи целины. Чего, казалось бы, проще — поверхностная фигура Байкала, его география, то, что поддается глазу и счету, но и тут до последнего времени поправки. То их берется вносить сам Байкал, как было в прошлом веке, когда от землетрясения одним махом ушла под воду степь мерой в двести квадратных километров северней Селенги и образовался залив Провал, но чаще — плавали, ходили и не замечали. И его величественность, престольность, заповедность, действующие на воображение и душу, — это хоть и не минеральные богатства, которые можно считать, но и они словно бы рассчитаны с запасом на все сроки, пока подле Байкала будет существовать человек, и сразу не раскрываются. Байкал больше сейчас и всегда будет больше любой библиотеки о нем и любых представлений и ощущений.

То и дело спохватываешься: не рассказано о Чивыркуйском заливе с его прогревающейся летом до южных температур водой и мягкой рисунчатостью берегов с горячими источниками, со скальными сторожевыми островами при входе, тоскующими по крикам бакланов. Не осмотрели из конца в конец Ольхон, где на 80 километрах есть все — и тайга, и скалы, и степи, и пустыня. Не заглянули в бухту Песчаную, по краям которой по воле создателя высятся скалистые колоколь-











ни, и чудится, что когда-нибудь ударят они тяжелый каменный бой и вздымут из своих недр могучие силы. И озера байкальские остались в стороне, а в них, в той же Фролихе на севере, еще загадка — красная рыба даватчан. Не прошлись по Кругобайкальской железной дороге, выстроенной в начале века в согласии с Байкалом и ныне заброшенной, не подивились многочисленным тоннелям, виадукам, мостам над бушующими речками, полностью Байкалом за десятилетия обжитыми,— будто так и было при его сотворении.

Нет, всего о Байкале не рассказать, его нужно видеть. Но, и видя его, постоянно бывая рядом, раскрываясь ему навстречу, понимаешь слабость и тщету своего восприятия. Вливающаяся остывает и меркнет раньше, чем успевает дойти до чего-то главного, до какой-то лампочки накаливания, способной озарить и собрать воедино все чувствительное хозяйство. Ответные отсветы прерывистые, как зарницы, невнятные, то доходящие до горячего волнения, до восторженности, до торжественной музыки, то неожиданно затухающие до слабого тления. А начини дуть туда, в это тление, усилием — не раздувается. И тогда приходит мысли о нашем слишком разительном неравенстве: кто мы, как не букашки, в сравнении с лежащим и парящим перед нами великим произведением жизни, разве дано нам считать с его страниц многоверстные письма и разобрать надмирное звучание? Мы внимаем лишь тому, на что хватает потуг.

А потом, как будто ни с чего, без всякого обращения, он вдруг осветится в тебе картиной, которую ты не держал в памяти, которую, может быть, видишь впервые и только не сомневаешься, что она принадлежит Байкалу, пахнет дыханием, оживится красками и начнет длиться минута за минутой, потянет по берегу, раскроется шире и дальше, — и покажется тебе, что не ты его, а он тебя вспомнил и призвал для беседы и дружбы, что всех, тянущихся к нему, находит он покровительством.

Кто мог представить, что и от нас, малых и drobных, на краткий миг проходящих в мир, потребуется покровительство?!

* * *

Первое предвестие беды, подобно безобидной тучке, выползающей из распада, по которой опытный человек безошибочно определит приближение «горной», появилось на Байкале еще в начале 50-х годов, когда поубавились уловы омуля, знаменитой байкальской рыбы. Выловили? Так его всегда бывало много и так к нему привыкли, что местный житель и представить не брался, чтобы остаться без омуля. Были, конечно, в военные и послевоенные голодные годы и переловы, черпали из Байкала до ста тысяч центнеров только для государства и неизвестно сколько для себя, но разве могло это опорожнить Байкал? Настоящая причина с годами показала себя. После войны без всякого удержу принялись вырубать байкальскую тайгу, лес сплавляли по речкам, по которым омуль шел на икромет, загадили их и забили деревом по дну и берегам и перекрыли ему пути для продолжения рода. Так полностью извели баргузинскую расу (было четыре популяции омуля, осталось три, четвертой стала заводского выращивания). Само собой, пострадал не один омуль; рыбное изобилие, вызывавшее восхищение всех, кто видел Байкал, от протопопы Аввакума до Фрильофа Нансена, и представившееся местному народу делом столь же обыкновенным, как неубывающая несчет звезд на небе, неожиданно оказалось подорванным и с каждым годом подрывалось все больше.

Чего проще! — причины известны, принимайтесь за спасительные меры.

Но кто и когда у нас спохватывался до беды, пока беда только предупреждала о себе? Нет, непременно надо дожидаться, чтобы она нагуляла жиру, заматерела, из пустяка превратилась в огромную проблему, в достойного соперника, а потом встретить ее звоном колоколов, водить вокруг, как в карнавале, хороводы, поместить со всеми возможными удобствами, делать жертвоприношения; мало того — в компанию к одной беде дотянуть до появления второй и третьей, столь же любовно возвращенных опекуном невмешательством, и уж потом, когда окончательно возьмут они кольцом за горло, бац правительственным постановлением: назад ни шагу! И еще проваландаться несколько годков, чтоб битва без всяких оговорок была не на жизнь, а на смерть, не меньше Сталинграда, отойти, заманивая против-

ника, к собственной могиле и — вдругорядь правительственным указом! А там кто кого... Вот это по-нашему.

Так оно и вышло на Байкале.

Что за напасть — омуль поредел! Теперь было не до омуля и не до осетра, на Байкале пошла крупная игра. После отсыпки плотины Иркутской ГЭС уровень сибирского моря поднялся на метр. Это обстоятельство навело некоего Н. Григоровича, смелый инженерный ум из Гидроэнергопроекта, на мысль спустить Байкал ниже прежней воды — так, чтоб почувствовал он руку человека! Для этого под Шаман-камень в истоке Ангары достаточно заложить 30 тысяч тонн аммонита, поднять его в воздух, и освобожденный Байкал беспрепятственно пойдет к величайшим в мире ангарским гидростанциям. То, что его водичка уже крутит турбины, сочли недостаточным. Подсчитали, что снижение уровня Байкала только на один сантиметр даст столько электричества, что им можно выплавить 11 тысяч



тонн алюминия. А если на несколько метров? Ведь это же море алюминия! Полное изобилие! Коммунизм!

Засновали комиссии — взрывать, не взрывать?

И ахнул бы Григорович лежащий поперек коммунизма Шаман-камень, да сибирские ученые пошли на крайнее средство, припугнув ретивого инженера и его покровителей вероятностью непредвиденного геологического смещения, после которого Байкал огромным валом шутя сметет понастроенное и обжитое по Ангаре за триста лет.

Как и всякая революция, научно-техническая не обошлась без свержения старых авторитетов и водружения новых. На этот раз взялись за сами природные основания. Взгляд на воду как на основу жизни нашли допотопным, вода превращалась в механический движитель технического прогресса, в средство промывки, охлаждения и переброски. При таком повороте дела Байкалу не могли позволить больше дармодествовать. Самая чистая в мире вода с самым высоким содержанием кислорода и самым низким содержанием минеральных солей — не вода, а золото? Такая нам и нужна.

Целлюлозные заводы решено было ставить на Байкале еще в 1953 году. В Америке к тому времени подобрались к новому корду марки «супер-супер» с небывалой разрывной длиной нити, он пойдет на шины для скоростной авиации. Подобного же качества корд, естественно, потребовался и нам, а для отмывки целлюлозы для него подходила лишь сверхчистая вода с минимальной дозой минеральных веществ. Только три источника отвечали этому требованию — Ладога, Теллецкое озеро на Алтае и Байкал. Можно предположить, что судьбу Байкала в конечном итоге решила вещь самая пустяковая и невероятная, кроющаяся в созвучии. Завод во Флориде, выпускающий новую продукцию, принадлежал компании «Бакай-селлюлоз». Соревноваться так соревноваться: у вас «Бакай», у нас Байкал. Неизвестно, переплюнем ли по целлюлозе, а уж Байкалом точно переплюнем. У сильных мира сего водятся иной раз и такие причуды, ничто человеческое им не чуждо.

Уже когда выбрали площадку в устье реки Солзан на юге Байкала, была возможность, к которой склонялся и сам министр лесной промышленности, перенести целлюлозный завод в Братск, где строилась ГЭС. Воспротивились проектировщики. «Мы за ценой не постоим!» — кажется, в те годы эту песню еще не пели на всех перекрестках, но дух витал. Рыба ищет, где глубже, проектировщик — где лучше. Разве сравнить Братск с Байкалом: там гнус, тайга, даль; здесь — картинность, омуль вместо камбалы, заряд бодрости. Уже одним именем своим Байкал вызывал энтузиазм и горение сердец, когда склонялись проектировщики над листами ватмана. И если придется ставить памятник конвою, добровольно взявшему сопровождать Байкал к месту его гибели, на первом плане должна быть волея, готовая на любые сокрушения фигура главного инженера Сибгипробума Б. Смирнова; этот в развернувшейся дискуссии с защитниками озера вел себя по-сержантски и покрикивал на писателей и ученых как на новобранцев.

В 1958 году на месте будущего Байкальска появились строители. Стройку объявили ударной комсомольской. Чуть позже развернулись работы и на Селенге, где началось сооружение целлюлозно-картонного комбината. Недавно я наткнулся в одной из книг о Сибири на стихо-лозунг, который выставила тогда «ударная» и который грешно не привести: «Эй, баргузин, пошевеливай вал! Любуйся и силой и хваткой: мы строим завод и построим завод в широком таежном распадке!»

Какая там, к дьяволу, тайга! Самое райское было место неподалеку от железной дороги, в теплой солнечной долине небольшой речки.

Многое сейчас сваливается на заблуждения времени. Такая, мол, стояла на дворе эпоха, наэлектризованная переменами, покорительством: всеобщее опьянение общества от громких строек, обещающих благоденствие, «сплошная лихорадка буден», победные рапорты, цифры со все прибавляющимися справа нулями, порыв, энтузиазм, марширующие с комсомольских съездов колонны: «Едем мы, друзья, в дальние края...» — как было в этом повальном, беспрестанно подогреваемом праздничестве сохранить трезвую голову?!

Если так, кто мы в конце концов? Строевые единицы, готовые под команду чеканить шаг в любую сторону? Неужели века цивилизации не оставили в человеке памяти, которая подсказала бы, что всякий массовый психоз, называется он энтузиазмом или собственным именем, никогда ни к чему хорошему не приводит?

Что для благоденствия требуется умная, осторожная и долговременная созидательность, а не атака с ходу? Что скрывать — это была война, еще одна гражданская война против собственных полей и рек, ценностей и святынь, которая, перекидываясь с местности на местность, длится до сих пор, и, как в любой войне, прежде всего гибло и гибнет в ней все самое лучшее.

Байкал долго пытались не отдавать, слишком дорог и почитаем он был в отечественных святынях. В 60-х годах общественное мнение после немалых сроков народного безмолвования, в сущности, с Байкала и возродилось. Для отцов-командиров экономики первоначальный отпор явился неожиданностью, они привыкли, что любые их планы принимаются с непоколебимостью божественного начертания. И вдруг какие-то писатели, существующие для сочинения од, и ученые, также перепутавшие, для чего они существуют, потом смущенные ими простонародье начинают задаваться вопросом: не погубим ли мы Байкал? И договариваются до ответа: погубим. Это уж ни в какие ворота.

Методика борьбы со всякой ересью продолжала в то время пользоваться старыми рецептами. Секретарь Иркутского обкома партии П. Кацуба припечатал одного из смутьянов, никак не желающих угомониться, директора Лимнологического института Г. Галазия «пособником империализма». На восточном берегу Байкала секретарь Бурятского обкома А. Модогоев подхватил: Галазий, выступающий против Селенгинского комбината, — «враг бурятского народа». При этих «заслугах» чуть раньше уповать было бы не на что и не на кого, да и от тех лет милостей ждать не приходилось, и, если Галазий уцелел, это говорит об определенной силе отпора, не соглашающегося с уготованной Байкалу участью.

Теперь уже единицы только помнят, что на солзанской площадке предполагалось поначалу ставить два завода. После первой волны протестов, пришедшейся на конец 50-х — начало 60-х годов, один из них от греха подальше переводится на Волгу. Для другого пришлось пересматривать проект и вычерчивать очистные сооружения заново. Без этих поправок любоваться бы нам сегодня не Байкалом, а той силой, которая сумела в считанные годы его погубить, если и с ними, с поправками, тяжело смотреть на происшедшие здесь перемены.

И еще была одна возможность отказаться от строительства и пуска целлюлозных комбинатов. В середине 60-х годов опять отчаянный всплеск протестов и призывы к образумлению. Одна за другой появляются статьи, очерки писателей Франца Таурина, Олега Волкова, Владимира Чивилихина с разоблачениями нечистой игры, которая ведется на Байкале, их поддерживают именитые академики А. Трофимук, В. Сукачев, С. Соболев, М. Лаврентьев из Сибирского отделения академии, а также академики П. Капица, А. Яншин, Б. Ласкорин и многие другие ученые.

Леонид Леонов в «Литературной газете»: «Сыдем же шапки всенародно в тот пасмурный денек, когда хлынет туда, в эту чистейшую чашу, первая отрава...»

Михаил Шолохов на партийном съезде: «А может быть, мы найдем в себе мужество и откажемся от вырубки лесов вокруг Байкала, от строительства там целлюлозных предприятий?..»

Общественная обстановка снова оказалась накалена, оставить ее без внимания было бы слишком, и Госплан весной 1966 года создает правительственную экспертную комиссию с широкими правами и полномочиями, вплоть до вето на комбинаты.

Но... Госплан знает, кому поручить руководство комиссией.

Много позже, в 1985 году, ООН наградила специальной грамотой Академию наук СССР «за деятельность по охране жемчужины мировой природы — озера Байкал». Эту награду академик Н. Жаворонков должен отнести на свой счет, ибо в байкальских ученых баталиях в конечном итоге восторжествовало его мнение.

Итак, экспертную комиссию в 1966 году, когда в последний раз решалось, на что употребить Байкал, возглавил академик Н. Жаворонков, в помощники ему дали академика С. Вольфовича. Комиссия, не покладая умов и рук, трудилась три месяца и пришла к единодушному заключению: преступно затягивать окончание строительства целлюлозных комбинатов на Байкале. На совместном заседании коллегии Госплана, коллегии Госкомитета по науке и технике и президиума Академии наук Жаворонков, докладывая, поставил перед собой на стол три колбы — с водой из Байкала и с искусственно полученными сточными водами от двух комбинатов и предложил высокому собранию испробовать и отличить на вкус, где какая. Охотников не нашлось, Жаворонкову поверили на слово. Когда



же академик Трофимук позволил себе усомниться в выводах комиссии, Жаворонков назвал его поведение «бестактным», «оскорбительным для членов комиссии, которая самоотверженно и бескорыстно, очень напряженно работала...».

Не согласился с комиссией и академик П. Капица, предсказавший в своем выступлении, что по чужеродности химического состава стоков «даже небольшое количество ядовитого загрязнения от целлюлозных комбинатов может вызвать полное нарушение биологического равновесия и совсем погубить чистоту озера».

Набрасываться на Капицу Жаворонков не посмел, но увел свой ответ в такие кругля и туманы, из которых можно было понять лишь одно: все решено, спорить бессмысленно. Так оно и было. Кто-то пробовал заикнуться, что Америка, которую мы догоняем по супер-супер корду, от этого самого супера успела отказаться и перешла на более прочную и экономичную искусственную нить. Последовало: был бы продукт — применение найдется.

«Теперь относительно биологической продуктивности Байкала, — вспомнил Жаворонков в заключительном слове, — насчет омуля, рыбы. Конечно, мы должны сохранять биологическую продуктивность, сохранять рыбу. Но рыбохозяйственное значение Байкала относительно невелико и имеет лишь местное значение. Максимальные выловы омуля достигали 6–8 тысяч тонн. Сейчас они снизились втрое. В то же время Байкальский целлюлозный завод будет давать 15 тысяч тонн кормовых дрожжей в качестве побочного продукта с содержанием белка 50 процентов. Если привести на стандартный белок, то это более 30 тысяч тонн. Этого количества хватит для откорма свиней с получением 6 тысяч тонн мяса или 60 тысяч центнеров. А в птицеводстве это может дать еще больший эффект».

Молчи, убогая мысль, и признай величие умов: когда бы не свет науки, гонять бы Байкалу до скончания света омулей, а тут к свиньям, курам повышение выходило.

Все, теперь руки у гарцевавших нетерпеливо пред Байкалом целлюлоз-ковбоев были развязаны — заарканивай, и в то же лето задымил и погнал в «чистейшую чашу» свои великие стоки первый комбинат. Шапки снимались, да, но подбрасывались в воздух с криками «ура».

На том памятнике, что высматривается в будущем где-нибудь на берегу озера подле Байкальска в честь покорителей-погубителей «жемчужины», академик Жаворонков должен быть легко узнаваем, а нечто мифическое с ним рядом не то в образе Змея Горыныча, не то другой какой страховидины — это наука в руках жаворонковых. Тут же непременно место и А. Бейму, директору института экологической токсикологии в Байкальске; вместе со своими содружниками много лет он доказывал, что никакого вреда, кроме пользы, комбинат Байкалу не приносит. Притом доказывал это институт так истово, но дальтонически путая черное с белым, что даже целлюлозники отказались от услуг перестаравшегося научного учреждения (именно учреждения!) и оно вынуждено было пойти на службу по природоохранной части.

А когда ожили комбинаты и принялись варить, вопреки здравому смыслу и общественному мнению, свою «кашу», потребовалось для них ажурное обрамление в виде законодательных указаний и оговорок. В январе 1969 года принимается громкое правительственное постановление «О мерах по сохранению и рациональному использованию природных комплексов бассейна озера Байкал». В 1971-м в пристяжку ему еще одно — «О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования и сохранению природных богатств озера Байкал». Вживили в Байкал раковую опухоль в виде химических предприятий и принялись увещевать: ведите себя хорошо, действуйте доброкачественно. А Сибирскому отделению Академии наук, которое противилось губительным операциям, вменялось теперь в обязанность обеспечить здоровье Байкала. И на него же, на Сибирское отделение, возлагают сегодня вину за нездоровье.

Но наконец-то вспомнили этими постановлениями об омуле и запретили с 1969 года его вылов. Запретили и сплав леса по притокам. Хоть в этом деле доехала улита до цели.

В 1977 году третье правительственное постановление по Байкалу. Ясно, что, если бы выполнялись предыдущие, оно бы не понадобилось. Примеривались выполнять, делали, как в гимнастике, самоукрепительные движения, научились распознавать, в какую сторону дуют поповодубайкальские ветры, и отдавали по ведомству, которому вменялось и указывалось, негласный приказ: отставить тревогу.

1987 год. Начало международного движения «За спасение пресных вод».

И вот в апреле 1987 года, как «последний решительный бой», четвертый высочайший документ.

За несколько лет до того и меня угораздило ввязаться в затянувшуюся байкальскую эпопею. И пусть напоминала она, на один взгляд, детективный сюжет, а на другой — толчение воды в ступе, участие в том и в том ничего, кроме потери времени и сил, я понимал, не даст, но не мы выбираем, а нас выбирают, когда требуется пополнение.

Да и как не ввязаться: Байкал... Досталось Байкалу к тому времени с лихвой — от целлюлозных предприятий, от воздушных выбросов густо насаженной, как морковка на грядке, промышленности Приангарья, от вырубки лесов и лесных пожаров, от разлитой ядовитой жижи, приносимой Селенгой, от стекающих с полей химических удобрений, от соседства с БАМом в северной части и от много чего еще. Не требовалось никаких таких особых знаний и глаз, чтобы видеть, что, все больше становясь популярной темой, превращается Байкал в бесхозное тело, от которого под разговоры о нем все хотят урвать и никто — помочь. Много ли могла дать бережительная работа в заповедниках и охранных инспекциях! — это все равно, что из пипетки капать прозрачную, на слезе замешенную, влагу в надежде очистить море.

Мы так преуспели в иносказаниях, что, когда видел я на подъезде к комбинату: «Защитим Байкал — жемчужину Сибири» — само собой переводилось: «Господи, прости, в чужую дверь впусти, помоги нагрести да и вынести».

ИЗ «БАЙКАЛЬСКОГО ДНЕВНИКА»

24 января 1986 г.

Встреча в Минлеспроме с его руководителями. Добиться этой встречи мне помогли в редакции газеты «Известия». Так много было сказано в последнее время в адрес министерства горьких «почему?» и так мало получено внятных ответов, что разговор с министром сделался просто необходимым.

Меня встретили внизу, проводили на пятый этаж и ввели в просторный, аскетического вида кабинет. Мы с министром пожали друг другу руки. Я невольно отметил его молодость и энергичность. Михаил Иванович Бусыгин знает наши края не понаслышке. Шесть лет в ранге заместителя министра он проработал генеральным директором строительства Усть-Илимского лесопромышленного комплекса и города Усть-Илимска. Я полагал, что мы с министром будем беседовать наедине, но он пригласил своих заместителей. Вошли: Г. Ф. Пронин, заместитель по целлюлозно-бумажной промышленности; Н. С. Савченко, зам. по лесозаготовкам, и мой земляк, бывший секретарь Бурятского обкома партии К. М. Продайвода.

Первый вопрос напрашивался сам собой:

— Михаил Иванович, как вы относитесь к публикациям газет по Байкалу? («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Советская Россия» — едва не все центральные газеты снова подняли шум по поводу судьбы «священного моря».)

— Положительно, — пожал плечами, отвечает министр. — И в нашей работе иногда случаются нарушения. Виновных наказываем.

— Но Байкалу от этого не легче.

— Что же — судить их?

— И от этого Байкалу не легче.

— В целом руководствуемся постановлениями партии и правительства. Вот, — министр раскрыл сборник законодательных решений по Байкалу, — их мы и выполняем. Будут приняты новые законы — и их станем выполнять.

— Так ли уж все выполняете?

— Знаете ли вы, сколько раз на Байкальском комбинате менялись ПДК (предельно допустимые концентрации промвыбросов)? Шесть раз. И все в сторону ужесточения. Только добьемся контрольных цифр — дают новые. Только добьемся — опять догоняй.

Тут министр слукавил: ПДК менялись не в сторону ужесточения, а в сторону приспособления к возможностям комбината, и контрольные цифры заказывало само министерство.

— Каждый день на комбинате нарушения, — напоминаю я.

— Откуда вы это взяли?

— Из данных Байкальской бассейновой инспекции и Гидрометслужбы.

— У нас другие данные.

Что верно, то верно: сколько раз в течение этого разговора мы не в состоянии были понять друг друга потому именно, что доказательства, которыми мы пользовались и которые должны были исходить от одних беспристрастных и заинтересованных в судьбе Байкала контролирующих органов, оказывались не только разными, а порой прямо противоположными. Министр уверял, что фон загрязнения от БЦБК не превышает допустимые пределы и в последние годы не увеличивается, я же, помня младенчески-молодеческую цифру проектного «пятна» в 0,7 квадратного километра, знал и действительную зону загрязнения в десятки квадратных километров. С глубоким проникновением в толщу воды отравляющих веществ. Выбросы в воздух охватили площадь в две тысячи квадратных километров. Высыхают леса, на почву выпадают яды, которые сносит затем опять-таки в озеро. В министерстве же считают, что комбинат здесь ни при чем, леса чахнут-де в результате засушливых лет в Забайкалье и нарушения гидрологического режима, и ссылаются на заключение специалистов прикладной геофизики. Объяснение странное. Сотни лет пихта и кедр при всяких нарушениях чувствовали себя прекрасно, а тут вдруг разболелись. И я не удержался, спросил у министра, верит ли он «открытию» геофизиков. Да, верит.

Выгодно верить.

И еще об одном «открытии». Известно, что технология очистки на БЦБК рассчитана в основном на растворение и удаление вредной органики. Далеко не полное, разумеется, поскольку полного быть не может. Так называемая «консервативная» органика и нерастворимые минеральные примеси идут в Байкал. За двадцать лет работы комбинат спустил около миллиона, по другим подсчетам — больше миллиона тонн минеральных веществ, по своему составу совершенно ему чужеродных, тех самых, о которых предупреждал академик П. Капица. Выход из «минерального» положения найден был гениальный. Раз собственная вода в Байкале действительно слабо минерализована, ее объявили вредной. А работу комбината — сдабривающе-полезной. Помню, я впервые услышал об этом несколько лет назад в центре научных исследований, которыми пользуется министерство, — в институте экологической токсикологии при БЦБК. После этого уже ничему не удивлялся. И все же на всякий случай спросил у Продайводы:

— Константин Матвеевич, не помните, пьют местные жители байкальскую воду?

— Конечно, пьют, — с удивлением отвечает он. — Что же они будут пить?

— Однако академик Жаворонков и у вас в министерстве считают, что ее нельзя пить. Что она вредна.

— Вообще-то да, — спохватывается Продайвода, — она ведет к эндокринным заболеваниям. В ней мало йода.

— Не станете же вы пить дистиллированную воду, — подхватывает министр.

— Но, быть может, это не одно и то же — аптечная дистиллированная вода и природная вода, приближающаяся по своим качествам к дистиллированной? — защищаюсь я, вспоминая одновременно, что ведь тем всегда и славилась и ценилась байкальская вода, что считалась почти идеально пресной, с малым содержанием взвесей, кремния, железа, йода и с высоким содержанием кислорода.

Мы продолжаем говорить на разных языках. Министерство считает, что разбавленные сточные воды комбинатов не оказывают вредного влияния на байкальские организмы, и кивает на «многолетние исследования научных коллективов», имея в виду под «научными коллективами» не что иное, как принадлежащий ему в Байкальске институт. Я тоже не из собственных, разумеется, наблюдений возражал: за годы работы комбинатов более чем в половине акватории Байкала концентрация вредных веществ сделалась опасной для ее обитателей, в южной части озера уменьшается число уникальных водорослей. Министерство уверяет, что район сбрасывания стоков представляет зону экологического благополучия. Я же пришел в министерство, вооруженный фактом, что в этом «благополучии» гибнет эхишура.

— Иркутские власти предлагают сейчас перепрофилировать Байкальский комбинат на другое, на безвредное производство, которое могло бы остаться в вашем ведомстве. В ряду других мероприятий, может быть, это стало бы решением байкальской проблемы? Как вы думаете?

На мгновение наступает неловкое молчание, затем министр начинает объяснять:

— Это не в нашей компетенции. Скажут нам табуретки делать — примемся за табуретки. Любое изменение даже плановых заданий, не говоря о том, быть или не быть комбинату, зависит от Госплана.

— Как вы думаете, что будет с Байкалом к 2000 году?

Отвечает Г. Ф. Пронин — уверенно:

— Байкал не пострадает.

— Не считаете ли вы, что практика как можно больше взять у природы, не забывая о завтрашних потребностях человека, есть не только подрыв экономики будущего, но и подрыв нравственности общества?

На такие вопросы министру трудно отвечать.

— Мы выполняем постановления, — уклончиво говорит он.

— Часто вам приходится бывать на Байкале?

— Не часто, но бываю...

Мы прощаемся почти тепло.

25 января 1986 г.

У академика Б. Н. Ласкорина в его московской квартире. Борис Николаевич пригласил для разговора со мной еще и В. Ф. Евстратова, членкора Академии наук, специалиста-шинника. Сам Борис Николаевич участвовал в трех государственных комиссиях по Байкалу и всю подноготную байкальской истории знает от начала до конца. Он говорит:

— Мы допустили не одну, а две, а целый ряд ошибок при строительстве БЦБК. Главная ошибка — в научном прогнозировании. Кордное производство следовало развивать на основе высокопрочных синтетических волокон и металлокорда. От применения шин на целлюлозном корде вместо современного мы несем огромные убытки. Вторая ошибка — в выборе площадки для комбината. Для предприятия такого рода необязательна была байкальская вода, а местная древесина не годилась для получения суперцеллюлозы. Прибавьте сюда еще сейсмичность района, которая может показать себя в любой момент. Третья ошибка — в обосновании технологической схемы. Не могло быть никаких иллюзий относительно качества очистки...

— Не нужна была байкальская вода, не годился байкальский лес? Байкальская целлюлоза — своего рода тормоз для производства надежных шин на мировом уровне? Так?

— Именно так.

Василий Федорович Евстратов, тридцать лет проработавший в институте шинной промышленности, добавляет:

— Зам. министра нефтехимической промышленности Соболев, я помню, с самого начала отказывался: нам не нужна байкальская целлюлоза. По своим физико-механическим свойствам она не в два, не в три раза, а на несколько порядков уступает синтетическим волокнам. Вы понимаете разницу?

— Но ведь тогда, в 60-х годах, главным козырем за комбинат была скоростная авиация?

— Ни грамма байкальской продукции там не применялось. На ней мы бы далеко не улетели.

19 августа 1986 г. Байкальск.

Приехал вчера после обеда, прошелся по улицам: город чистый, но нескладный, вписанный не в Байкал, а в комбинат, березы среди домов торчат высохшими верхушками, подвялилась сосна. На улицах подновлена разметка, выкрашены скамейки, на автобусах надписи с призывами хранить и защищать Байкал. Вот и возьми их за рупь двадцать. В гостинице, когда приехал, стелили ковры, в ресторане покормили без хамства. От завода запашок, но не очень; к сегодняшнему событию, вероятно, придерживают его прыть.

Сегодня поднялись рано и отправились на вокзал встречать государственную комиссию по подготовке проекта нового постановления по Байкалу, в которую непонятно каким макаром включен и я. Возглавляет комиссию председатель Госплана Н. В. Талызин. Прибывает она из Улан-Удэ, вчера ей пришлось осматривать Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат.

И только подкатил поезд и сошла комиссия, Талызин, едва успев поздороваться, стал говорить, насколько не понравился ему Селенгинский комбинат. Грязь, оборудование старое, условия... Он морщился. Сейчас, в сравнении с тем, ему



предстояло увидеть нечто идеальное. Я так и сказал ему, когда нас познакомили. Выяснилось, что академики Яншин и Ласкорин не приехали. Зато, к моему удивлению, в комиссии оказался Жаворонков, кому-то вновь потребовались его услуги.

Поехали на завод. У макета румянолицый и молодой директор завода показал схему производства. И изготовлен макет так, и рассказывал директор так, и таким здоровьем и волнением горело его лицо, будто перед нами открылись врата рая и соединенные между собой геометрические фигуры являют счастливые пристани торжества человеческой добродетели.

Пошли по цехам. Просторно, чисто, не душно. Подошли к водозабору, где с грохотом и кипением закачивается байкальская вода. Потом — к сбросу ее обратно в Байкал после выпавшей ей работенки и очистки. Возле неказистой будки ритуал, заведенный еще двадцать лет назад, — испить отработанной водички и подцокать языком от удовольствия. Жаворонков первым хлопнул едва не полный стакан, для него это был божественный напиток. Подали Талызину. Он неуверенно отхлебнул и, как ни крепился под многими взглядами, невольно скривился. Огромной толпой подступили по вытоптанному и умерщвленному берегу к самому Байкалу, постояли несколько минут, кто любясь, кто ужасаясь, а кто равнодушно; Жаворонков, постоянно державшийся возле Талызина, наговаривал о преимуществах стоков перед байкальской водой. Талызин отмахнулся недовольно: «Ты наговоришь, что мы станем это добро за границу продавать».

Ему явно нравились и комбинат и институт. В институте он добивался: какова доля комбината в общем загрязнении Байкала? Меньше одного процента, уверенно отвечали ему. Записывая разговор, я недоумевал: как можно вычислить эту долю? Подошел к Р. К. Салаяеву, директору академического института физиологии и ботаники растений. Он усмехнулся: когда очень хочется — все можно.

Если меньше одного процента, добивался председатель комиссии, то разумно ли тратить почти два миллиарда на перепрофилирование комбината? Не лучше ли истратить их на то, что принесет Байкалу больше пользы, к примеру, на Селенгу, которая не один, а пятьдесят процентов несет в Байкал загрязнений?

Кто-то из журналистов подставил микрофон — Талызин потребовал, чтобы никаких записей, никаких передач, никакой информации без его разрешения.

Становилось ясно, что расставаться с комбинатом не хотят. Если спасти Байкал, надо и Селенгу очищать, и комбинат убирать, и много чего еще. Один процент беймовская команда из института экологических манипуляций отыскала путем опять-таки механических подсчетов.

К тому я и приготовился на завтра, когда придется обсуждать проект: комбинат захотят оставить.

20 августа 1986 г. Иркутск.

Утром по дороге на заседание столкнулся в обкомовском коридоре с Н. В. Талызиным и нашим секретарем обкома В. И. Ситниковым. Талызин неожиданно сказал — для меня: «Будем, будем убирать комбинат. Не сразу, но будем».

Не сразу — это 13-я пятилетка. До морковкиного заговенья. Но после вчерашних дурных предчувствий мне показалось, что и это победа. Когда дали слово, я не нашел ничего лучшего, как обратиться с интеллигентским призывом сдвинуть сроки перепрофилирования комбината ближе. «Может быть, мы найдем в себе силы...» — что-то в этом роде говорил и я. Талызин уклончиво ответил, что надо подумать.

А думали так: чего думать! 13-я пятилетка осталась.

23 декабря 1988 г. Москва.

Заседание межведомственной комиссии в Госкомгидромете. Эта комиссия была создана сразу же после принятия правительственного постановления по Байкалу для контроля за его выполнением.

Три предыдущих постановления оказались замахами, это, четвертое, приготавлилось к решительному удару по загрязнителям Байкала. Их насчитали около 150. До конца 13-й пятилетки намечалось их работу перестроить так, чтобы, говоря народным языком, не гадили там, где едят. Главные мероприятия: промышленность Приангарья перевести на газ, все байкальские поселки и города — на электроотопление; Байкальский целлюлозный завод к 1993 году ликвидировать, производство его перенести в Усть-Илимск; на Селенгинском комбинате ввести в действие замкнутый цикл водопользования... И так далее. И вот межведомственной комиссии под началом Ю. А. Израэля, председателя Госкомгидромета, пору-

чено наблюдать, подгонять, вносить, если потребуется, поправки, координировать, входить с предложениями...

Она собирается не в первый раз. До этого были заседания в Иркутске, Байкальске, Москве. Поначалу являлись министры, затем министры попеременно с заместителями, сегодня министра ни одного. Да и членов комиссии не густо. Настроение предновогоднее. Около двух лет после того, как принято постановление, миновали, а все та же раскачка, раскачка, выжидающая, не изменится ли обстановка, чтобы, не дай Бог, не перестараться.

Вот и на этот раз. О перепрофилировании Байкальского комбината. Окончательного проекта до сих пор нет, в Усть-Илимске бунтуют против целлюлозы. Метилмеркаптан, отходящий газ этого производства, превысит там предельно допустимые концентрации в 60–80 раз. Разгорается дискуссия: вреден или не вреден для здоровья людей метилмеркаптан. Представители Минлеспрома стоят на том, что ничуть не вреден, их поддерживает новый директор Лимнологического института М. А. Грачев. Главный санитарный врач страны А. И. Кондрусев удивляется: да вы что, метилмеркаптан относится ко второму классу опасности! Израэль устало: диоксин сразу отбрасывает ваш метилмеркаптан на 110-е место. Вот чего надо бояться!

О переводе промышленности Приангарья на газ. Поднимается представитель Министерства газовой промышленности и заявляет, что сроки газификации нереальны. Геологи не утвердили запасы месторождений. Геологи: а их там и нет, крупных месторождений...

...Мы выходим в сырую, с кашей под ногами улицу вместе с моим давним и добрым приятелем, журналистом, который много и с болью пишет о Байкале и байкальских лесах. Настроение невеселое. Мы говорим о болезнях.

* * *

Вспоминаю, как мы с товарищем моим, приехавшим ко мне в гости, долго шли и далеко ушли по берегу нашего моря по старой Кругобайкальской дороге, одному из самых красивых и ярких мест южного Байкала. Был август, лучшее, золотое время на Байкале, когда нагревается вода и бушуют разноцветьем сопки, когда, кажется, даже камень цветет, полыхая красками; когда солнце до блеска высвечивает вновь выпавший снег на дальних гольцах в Саянах, которые в прозрачном до увеличительности воздухе видятся совсем близко; когда уже и впрок запасся Байкал водой из тающих ледников и лежит устало, сыто, набираясь сил для осенних штормов; когда щедро играет подле берега под крики чаек рыба и когда на каждом шагу по дороге встречается то одна ягода, то другая — то малина, то смородина, черная и красная, то жимолость... А тут еще и день выдался редкостный: солнце, безветрие, тепло, воздух звенит, Байкал чист и застывшие тих, далеко в воде взблескивают и переливаются камни, на дорогу то пахнет нагретым и горящим от поспевающего разнотравья воздухом с горы, то неосторожно донесет прохладным и резким дыханием с моря.

Товарищ мой уже часа через два был подавлен обрушившейся на него со всех сторон дикой и буйной, творящей пиршественное летнее торжество жизнью, до толе им не только не виданной, но даже не представляемой. Повторю, она была в самом расцвете и самом разгаре. Прибавьте к нарисованной картине еще горные речки, с шумом сбегающие в Байкал, к которым мы раз за разом спускались испробовать водицы, всполоснуть лицо и посмотреть, с каким таинством и какой самоотверженностью вливаются они в общую материнскую воду и затихают в вечности; прибавьте частые тоннели, аккуратные и прохладные, с копнами сена внутри рядом с рельсовой ниткой, и торжественно и строго высящиеся над ними скалы.

Все, что отпущено для впечатлений, в товарище моем было очень скоро переполено, и он, не в состоянии больше удивляться и восхищаться, замолчал. Я продолжал говорить. Я рассказывал, как, впервые попав в студенческие годы на Байкал, был обманут водой и пытался рукой достать с лодки камешек, до которого потом при замере оказалось больше четырех метров. Товарищ принял этот случай безучастно. Несколько уязвленный, я сообщил, что в Байкале удастся видеть и за сорок метров — и, кажется, прибавил, но он и этого не заметил, точно в Москве-реке, мимо которой он ездит на машине, такое возможно сплошь и рядом.

Только тогда я догадался, что с ним: скажи ему, что мы за двести-триста метров в глубину на двухкопеечной монетке читаем год чеканки, — больше, чем удивлен, он уже не удивится. Он был полон, как говорится, с крышкой.

Помню, его окончательно пришибла нерпа. Она редко подплывает в этих местах близко к берегу, а тут, как по заказу, нежилась на воде совсем недалеко, и когда я, заметив, показал на нее, у товарища вырвался громкий и дикий вскрик, и он вдруг принялся подсвистывать и подманивать нерпу, словно собачонку, руками. Она, разумеется, тотчас ушла под воду, а товарищ мой в последнем изумлении от нерпы и от себя опять умолк, и на этот раз надолго.

Вспоминаю себя в яеную и лунную, широко распахнутую теплую ночь на байкальском льду. Было это в марте, когда стремительно нарастает день, загустевает от запахов воздух, а вечерами с Байкала высокой прозрачной, все уплотняющейся синевой надвигаются сумерки. В сумерках я и сошел с берега, рассчитывая через полчаса вернуться, и отправился в открытое море. В спину, подталкивая, поддувал слабый ветерок, снега, который лежал подле берега вытертой стланью, становилось меньше и меньше, он белел низкими кочковатыми пятнами, увлекательными шаг, чтоб дойти до этого пятна, до этого и этого, и пружинил под ногами легким приятным шуршанием. Я не боялся заблудиться: огни на берегу видны изда-лека. Надо мной разгоралось и разрасталось чистое глубокое небо, справа стояла полная луна. Но и подо мной на продутых полянах льда мерцала сдавленным светом луна и тлели звездные искры.

Длинными стрелами набегали на меня подледные громы, прямо под ногами взрывались и раскатывались, но я скоро привык к ним и перестал пугаться. Перешел дорогу, проवेशенную с берега на берег елками, строем стоящими под ярким небом сумрачно и неловко, как закутанные фигуры. Байкал расходился передо мной все шире, горы отступали, ветерок продолжал трогать спину. Я шагал и шаг-гал.

В детстве это называлось уводиной или заманкой. «От деревни далеко не уходи, — наказывалось нам, — вот заманит тебя уводина, заморочит голову — пропа-дешь». — «А какая она, уводина?» — спрашивали мы. «А это уж тебе никто не ска-жет. Кто видел, тот назад не воротился». Да ведь за бабой-ягой, не помня себя, не потянешься, это должна быть невиданная краса со сладкими речами.

От расслабленности я ничего не чувствовал и ни о чем, кажется, не думал. Я словно бы ненароком вступил в какое-то замороженное царство иных, чем мы знаем, сил, иных звуков и времен, составляющих иную жизнь. Сплошное зеркало гололеда расстилалось впереди и позади, оно представлялось, как небо, покатым и, как небо же, горело всеми его огнями, но сосульчатými и изогнутыми. Сия-ло сверху, сияло снизу, голубое сияние стояло на льду, и оно не было мертвен-ным, а струилось и дышало, ходило, точно световой круг, точно переливающийся гигантский калейдоскоп. Луна спустилась так низко, что виделась ее нелитость. И шипение, шелест и шорох волнами спадали сверху и растекались по глади. Байкал сладостно-глухо ворчал, где-то капельно звенькали ледяные колокольцы, где-то струилось что-то и со вздохом оседало.

Нечему было ни двигаться, ни звучать, но все вокруг двигалось и звучало.

Я вернулся назад уже за полночь, долго стоял перед берегом, оглядываясь на-зад на плавающий в сиянии Байкал, пока не почудилось мне, что натекшее внизу небо пытается оторвать его — вот откуда повторяющийся треск — и поднять в воз-дух.

И еще стоял я, взойдя на берег, и еще слушал и смотрел. И все ждал чего-то, какой-то, как говорили раньше, апофеозы, долго ждал — и не дождался.

«Не дается роду сему знамение».



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Иркутск

Удивительно и невыразимо чувство родины... Какую светлую радость и какую сладчайшую тоску дарит оно, навещая нас то ли в часы разлуки, то ли в счастливый час проникновенности и отзвука! И человек, который в обычной жизни слышит мало и видит недалеко, волшебным образом получает в этот час предельные слух и зрение, позволяющие ему опускаться в самые запovedные дали, в глухие глубины истории родной земли.

И не стоять человеку твердо, не жить ему уверенно без этого чувства, без близости к деяниям и судьбам предков, без внутреннего постижения своей ответственности за дарованное ему место в огромном общем ряду быть тем, что он есть. Былинный источник силы от матери — родной земли представляется ныне не для избранных, не для богатырей только, но для всех нас источником исключительно важным и целебным, с той самой волшебной живой водой, при возвращении человека в образ, дух и смысл свой, в свое истинное назначение. И, посещая чужие земли, как бы ни восхищались мы их рукотворной и нерукотворной красотой, какое бы изумление ни вызывала в нас их устроенность и памятьливость, душой мы постоянно на родине, все мы соизмеряем только с нею и примеряем только к ней, всему ведем свой отсчет от нее. И тот, кто потерял это чувство земного притяжения на земле, кто ведает одну лишь жизнь свою без неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего — вечного значит, огромную потерю тот радость и муку, счастье и боль глубинного своего существования.

«...Абсентеизм! Какое это ужасное слово! — восклицал в прошлом веке один из лучших умов Сибири и верный ее патриот, писатель и этнограф Н. М. Ядринцев. — Разлука с родиной! (Абсентеизм и есть разлука с родиной. — В. Р.). Какое это противоестественное чувство, недаром этот абсентеизм вызывает досаду, причиняет боль души, недаром мы, отданные интересам нашего края, давно чувствовали его вредные последствия. Сколько лучших, образованных сил нашей земли исчезли благодаря ему, сколько цветов мысли и чувства дали плод на других полях, когда собственная нива была пуста и земля ее не давала желанного роста».

«Сколько лучших, образованных сил нашей земли исчезли благодаря ему...» — любая земля, любой край вправе сделать это



Спас Нерукотворный. Двусторонняя икона. XVII век

Святая Варвара. Фрагмент иконы «Святые Екатерина и Варвара», XVIII век.

Портрет иркутского епископа Софрония (1703–1771 гг.).

Владимирская Богоматерь. XVII век.

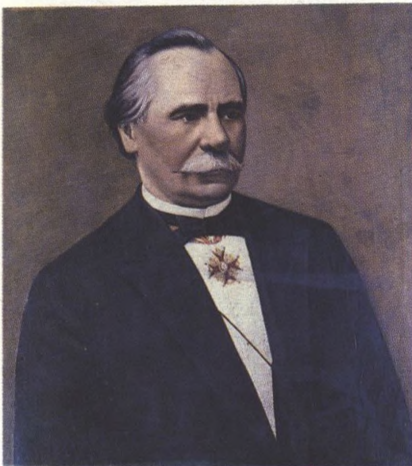
горькое признание по поводу сыновей и дочерей своих, покинувших родину и канувших бесследно, не оставив заметного следа ни на какой другой земле.

...Есть города, которые насчитывают многие сотни и даже тысячи лет. Стоят они сановито и важно, изо всех сил сберегая с помощью лучших граждан своих старину и доблесть. И есть громкие современной славой города, которым только десятки лет, но которые в праздничных перечнях норовят выступить вперед за счет своей индустриальной мощи и молодецких, через каждые пять годков, юбилеев. Иркутск, мой родной город, по этим мерам в среднем возрасте: три и четверть века прошло, как в 1661 году енисейским сыном боярским Яковом Похабовым был срублен на Ангаре «против Иркута-реки на Верхоленской стороне государев новый острог». И, как я представляю себе: немало пострадавший в новейшие времена от скорых и неумелых пластических операций, от горячей бездумной силы по части сносов и перестроек, Иркутск, однако же, сумел покуда сохранить свое лицо, не в пример другому сибирскому городу, Омску, который его полностью потерял, или Новосибирску, который его никогда не имел. Больше того – Иркутску повезло остаться даже с именем своим, а были, говорят, и к тому намерения, чтоб сменить, назвать не по реке, имеющей обыкновение устраивать потопа для нижней части города, а каким-нибудь самовыражающимся или самогорящим именем. Отнесло, и стоит теперь Иркутск, умудренный историей и жизнью, спокойно и мудро, зная силу себе и цену; в меру знаменитый и прежней славой и новой, в меру скромный, в меру культурный, умудряющийся сохранять свою культуру и в наши дни; традиционно гостеприимный, немало опустившийся в пригляде за собой, но прекрасно сознающий, что верно, опустился – стоит Иркутск, наделенный долгой и взыскательной памятью камня своего и дерева, с любовью и немалым удивлением взирающий на дела нынешних своих граждан, которые составляют 600-тысячное население, по-родительски оберегающий их от зноя и холода, дающий им жизнь, приют, воспитание, работу, родину и вечность.

Есть особенный час, в который легко отзывается Иркутск на чувство к нему. Приходится этот час на раннюю пору летнего рассвета, когда еще не взошло солнце и не растопило, не смыло горячей волной настоявшиеся за ночь, взятые из недр своих, запахи, пока не разнесли их торопливые прохожие, а редкую и недолгую тишину не погубил машинный гул. Лучше всего очутиться в такую пору в старом Иркутске, в одном из тех его уголков, где не столько во ветхости и разоре, сколько в службе пока и красоте сохранились одной общиной деревянные дома. И стоит лишь вступить в их порядок, стоит сделать первые шаги по низкой и теплой теплом собственной жизни улице, как очень скоро теряешь ощущение времени и оказываешься в удивительном и сказочном мире, из той знаменитой сказки, когда волшебная сила на сто лет заговорила и усыпила, оставив в неприкосновенности, все вокруг. И уже не слышишь полусонного и размеренного женского голоса, объявляющего из-за Ангары о прибытии и отправлении поездов, не видишь возникающих иногда перед глазами, как огромные неряшливые заплатки, новых каменных зданий, не замечаешь сегодняшних примет – ты там, в этом мире более чем столетней давности.

Именно более чем столетней. Летом 1879 года пробушевал здесь самый, пожалуй, жестокий из всех иркутских пожаров, уничтоживший большую часть города. «К утру 25 июня 75 кварталов лучшей и благоустроенной части города представляли собой выжженную пустыню с обгоревшими и задымленными остатками каменных домов, труб, печей, над которой носился ед-





Портрет купца. Неизвестный художник первой половины XIX века.

Портрет генерал-губернатора Сибири М. М. Сперанского. 1820 год. Художник М. (А.?) Васильев.

Портрет Ф. К. Трапезникова. Художник С. Т. Василенко.

кий, удушливый дым» (свидетельство летописца Н. С. Романава). Но если на центральных улицах разрешено было после того только каменное строительство, здесь на месте дерева снова легло в стены дерево. Иркутскому жителю было не привыкать — Иркутск горел многожды, и всякий раз снова и снова поднимался из пепла еще богаче, красивей и просторней, снова и снова горожанин клал стены, чаще всего по своим собственным наметкам и чертежам, подводил крышу, стеклил окна, въезжал в новый дом и принимался его украшать.

Нет, не просто построить, чтобы тепло и удобно было жить, но построить на удивление и загляденье, точно картинку, точно терем волшебный, в котором, быть может, настанет и волшебное житье, — вот что считалось важным и, как теперь говорят, престижным. Дух соперничества в новшествах и красоте никогда не оставлял сибиряка и подвигал его прежде на многие замечательные дела. В этом искусстве если и был кто равен сибиряку по всей огромной России, так разве лишь мужик с его прародины — с Архангельщины, Вологодчины, Великого Устюга и Новгородчины, откуда и вынесли первые насельники Сибири свое ремесло. Вынесли и развили до удивительного совершенства и бесконечно причудливой, навеянной новой жизнью и новыми просторами, фантазии, привили везде и всюду — в городе и деревне, среди богатых и бедных, у охотников, пахарей и мастеровых. Только полностью нищий карманом или духом человек, поставив жилье, не украшал, не узорил, не расписывал его, не колдовал над ним, и уж одно это оставалось печатью его нищеты и безысходности на всю жизнь. Такая избушка, как теперь хорошо заметно, прежде и старилась, заваливалась, уткнувшись окошком в землю; горестно и неловко смотреть на нее, бедолагу, со стоящими рядом еще крепко, бодро и форсисто, разукрашенными резьбой домами. Созданные на радость людям, до сих пор, несмотря на полный свой век, они эту радость и приносят. Даже самый невеликий из них, с самой незатейливой отделкой, и ту уже немало потерявший, сохраняет все же привлекательность, достоинство и навеки оставшуюся в нем благородную душу мастера.

Ныне мы довольно легко и безжалостно обращаемся с душой мастера, то окуная ее в огнедышащий ковш с расплавленной сталью, то замуравывая в тело огромной плотины — путая ее нередко с элементарной человеческой добросовестностью. Душа, даже в самом примитивном ее понимании и рабочем приложении, это то, что выходит все-таки из обыденности и общности ремесла, что воспаряет над ними особенной вышней любовью к человеку и всему прекрасному, живущему в нем и могущему в нем быть, что заполняет великие пустоты между реальностью и мечтой и делает реальность осмысленной добром и красотой. Душа не служит, она царит; она берет порою тяжелые подати, выводя человека из ряда обыкновенных, живущих хлебом единым и не желающих знать иных, но она же затем выводит его из ряда обыкновенных смертных, без вести погребенных под тяжелыми пластами времени.

И что, как не душа мастера, колдовавшего над домом, возле которого ты в удивлении остановился, коснулась в гордости тебя и растревожила, укорила слабую твою душу, не знавшую праздничных взлетов, или нашла отзыв и восхищение в родственной и чуткой твоей душе, занявшей и затосковавшей по столь же славному делу?

Долгими неделями и месяцами выпиливал, вытачивал, вырезал, подгонял мастер свою кружевную затею. По графаретам стали работать позже, когда ставили богатые доходные дома и трудились артелью, признанный же и уважающий себя художник по дереву творил, не ведая ограничительных рамок. Фанта-

зия иной раз увлекала его в такие дебри и выси, что из них нет, казалось, выхода, чтобы не нарушить пропорции и чувство и не испортить начин, но он чудом находил его и из неведомых, порою языческих далей доставлял желанную жар-птицу, которая волшебным оперением вспыхивала на фронтонах, карнизах и наличниках дверей и окон, на кронштейнах и пилястрах — на каждой малости: смотрите, люди, и радуйтесь.

«Я был во многих городах и столицах разных стран и могу сказать, что такой деревянной архитектуры, такой изумительной резьбы, как в Иркутске, нет ни в одном уголке мира», — отозвался о нашем городе художник Илья Глазунов, известный знаток и защитник русской старины, имея в виду в первую очередь барочную резьбу, которой выделяется Иркутск из всех без исключения городов.

Барочной, или «гладкой» резьбы нет даже в Томске, хотя Томск благодаря относительной приближенности своей к первопрестольной издавна оспаривал у Иркутска славу лучшего и просвещенного из всех сибирских городов и не без успеха до революции претендовал на сибирскую столичность. И хотя А. П. Чехов по пути на Сахалин отозвался о Томске, что это «скучнейший город», а об Иркутске: «Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный», — надо полагать, по отношению к Томску это и тогда не совсем было верно. Что же до интересующей нас сейчас старины и, главное, заботе о ней — сравнение будет явно не в пользу Иркутска, особенно по части деревянных памятников. Иркутск свою старину лишь донашивает и славен ею лишь постольку, поскольку она не успела еще везде потерять свою ценность и вид, Томск же свою хранит и в последнее время прямо-таки лелеет, восстанавливая силами производственной реставрационной мастерской каждый достойный внимания дом.

Дерево недолговечно, и самые древние постройки в Иркутске не из дерева, кроме одной. Не сохранились и деревянные усадьбы XVIII века. У иркутян на памяти еще борьба за «горбатый дом», образец постройки XVIII века, стоявший на ул. 5-й Армии, борьба, окончившаяся не в пользу общественности, когда среди ночи дом воровски снесли. Такая же участь постигла и многие другие памятники деревянной архитектуры наших предков. Восстановленные дома декабристов Трубецкого и Волконского — ничтожная часть того, что могло быть сделано и что не в состоянии восполнить потерь.

«Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе. Чтобы при взгляде на нее осеняла нас мысль о миновавшей его жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшего ступенью нашего собственного возвышения» (Н. Гоголь).

Дерево имеет редкую способность продлевать нашу память до таких глубин и событий, свидетелями которых мы не могли быть. Лунше сказать — это способность передавать нам память наших предков. Камень более недвижим и холоден; дерево податливо и ответно чувству. В деревянных кварталах, где-нибудь среди бывших Красноармейских, а до того — Солдатских улиц не так уж и трудно представить себе старый Иркутск, предположим, 30–40-х годов XVIII века, когда город разросся и вышел за стены острога.

Через Иркутск шла оживленная торговля с Китаем, он стал к тому времени крупным административным центром огромной провинции, главным перевалочным и товаро-распределитель-



Портрет купчихи. Неизвестный художник первой половины XIX века.

Портрет купца П. Д. Трапезникова с ребенком. Копия неизвестного оригинала. 1839 год.

Портрет купца Е. А. Кузнецова. Художник Кимжановский. 1861 год.



*Портрет купца П. Н. Лаврентьева.
Художник М. И. Песков. 1854 год.*

*Портрет П. П. Сукачева с сыном.
1854 год. Художник М. И. Песков.*

*Портрет А. М. Сибирякова. Художник
А. И. Корзухин. 1885 год.*

ным пунктом всей восточной и северной Сибири. В остроге, замкнутом крепостными стенами, творилась лишь административная власть, вся же основная жизнь давно перешла в посад, где располагались и купеческие лавки, и базары, и кабаки, пышным цветом расцветшие к той поре в Иркутске, и различные службы, и мастерские ремесленников, и где «гуляло» около тысячи (в тридцатых годах) обывательских домишек, которые ставились без всякого плана застройки, кто где хотел и кто во что был горазд, так что улицы представляли собой извилистое и диковинное кружение, и вправду напоминающее гуляние. Город, вышедший из крепости, в свою очередь, обнесен был палисадом, деревянной стеной, протянутой от Ангары до Ушаковки на месте нынешней улицы К. Маркса. За палисадом, как и положено в древности, рядом с вырытым рвом стояли рогатки, а уж за ним третьим городским поясом выросла Солдатская слобода. Отсюда и Солдатские улицы, переименованные впоследствии, чтоб не оставить былых охранников города без революционного внимания, в Красноармейские.

Разумеется, другие стояли тогда здесь домишки, другая была планировка — все другое, но и глаз закрывать не надо, чтобы представить себе Иркутск того времени в такой яви и близости, что видишь, кажется, изломанную и кривую грязную улочку, величавую поступь по ней бородастого красноглазого купца, направляющегося куда-то в сторону царствующих над городом куполов Спасской церкви и Богоявленского собора и по дороге недовольно хрюкнувшего на возящихся в грязи ребятишек, слышишь голоса лениво переругивающихся из-за высоких заборов от скуки баб, ржание лошадей и скрип телег проходящего через Заморские ворота к Байкалу обоза. Добрых тридцать лет еще до Московской столбовой дороги, вдохнувшей в Иркутск новую жизнь, и больше века до третьего и главного кита, который вслед за торговлей и пушниной стал основанием расцвета города, — до золотой лихорадки. Иркутск еще сонен, темен и грязен, его главную жизнь составляет борьба духовенства и купечества с чиновничеством, с его разбойничьими даже по тем временам поборами и несправедливостью. Да ведь и то сказать: окраина — самая глухая, откуда «до Бога высоко, до царя далеко». По этой поговорке действовали и воеводы, и вице-губернаторы, а затем и генерал-губернаторы вместе со всем своим многочисленным окружением. Не зря же почти одновременно с первым сибирским губернатором князем Гагариным взошел на плаху при Петре иркутский воевода Ракитин, не брезговавший разбоем, чуть позднее такая же участь постигла и первого иркутского вице-губернатора Жолобова, который «пытал безвинно и при пытках жег огнем». Строгости, однако, помогали мало.

Инструкцией, которая давалась в первое время воеводам и которая гласила: «Делать по тамошнему делу и по своему высмотру, как пригоже и как Бог вразумит», пользовались затем все, за малым исключением, власти, как бы они ни назывались. Одному, вице-губернатору Плещееву, «пригоже» было приказать всякий раз при своем выезде палить из пушек, чтобы досадить архиерею, которому звонили; другого, губернатора Немцова, «бог вразумил» пригласить за город гостей и натравить на них знаменитого разбойника Гондюхина, не постеснявшегося донага раздеть благородное общество, к величайшей потехе губернатора; третий, следователь Крылов, приехавший в Иркутск пресекать беззакония, «по своему высмотру» обобрал местных купцов более чем на 150 тысяч рублей, посадил под арест чьего-то не приглянувшегося ему самого вице-губернатора Вульфа и разъезжал по городу, наводя жуткий страх на жителей и опять-

таки «по своему же вымотру» указывая на понравившихся ему купеческих дочек и мещанок, которых следовало незамедлительно доставлять Крылову на дом. Это были «гибельные», по слову летописца, времена. Неудивительно, что иркутяне, вспомнив о благополучном, казавшемся им счастливым, правлении в конце XVII века малолетнего сына Полтева (Полтев назначен был воеводой, но, не доехав до Иркутска, скончался, и тогда казаки определили в воеводы его сына), попытались сорок лет спустя, устав от поборов и самодурства Жолобова, снова применить ту же практику, когда Сытин, приехавший заменить ненавистного им вице-губернатора, тут же умер «от огорчений», причиненных ему Жолобовым. Сыну Сытина было пять лет; в этом возрасте даже и в роли правителя нельзя еще творить беззакония, хотя невозможно с ними и бороться, но для города и то казалось великим благом. Дело, однако, сорвалось, и оставшийся до поры до времени на своем месте Жолобов с новой силой принялся за расправу, ежедневно ставя «на правеж» (кнуты, палки, пытки) тех, кто замыслил ему замечу.

«Все, что о здешних делах говорили в Петербурге, не только есть истина, но — и это бывает редко — истина неувеличенная», — доносил позднее в столицу приехавший в Иркутск с огромными полномочиями граф М. М. Сперанский.

Иркутская история знает и трагические, и смешные, забавные истории, которые заманчиво и полезно листать как в летописях, так и в памяти, бродя по старым деревянным улицам, легко воскрешающим пытливому уму былую суровую жизнь.

Выправлением вольной городской планировки, кстати вспомнить, ретиво занялся в начале XIX века при генерал-губернаторе Пестеле, который умудрялся править нашим обширным краем из Петербурга, его наместник вице-губернатор Трескин, прославившийся отчаянной борьбой с богатым иркутским купечеством. Трескин, не боясь жалоб, которые перехватывал в столице Пестель, мало в чем ведал сомнения, а в деле выпрямления улиц в особенности. По его указанию набрана была из арстантов местной тюрьмы бригада во главе с Гуцей, оставшаяся в летописях нашего города под названием «гуцинской команды». Вот как свидетельствует об этом в «Записках иркутского жителя» писатель И. Т. Калашников:

«Спору нет, что благоприличие — вещь хорошая, но только уж слишком нецеремонно поступали с домами, стоящими не по плану. Согласие домовладельцев тут было дело излишнее. Бывало, явится гуцинская команда — и дом поминай как звали. Если же не весь дом стоял не по плану, а только какая-нибудь особенно смелая часть его вылезала вперед, то без церемонии отпилят от него сколько нужно по линии улицы, а там и поправляй его как умеешь».

Поднагорев на уличном переустройстве и войдя во вкус, Трескин взялся затем выправлять и устье Иркутта, заявив, что река имеет «неправильное течение», но Иркут в отличие от Иркутска не поддался Трескину и, несмотря на все усилия губернатора, остался при собственном течении.

Что и говорить! — правители случались разные; как никакому другому городу в Сибири и закрепленному за ним краю пришлось настрадать Иркутску от власти всевозможных временщиков, от их лихоимства и самоуправства, и все же он продолжал расти, хорошеть и богатеть, существуя как бы по своим собственным законам, умея и охранять, и возвышать себя, и с достоинством переносить потери на протяжении всей своей истории.



Портрет графа Н. Н. Муравьева-Амурского. 1858 год. Художник Л. С. Игорев.

Портрет иркутского губернатора Н. И. Трескина. Неизвестный художник первой половины XIX века.

Портрет купца Н. П. Трапезникова. 1812 год. Неизвестный художник первой половины XIX века.



Портрет В. П. Сукачева — основателя Иркутской картинной галереи. Художник В. П. Худояров. 1882 год.

Портрет И. И. Попова — редактора «Сибирского вестника» и «Восточного обозрения». 1901 год. Художник Н. И. Верхотуров.

Памятник-надгробие Г. И. Шелихову в городе Иркутске.

Южный фасад Крестовоздвиженской церкви. XVIII век.

Первое городское каменное строение, к сожалению, не дошло до наших дней. Это была поставленная в 1704 году на территории острога по берегу Ангары воеводская канцелярия, или приказная изба, где творилась власть. В прошлом веке, когда стали укреплять берег, чтобы сохранить место колыбели Иркутска, канцелярию пришлось снести. Зато на диво и на счастье, самым загадочным и чудесным образом выстояв жестокие времена ломки и сносов, сохранились Спасская церковь и Богоявленский собор — самые древние и наиболее интересные по архитектуре здания во всей Восточной Сибири.

Потому, впрочем, и интересные, что древние. Потому и дороги они так сердцу иркутян, что вещей и нетленной, доступной каждому памяти доносят нам время, дух и искусство наших предков, которые имеют в этих стенах живое и конкретное выражение и которые вернее всяких философий говорят об устремленности и вере человека в свою вечность. До тех пор жив человек, покуда держится дело рук и духа его. Не худо бы это помнить тем, кто, собираясь накоротко отбыть свою земную долю, неразумно оставляет тем не менее после себя из весьма прочного материала, из камня и слова, памятники своей скудости, неразборчивости и общинной суетности — время, как известно, из неумения лжесвидетельствовать, может быть не только благодарной, но и мстительной памятью.

Спасская церковь дорога нам изначально прежде всего тем, что это единственное оставшееся от Иркутского острога строение, поставленное всего пятьдесят лет спустя после рождения Иркутска. По ней мы определяем теперь границу острога (она была встроена в крепостную стену, обращенную к нынешней площади имени Кирова), можем представить себе соборную площадь (на месте Вечного огня), где оглашались царские и воеводские указы, творились расправы, собирались горожане как на праздники, так и во дни великих и трагических российских событий. Церковь была заложена в 1706 году и через четыре года закончена. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть в ней допетровскую еще, древнерусскую архитектуру как в основных формах, так и в оформлении. В новом, во многом заимствованном архитектурном стиле возводится в это время Петербург, сменила свой градостроительский почерк Москва, но Иркутск далеко, Иркутск свои первые каменные творения ставит еще по старинке, в родном, так чудно воспарившем после татар национального духе. Однако в заложенном всего через восемь лет после Спасской церкви Богоявленском соборе есть уже изменения в пользу нового стиля и хорошо заметны черты раннего барокко в декоре фасадов, которые, в отличие от Спасской церкви, написаны пышно и полностью. Изменения видны, но весь храм, как ансамбль, как единое целое, представляет собою причудливое сочетание старого и нового стилей, когда мастер-уставщик, можно предположить, и зная прекрасно, как принято строить, с удовольствием сбивался на то, как любо было ему строить и что больше отвечало его вкусу. Богоявленский собор, опять-таки в отличие от Спасской церкви, ставился сразу с колокольней и приделом, и шатровое навершие над колокольней — элемент, конечно, древнерусского, деревянного еще зодчества, который в каменных постройках, особенно за Уралом, встречается очень редко. И уж совсем в дальние дали уходят своими корнями и фантазией фигурки на неожиданных само по себе, счастливо обнаруженных при реставрации собора, керамических вставках, «изразцах», которыми был украшен храм, — все эти круги, лепестки, ведомые и неведомые нам звери и птицы, застывшие на стенах из старинных легенд и сказок.



Великий государь, Християн
и православный, Иоанн
Ивановичъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году

Великий государь, Иоанн
Ивановичъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году

Великий государь, Иоанн
Ивановичъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году

Великий государь, Иоанн
Ивановичъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году
въ Москвитинъ, въ 1700 году





Из фотографий прошлого века.



Вообще же, говоря о смене архитектурных стилей, нужно иметь в виду, что в наших краях из-за отдаленности своей и влияния местных мотивов это в особенности не имело определенных границ и твердых законов, и взаимопроникновение, взаимосвязь и взаимосогласие разных направлений будут наблюдаться еще долго и в деревянном и в каменном зодчестве. Возведенная значительно позднее Богоявленского собора Знаменская церковь (1762) также совмещает в себе элементы барокко и древнерусского декора. Крестовоздвиженскую церковь по дивному своему, совершенно исключительному «узорочью» и причудливому использованию экзотики восточного орнамента, взятого, очевидно, от буддийских храмов, можно отнести к сибирскому барокко. Законы принятого в центрах градостроительства, добравшись за тысячи верст до Иркутска и подышав местным воздухом, сплошь и рядом соскальзывали со своих уставных колодок на грешную сибирскую землю — поэтому зданий, построенных в чистом том или ином стиле, здесь очень немного.

«Древность Иркутска достопочтенна, — писал побывавший в нашем городе в 1824 году Алексей Мартос, один из образованнейших людей своего времени, сын скульптора, поставившего на Красной площади в Москве памятник Минину и Пожарскому. — Ее можно уподобить той эпохе человеческой жизни, которая, упрочив счастье потомков, может требовать уважение и внимание чад своих».

Удивительно верно и надолго умели высказываться люди прошлого, даже и путешествующие, но смотревшие на лик ображаемой земли и на дела рук человеческих не с точки зрения утилитарной и сиюминутной, а с позиций думающей о своем благоденствии нации.

И, перечисляя поразившие его в Иркутске памятники старины, Мартос в первую очередь называет Богоявленский собор и Спасскую церковь.

Со времени постройки эти первые наши храмы претерпели немалые изменения, вполне естественные в их долгой и трудной судьбе, но не всегда, однако, удачные. Во второй половине XVIII века к Спасской церкви пристраивают колокольню (1762) и придел (1778) и расписывают фасады, но если собственно церковь как должное и необходимое и лишь запоздавшее приняла в свой ансамбль колокольню, то двухэтажный каменный придел с



северной стороны утяжелил ее и присадил на один край, нарушив тем самым симметрию и искажив легкий, как бы висящий, парящий над Ангарой вид благословляющего и взыскающего храма.

Особенно не повезло Богоявленскому собору. Знаменитое шатровое навершие над его колокольней продержалось лишь до 1742 года, когда в Иркутске случилось сильное землетрясение, после которого упавший шатер уже не подняли. В 1861 году новое землетрясение, и снова вместо того чтобы восстановить здание в его первоначальном виде, пострадавшую трапезную разобрали до основания, возведя примитивные, не имеющие ничего общего с архитектурой здания, стены, а заодно, не посчитавшись с их древностью, замуровали и изразцы. Наступили другие времена, предвестники еще более смутных, другое восходило и отношение к старине, оставившее за спиной чуткость и благоговейное внимание к ней, до того всегда присутствовавшие в русском народе.

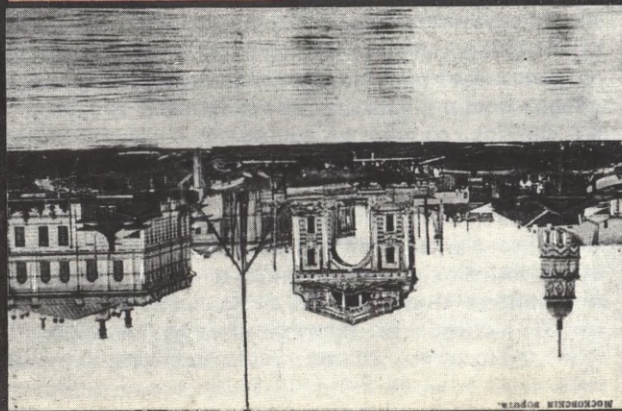
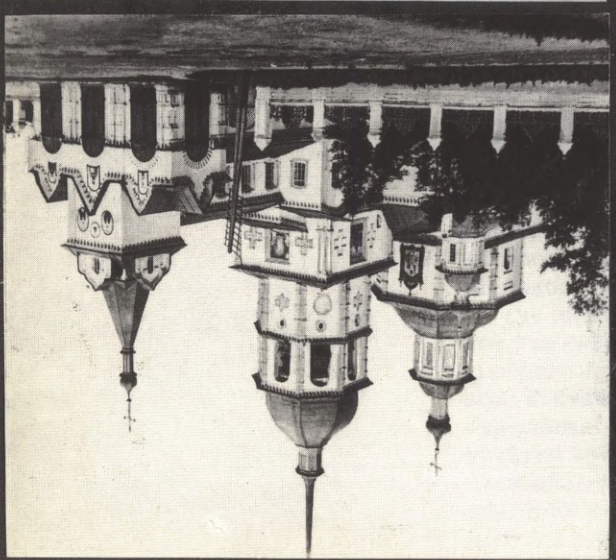
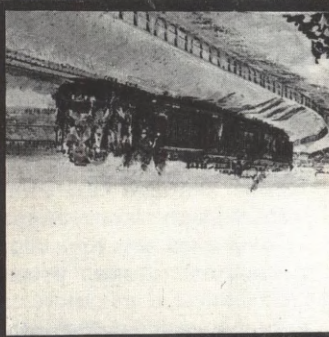
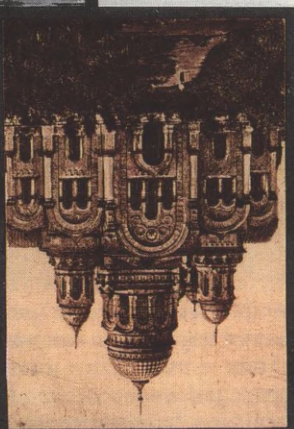
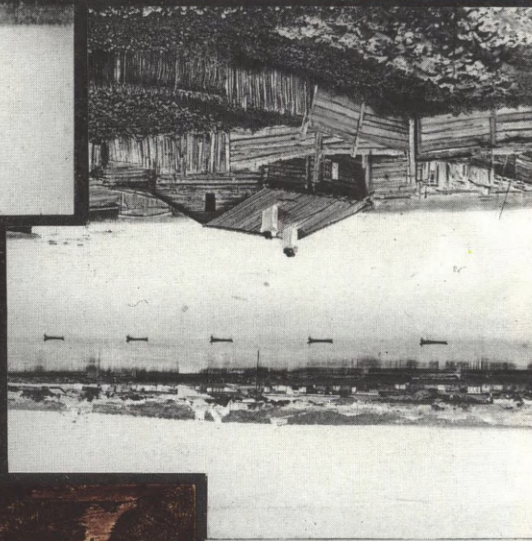
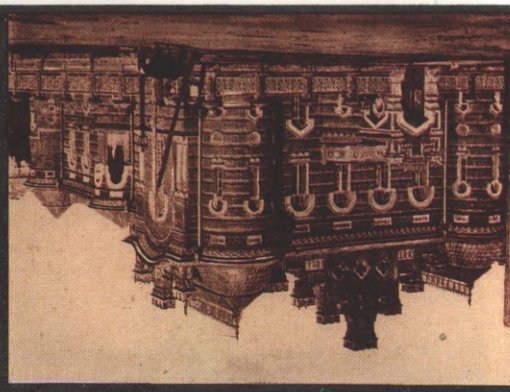
Сейчас Иркутск может гордиться тем, что из запустения и едва ли не из небытия Спасская церковь и Богоявленский собор полностью восстановлены — вот почему и можно говорить о их возрождении как о чуде, сравнимом лишь с чудом восстания из пепла. И когда приходишь сегодня на берег Ангары к месту, «откуда есть пошел» Иркутск, и видишь сияющий золотом купол Спасской церкви и роспись на северном и восточном ее фасадах, когда видишь поднявшееся, как два с половиной века назад, в прежнем виде шатровое возглавие над колокольней Богоявленского собора и радостно, празднично играющие, словно отсвечивающие загадочную жизнь ангарской воды, вставки изразцов, — просторно и светло поднимается в душе чувство конечной справедливости всего сущего вместе с чувством долгими скитаниями добытой усыновленности.

На строительство первых каменных зданий, особенно культовых, поначалу приглашались артели со стороны — с Урала и даже из России (Россией, «Расеей» до самого последнего времени сибиряки называли зауральскую к западу сторону). Но это продолжалось недолго. Уже к середине XVIII века Иркутск на добрую треть стал городом ремесленников, работающих по дереву, по камню и драгоценным металлам. Слава о его мастерах к концу века разошлась по всей Сибири, теперь уже другие города шли на поклон к иркутским каменщикам, живописцам при



1. Бал в городе Иркутске. 1805 год.
2. Иркутск середины XIX века.
3. «Горбатый» дом. Памятник XVIII века.
4. Внутреннее убранство Вознесенского монастыря.
5. Понтонный мост через Ангару.
6. Городское пятиклассное училище.
7. Здание городской Думы.
8. Катание на льду.
9. Московские ворота.
10. Приход первого поезда.
11. Кафедральный собор.
12. Вид на город с левого берега Ангары.
13. Краеведческий музей.
14. Тихвинская церковь.
15. Тихвинская площадь и старый собор.
16. Открытие памятника в честь постройки Транссибирской железной дороги.





оформлении храмов и литейщикам, которые выплавляли высокого звучания и высоких художественных качеств колокола. Летопись сохранила имя Алексея Унжакова (не из бурят ли?), отлившего 24 сентября 1797 года знаменитый в памяти старых иркутян «Большой колокол в 761 пуд», который на специально сделанных из толстых брусьев саях при колокольном звоне всех церковью тянул на веревках к собору едва ли не весь город. Любопытно, что спустя менее ста лет, когда понадобился колокол для кафедрального собора (теперь можно указать лишь место, где он стоял, — на нынешней площади имени Кирова), снова пришлось приглашать для отливки его мастера со стороны, аж из Ярославля. Зато для устройства иконостаса в новом соборе перед преосвященными встала другая проблема: кого из многочисленных иркутских мастеров выбрать, чтоб не обидеть других. После долгих размышлений и совещаний позван был молодой еще человек Н. Попов, который, по общему мнению, прекрасно справился со своей работой.

В вышедшей несколько лет назад книге академика А. П. Окладникова и Р. С. Василевского «По Аляске и Алеутским островам», рассказывающей о совместной советско-американской археологической экспедиции в этих районах, приятно было встретить лестное упоминание о старых иркутских мастерах. В русской церкви села Никольского на Аляске внимание авторов книги привлекла икона Николая Чудотворца, «одетая в серебряную ризу, превосходный образец стиля барокко. И, что наиболее важно, риза была датирована 1794 годом — временем расцвета деятельности Российско-Американской компании, главная роль в которой принадлежала иркутским купцам, в том числе самому Григорию Шелихову. Точь-в-точь такие ризы ковали в старом Иркутске тамошние искусные мастера серебряного дела. Их ювелирной работы изделия были известны далеко за пределами города».

Разумеется, не одни только церковные искусства и ремесла были развиты в Иркутске.

Сличая теперь снимки иркутского кафедрального собора, не дожившего до наших дней, с фотографиями храма Христа Спасителя в Москве, легко увидеть, что иркутский собор возводился по образу и подобию московского, архитектором которого был знаменитый К. А. Тон. Строительство храма Христа Спасителя продолжалось с 30-х по 80-е годы — это было время возрождения и расцвета русского национального духа как в искусстве, так и в общественной мысли, время жестоких разочарований в существующем образе жизни и глубоких надежд на особую роль и «мессианство» России, время реформ и обнадеживающей свободы, особенно в последний период. В архитектуре оно также вызвало «русский» стиль, одним из родоначальников которого и стал К. А. Тон, возвратившийся на новой основе и новом опыте к истокам допетровской архитектуры.

Старый иркутянин, патриот своего города профессор С. В. Шостакович в конце 60-х годов писал в местной газете:

«Кое-кто и сейчас еще полагает, что этот «новый собор», не представлявший-де особой художественной ценности, и не следовало сохранять. Но это глубокое заблуждение. Вместе со Спасской церковью, старым собором Богоявления, польским костелом, домовою церковью и рядом старинных зданий он великолепно вписывался в замечательный архитектурный ансамбль, составляя неотъемлемую его часть. Здесь, на крутом берегу Ангары, откуда изумительно просматривалась широкая речная долина, сохранился, несмотря на иркутские пожары, удивительный уголок старой сибирской столицы — своего рода иркутский кремль».

Народ наш (и это не досужая выдумка автора) с обострен-

ным вниманием следит за судьбами тех, кто в свое время, хоть и в качестве исполнителей, повинен был в уничтожении и забвении памятников старины, и всякое неблагополучие в их жизни готов принимать за законное возмездие. Даже при понятном преувеличении и желании выдать за действительное то, чего нет, стоит тем не менее помнить об этом стихийно и невольно живущем требовательном ожидании; люди хотят верить, что безнаказанности не существует.

* * *

Иркутск издавна считался купеческим городом. Мы привыкли видеть в этом понятии один лишь смысл, означающий тяжелое и малоподвижное общественное и нравственное существование, и забываем или не знаем о деятельности купечества в культурном и научном строительстве родного края. Деятельность эта сводилась в основном к денежным пожертвованиям, но и то куда как не худо: с каждого свое; нельзя требовать от господ Сибиряковых и Кузнецовых, чтобы они были Потанины-

Собор Богоявления. XVIII век.



ми и Ядринцевыми (А. М. Сибиряков был, кстати, и писателем, и ученым), а то, что они помогали Потаниным и Ядринцевым, заслуживает и от нас непредвзятой памяти. Сибирское купечество вообще достойно серьезного исследования, в котором должно бы отдать ему справедливость как в делах собственного обогащения, так и в делах, служивших пользе своей далекой и огромной, во всех отношениях забытой Богом окраины. Разумеется, и здесь сплошь и рядом встречались типы, подобные персонажам из пьес Островского; разумеется, сказочные богатства невозможны были без грубой и нечистой практики своего ремесла — идеализировать и выделять, подыскивать для сибирского купца особый пьедестал никто не собирается. «Господствуя и в думе, и в магистрате, богатое и сильное иркутское купечество в конце XVIII и в начале XIX столетия заправляло всеми общественными и городскими делами, и заправляло исключительно в своих интересах, — пишет в очерке «Иркутск» долгодлительный его городской голова В. П. Сукачев, который и сам принадлежал к этому сословию. — Дело дошло до того, — возмущается он, — что право торговать мясом в Иркутске в 1810 году предоставлено было только трем купцам: Ланину, Попову и Кузнецову».

Но как сибиряк по психологии своей отличался от жителя коренной России, так и сибирский купец отличался от тамошнего — в силу хотя бы местных условий. Иркутские купцы Шелихов, которого Державин назвал «Колумбом русским», и Баранов были в конце XVIII века первооткрывателями и основателями Русской Америки, осуществлявшими над Аляской и Алеутскими островами не только торговое, но и политическое господство. Управление Российско-Американской компании от начала и до конца находилось в Иркутске. Экспедиции иркутского генерал-губернатора графа Муравьева в пятидесятых годах XIX века, результатом которых было присоединение к России Амура, финансировались в основном местными золотопромышленниками. Многочисленные в прошлом научные экспедиции на Крайний Север и Восток, в Монголию, Китай и Японию также не обходились без помощи иркутских богачей — отсюда, из Иркутска, где с 1851 года деятельно работал Сибирский (затем Восточно-Сибирский) отдел Географического общества, в сущности, направлялось все исследование обширных и малоизученных восточных областей.

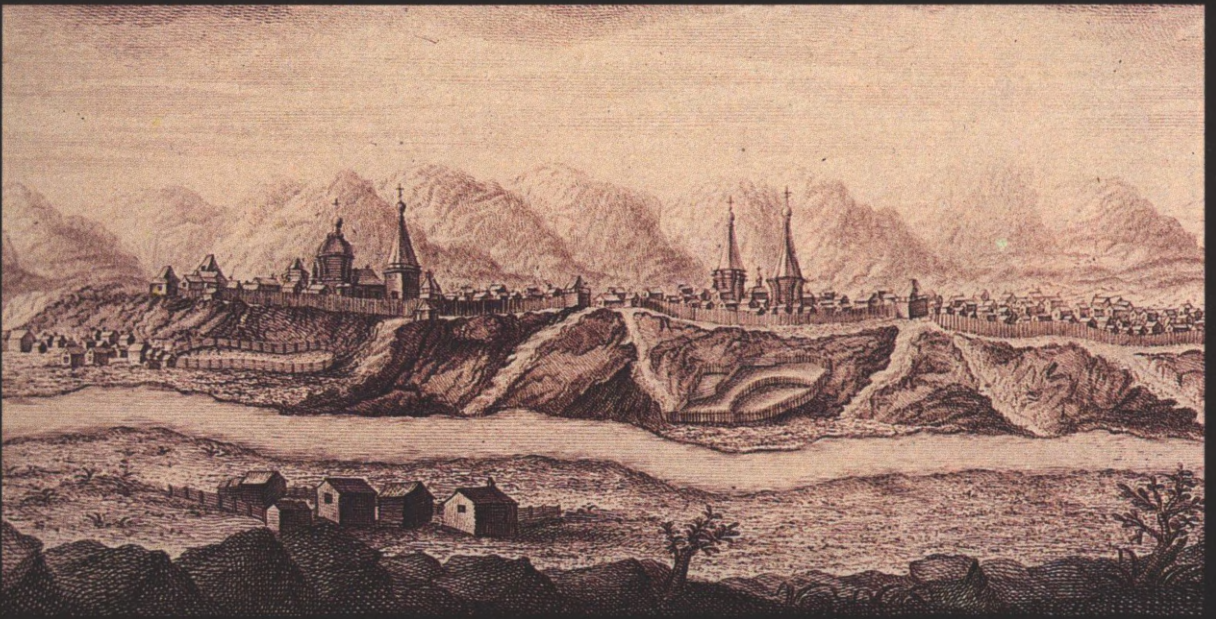
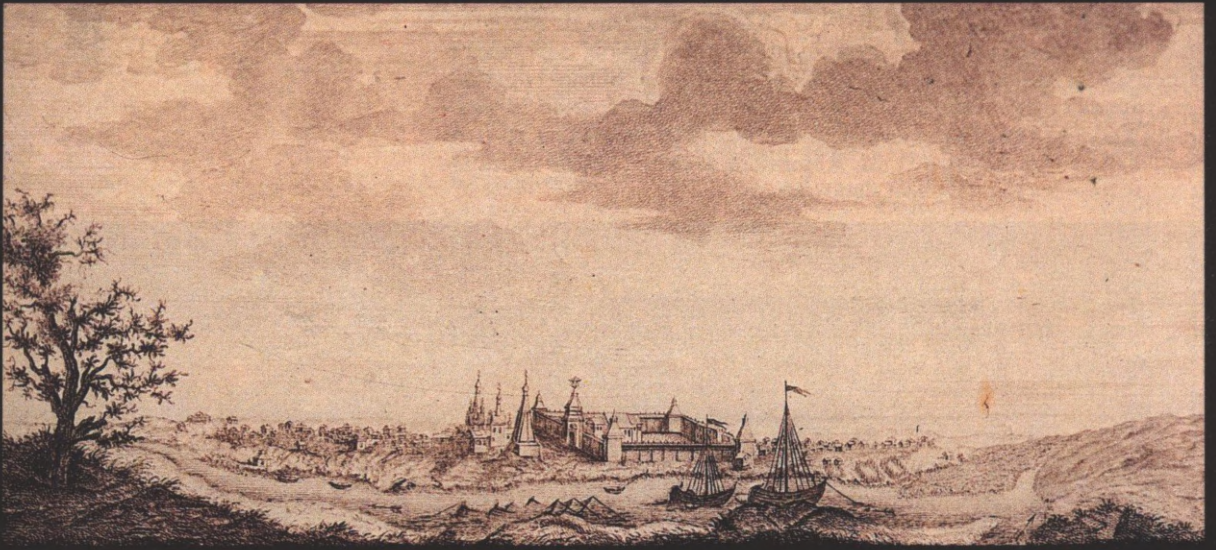
Можно припомнить еще, что иркутские купцы, находясь в постоянной почти вражде к правительственному чиновному аппарату, знали и с декабристами, и со ссыльными поляками, открыто водили с ними дружбу и отдавали им своих детей в обучение, почитая это честью не для опальных, а для себя. Многие из тех, кого мы называем толстосумами, были людьми широко и разносторонне образованными, они выписывали из Москвы и Петербурга лучшие журналы и книги не только для себя, но и для устройства публичных библиотек. Сибиряковы из поколения в поколение вели летопись Иркутска; В. Н. Баснин знаменит был в городе, кроме богатства своего, собраниями книг, гравюр, музыкальными вечерами, на которые приглашались столичные артисты, и оранжереей диковинных цветов и плодов; в картинную галерею В. П. Сукачева, ставшую позднее основанием Иркутского художественного музея, вход для школьников был бесплатным, а сборы со взрослых шли в пользу городских общедоступных курсов. Можно бы назвать все это блажью с жиру бесящихся и выставляющихся друг перед другом богачей, когда бы не было от нее столько пользы и когда бы не создавала она той особой и не заштатной обстановки, которая и выделяла Иркутск из многих и многих сибирских городов. Культурность его и интеллигентность были общепризнаны, средние и

слабые театральные труппы не решались ехать на гастроли в Иркутск, боясь местного зрителя; вольнодумность горожан поражала и пугала высоких инспектирующих чиновников и удивляла проезжих знаменитостей, оставивших об этом многочисленные свидетельства. Конечно, прежде всего в этом сказывалось то, что Иркутск был местом ссылки, а ссыльные и здесь отнюдь не отсиживались по углам, работая в училищах и школах, научных и технических обществах, в канцелярии генерал-губернатора и в газетах, имея тем самым возможность влиять на общественные вкусы и общественное мнение. В свое время декабрист Завалишин объявил настоящую войну Муравьеву-Амурскому, обличая того в творимых на Амуре и Забайкалье несправедливостях, Корсакову, преемнику Муравьева-Амурского, пришлось переправлять декабриста из одной ссылки в другую, из Забайкалья в Казань. В первых печатных изданиях — в газетах «Иркутские ведомости» и «Амур» заправляли знаменитый Петрашевский и его единомышленники Львов, Загоскин и Шашков. Политический ссыльный И. И. Попов долгие годы редактировал выходившие в Иркутске газету «Восточное обозрение» и журнал «Сибирский сборник», которые основал и до того выпускал в Петербурге Н. М. Ядринцев. В своей книге «Минувшее и пережитое» Попов вспоминает:

Старинные гравюры. Виды сибирских городов Енисейска, Мангазеи и Красноярска.

Герб города Иркутска. Фрагмент памятника первопроходцам Сибири.







«Я уже говорил, что ген.-губернатор А. Д. Горемыкин пенял Громову, что у него работают только государственные преступники, а Громов (из известных сибирских купцов.— В. Р.) ответил, что ему нет дела до убеждений политиков: ссыльные великодушные работники и честные люди, с которыми он не может расстаться, потому что пострадает дело. А дело было огромное: на всю Россию и за границу поставка мехов и торговля в Якутской области. Контора Громовых, как и редакция «Вост. Обозрения» или Иркутский музей Географического общества, были своего рода явочной квартирой, где можно было навести всевозможные справки о «политиках».

Что до купечества — служение и богу и мамоне неплохо совмещалось здесь, как нигде: ворочая нередко огромными капиталами, сибирский промышленник мог позволить себе без особого ущерба для кармана отвалить круглую сумму и во благо родному краю и родному городу. Большинство — и это не преувеличение, именно большинство — действовавших в прежнее время в Иркутске церквей, больниц, приютов, ремесленных и общеобразовательных училищ, в том числе для сирот, арестантских детей и переселенцев, большинство гимназий и библиотек построено было и содержалось на частные пожертвования. «Если все эти учреждения и капиталы сопоставить с числом жителей в Иркутске, придется признать, что в отношении благотворительных средств Иркутск стоит среди русских городов чуть ли не на первом месте», — писал Сукачев, имея в виду 80 — 90-е годы прошлого столетия. Если в Петербурге в это время один учащийся в начальных школах приходился на 80 жителей, в Москве — на 75, то в Иркутске только на 29 жителей. Разница, как видите, немалая.

Долгое время бывший самой далекой окраиной из всех губернских центров, Иркутск, однако же, с самого начала встал так выгодно и удобно, что его не могли миновать ни водные, ни сухопутные, ни воздушные пути, ни торговые и промышленные лихорадки, ни политическая и реформаторская деятельность, ни дворцовые перевороты и революционные бури. Где бы ни происходило что — аукалось в Иркутске, в который или через который слали на каторгу и в ссылку потерпевших. Воистину это была подневольная Мекка; кого только не выдывал на своем веку Иркутск, чьи имена навсегда остались в нашей истории, — и несчастных стрельцов в начале царствования Петра, и его любимца Ганнибала, гонимого другим любимцем — Меншиковым, который вскоре и сам последовал в Сибирь, и малолетнюю дочь казненного при Анне Иоанновне Волынского, по имени тоже Анна, втайне содержавшуюся в Знаменском монастыре, но при Елизавете Петровне высоко вознесенную при дворе, и многочисленных авантюристов разного толка, испытывавших прочность власти и казны. Иркутск не миновали в своей громкой судьбе ни знаменитый анархист Бакунин, приходившийся, кстати, родственником Муравьеву-Амурскому, ни Радищев, ни Чернышевский, освобождать которого из вилюйской ссылки в Иркутск навдывались Герман Лопатин, один из переводчиков на русский язык «Капитала», и народник И. Н. Мышкин, ни петрашевцы во главе с самим руководителем этого тайного общества, ни революционные демократы М. И. Михайлов и Н. А. Серно-Соловьевич. Декабристы и ссыльные поляки оказали огромное влияние на наш город в его общественном и нравственном развитии, словно не они, считавшиеся преступниками, а местное общество отдано было им на исправление и воспитание, вплоть до того, что декабристы преподавали в доме самого генерал-губернатора. Черский, Чекановский и Дыбовский из ссыльных поляков придали, как прежде выражались, блеск научной деятельности Географического общества, их



имена навсегда остались на карте Байкала и Присяянья, изучению которых они отдали немало лет.

С. В. Максимов, автор знаменитого исследования «Сибирь и каторга», отмечал по этому поводу:

«При помощи и участии чужих людей среди сибиряков, именно прежде всего здесь, в Иркутске, народилась, стала возрастать и крепнуть та могущественная сила, которая называется общественным мнением, до той поры не существовавшим и не имевшим места в Сибири, как в стране изумительного произвола ее начальников».

О силе общественного мнения в Иркутске в конце прошлого века говорит такой факт. Произошла эта история в 1883 году. К заключенному в местную тюрьму учителю К. Г. Неустроеву, обвиняемому в революционной пропаганде, зашел в камеру генерал-губернатор Анучин и, чем-то задетый, принялся оскорблять учителя. Тот, не стерпев, дал генерал-губернатору пощечину, за что, в дополнение к прежним обвинениям, приговорен был к смертной казни. Несмотря на протесты, казнь состоялась, но столь жестокой и несправедливой расправы город Анучину не захотел простить. Генерал-губернатору, первому в крае лицу и всемогущему сановнику, буквально не давали ни пройти, ни проехать, в глаза называя убийцей, выписывая его фамилию рядом с этим словом на заборах и на домах, так что пришлось Анучину в конце концов подавать в отставку и отбывать из Иркутска.

Это был уже далеко не тот город и не те иркутяне, которые за сто лет до того, во времена прибывшего в Иркутск следователя Крылова, могли сносить от него любые поборы, издевательства и самодурство, — этот город обрел уже достоинство и честь, не позволявшие ему делать с собой что угодно.

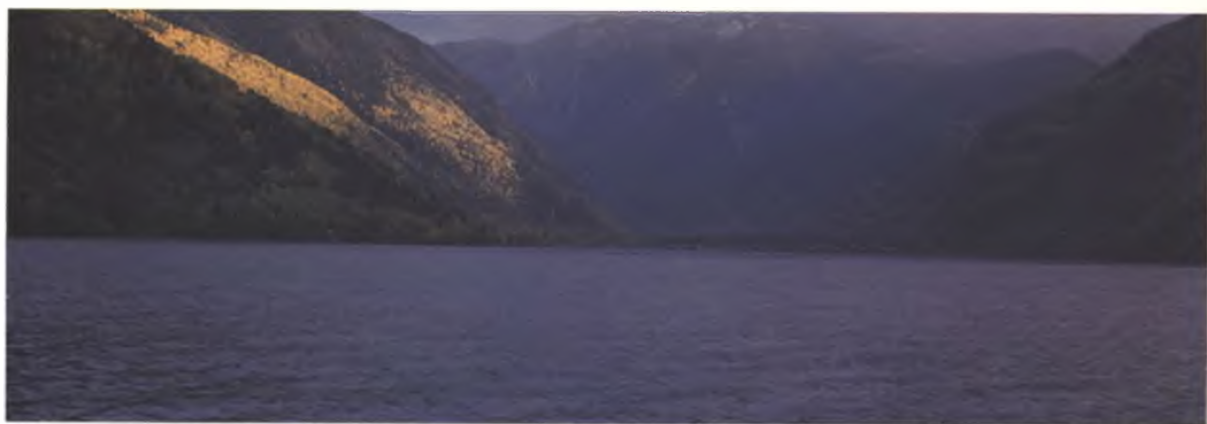
В период последней перед революцией, самой массовой ссылки в Иркутске и нашем краю перебивала едва ли не половина вождей Октября. Их имена, за исключением, кажется, только Троцкого, до сих пор остались в названиях улиц. Вообще — если судить по названиям улиц, то и Французская революция тоже произошла в Иркутске, и мировое революционное движение здесь зародилось. Художественный музей не может добиться имени своего основателя, а Марат продолжает «звучать» не только в одной из самых лучших улиц, но и в огромном пространстве.

Генерал-губернаторами в Иркутске, нелишне напомнить, были столь прогрессивные деятели своего времени, как М. М. Сперанский и Н. Н. Муравьев-Амурский, оставившие по себе добрую славу и память в русской истории.

В 1920 году в Политотделе 5-й Армии тут работал Ярослав Гашек.

В Иркутске остались могилы Григория Шелихова, декабристов Муханова, Панова и Поджио, Екатерины Трубецкой с детьми, местных уроженцев и знаменитых деятелей русской дореволюционной мысли — А. П. Щапова, историка, писателя и этнографа, и публициста М. В. Загоскина. Могилы адмирала Колчака, как известно, нет, но дни свои он окончил также в Иркутске.

Иркутску есть что помнить и достанет что передать потомкам из истории своей и старины, если мы, пришедшие теперь на смену многим поколениям, создававшим ему благородную славу, разумно и твердо, во имя памяти о себе, отнесем к минувшему и сохраним то, что еще осталось. Как бы ни чтили и ни прославляли мы наше время и общество, нельзя забывать, что они невозможны были без прошлого, без тех, кто трудами и подвижничеством, мученичеством и борьбой установил нас в жизни и дал родину, которой мы вправе гордиться. Пережитое не может быть темным — темно будущее, когда сдвинуто со своего места прошлое и когда настоящее, не имея твердого основания, требует подпорок.



ГЛАВА ПЯТАЯ

Горный Алтай

ВЗГЛЯД

Величие человека — в увеличении его благотельных способностей, многосильность и яркость внутреннего завода. Величие земли — внешний покров, ее «благодланность» и благолепие в широких и неповторимых движениях. Всевышний еще до сотворения земли должен был замыслить человека — чтобы было кому любоваться и наслаждаться его работой. С этого должен был начинаться человек, на этом возрастать его чувственность и нравственность.

Что делать! — мы оказались плохими, бедными зрителями. То, что предлагает природа, находит в нас слабый отзвук. И не от высокомерия, не от плебейства — не о том сейчас речь, хотя и они появились как результат общей неразвитости и укороченности чувств, их малой проникновенности и пронизательности в глубь красоты и величия. Еще Н. М. Карамзин, один из самых замечательных русских пронизателей, требовал: «Дайте нам чувство, а не теорию». Но требовал с опозданием. С тех пор чувство понизилось и материализовалось еще больше.

Когда впервые увидел я Белуху во всем ее вольном, мощном и суровом лепии, я испытал только растерянность, больше ничего. Я все видел, это была редкая удача, когда Белуха открылась с именованным выходом, — и не мог назвать, что я видел. Ни слов не хватало, ни чувств, ни движений души — все спятилось и замерло безгололо перед этой властительной осиянностью, возвышенной в такой крепости и цельности, что из нее невозможно было соскрести ни одного камешка или взблеска, которые удалось бы обозначить словом. Не от подобной ли растерянности, испытываемой не раз и не два, и сложилось у алтайцев поверие, что на Белуху смотреть нельзя.

В тот же день в краеведческом музее в селе Верх-Уймон я прочитал слова художника Е. Мейера, бывшего спутником П. Чихачева в его экспедиции по Горному Алтаю в 1842 году, и почувствовал некоторое самолюбивое облегчение оттого, что и тогда, полтора года лет назад, когда человек был намного родней природе, им владело то же бессилие перед ее изображением.

«С трудом переводя дух, взобрался я на вершину и задрожал от восторга... — пишет Мейер. — Вдали, подобно океану, одетневшему в буре, блистали вечные льды, меж которых, тераясь в

светлом голубоватом тоне неба, зубчатым великаном поднимались Катунские столбы. В ущельях змеями вились туманы. Но где слова, где краски, чтобы передать эту картину?! Напрасно ломаешь голову, напрасно ищешь в красках тона!.. Я посмотрел на все, потом на самого себя — что же я? Невидная песчинка в этом огромном лабиринте!.. Я схватил альбом, но рука дрожала: мне казалось, что я вижу живого Бога, со всею его силой, красотой, и мне стало стыдно, что я, бедный смертный, мечтал передать его образ!»

В предреволюционное и пореволюционное время жил и творил в Сибири замечательный писатель Александр Новоселов, к которому мне, коль взялся я за алтайский гуж, не сдюжить, чтоб не обращаться в этом очерке и впредь. Это был мастер слова не по обозначению профессии, а по обращению со словом, но и он среди гор Алтая забывает о своем чудесном даре и прикусывает язык:

«Мне хотелось молиться этому величию, этой неподдельной красоте, — таково было мое настроение, — да, мне именно хотелось молиться. У человека нет ни красок, ни слов, которыми можно было бы передать величие природы. Самое лучшее описание будет только — мертвое слово».

У людей прошлого в безвыходном положении оставалась молитва. Нам, самоуверенным до самозваности в собственном величии, надлежит, когда нет ее, искать другие пути: или воспалить слово, или пригашать взгляд. Конечно, последнее легче. Сколько, сколько раз за время своих поездок на Алтай, замороженный окружающим меня природным волшебством, лихорадочно перебирал я, что могло бы во мне хоть в слабой мере отответствовать его содержанию, и всякий раз беспомощно оцепеневал. Язык мой — крест мой. Тяжкий, непосильный.

И поднять его в горы Алтая, чтоб рассказать о них, так и не удалось. И я не знаю пока никого, кому бы удалось. Горы Алтая для художника все еще остаются сном — чудесным и неземным, сотканным из предсказаний, предчувствий и предвестий, из соблазнительных обещаний и приманов. Для художника они остаются сном, для каждого же из нас они могут быть последним предворотным воспоминанием о крае, с которого при правильных трудах просматривался рай земной.

ДАНЬ ДАНИ

Мы рассчитывали вылететь с утра, но поднялись в воздух только в четвертом часу. Вертолет арендовало Управление строящихся ГЭС, и с нами летел директор этих ГЭС Юрий Иванович Ташпоков, среднелетний симпатичный алтаец, как и все алтайцы, немногословный, вслушивающийся и всматривающийся, но в принятом решении становящийся упрямым. До назначения на эту должность он немало поездил по свету, и всюду, где по своей профессии гидростроителя бывал, реки начинали крутить турбины. Надо ли удивляться, что Юрий Иванович не сомневается, что в этом и состоит основная служба рек, в том числе его родной Катунь, которая до сих пор не работала, а пустотечила.

В то лето страсти вокруг Катунь бушевали сильнее, чем вода в ее ущельях и проранах. В Москве, Ленинграде, Новосибирске, Барнауле, Бийске действовали общественные группы, доказывающие, что гидростанции на Катунь строить нельзя, что они принесут непоправимый вред реке и краю. Это, впрочем, и не нуждалось в особых доказательствах: там, где ставятся плотины и взбухают водохранилища, река перестает быть рекой и превращается в обезображенную и вымученную тягловую силу. Ни рыбы потом в этой реке, ни воды, ни красоты. Энергия потя-



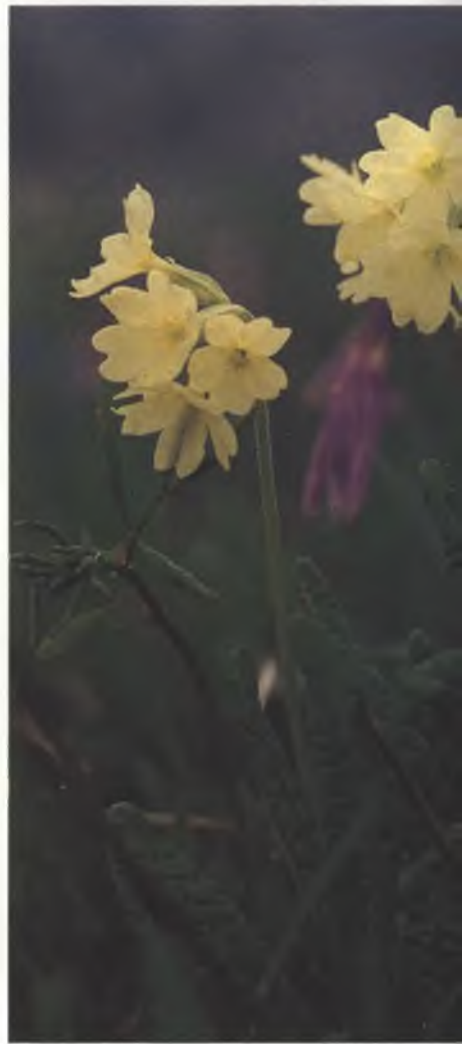


Photograph of a tree trunk heavily covered in moss and lichen, surrounded by dense green foliage.

нет промышленность, для промышленности потребуется новая энергия, затем опять промышленность — и так до тех пор, пока поминай как звали Катунь, ее берега и далекие забрежья. Ни оракулом, ни специалистом быть не надо, чтобы предсказать подобную судьбу: отечественная практика показывает, что иначе у нас не бывает. Те, кто в союзники гидростроителям берут Н. К. Рериха, упоминавшего алтайские «гремящие реки, зовущие к электрификации», забывают, что Рерих с нашей практикой не был знаком, не то наверняка поостерегся бы во имя будущности этого края, с которым он связывал особые надежды человечества, вслушиваться в электрификационный зов. Что тогда, шестьдесят с лишним лет назад во время экспедиции семьи Рерихов через Алтай, представлялось бесспорным благом, а затраты, как, впрочем, и всякие затраты, выходящие за карман, могли остановить достижение этого блага, теперь переиначилось: целью министерства сделались выгодные ему затратные усилия, и свои армии оно соглашается двигать лишь туда, где можно всласть, не считаясь с потребностями края, а захватывая позицию за позицией, широким фронтом вести боевые действия. Что строительство напоминает боевые действия и войну — не из страсти к сильным сравнениям, ими пользуются давно и правильно, и там, где проходит армада гидростроителей, в природе остаются неизлечимые разрушения.

Во все дни, пока мы с барнаульским писателем Евгением Гуциным жили в Горно-Алтайске, к нам приходил по вечерам второй секретарь обкома партии Валерий Иванович Чаптынов. До поздней ночи мы только о том и спорили, что дадут Горному Алтаю ГЭС на Катунь. Довод Валерия Ивановича был: край нужно развивать, он и без того отстал в экономике, жилищном строительстве, в социальных удобствах, все идет вперед, а мы давно топчемся на месте, и движение без собственной энергетики невозможно. Мы отвечали: грех великий превращать Горный Алтай в обычный промышленный район, его служба и дружба в другом — сохранить свою красоту и чистоту, которые уже завтра будут стоить денег, а послезавтра — самой жизни. За полюбивший алтайского воздуха, за погляд его природной сказки, за посыл ветра в кедрачах и звона горных речек, за один лишь побыв среди всего этого, не изжамканного колесами индустриализации, человек что угодно отдаст и скажет спасибо. В своих возражениях мы доходили до рельефотерапии, появилась ныне и такая наука о врачевании ландшафтной заповедностью. Есть страны, которые живут за счет своей природной удачи. Не хлеб единый дает и хлеб. В Горном Алтае развитое животноводство, драгоценные и полудрагоценные камни, тайга и горы рожают столько всякого богатства, что только успевай брать. Однако, вместо того чтобы постоянно собирать орехи, раз и навсегда вырубая кедр — и губят птицу, зверя, таежный корнеплод, подрывают старинные промыслы. Почему благополучие любого района у нас принято видеть лишь в крупномасштабном промышленном строительстве и мерить его едиными мерками вала? Не истина ли, что такой большой стране нужно многообразие — умное и выгадливое, считающееся с особенностями района? Если самой природой предназначено быть здесь маралу и кедру, псекам и облепихе, сыру и садам, табунам лошадей и отарам овец — зачем изводить их тут и разводить затем где-то в чужой стороне? Горному Алтаю повезло, он до сих пор чудом сохранил свой первородный лик — не отдавайте его в окончательную перемолку и переделку, тем паче, что на вас и не жмут, это прежде всего ваши местные хлопоты — не упустить строительство гидростанций.

Так возражали мы с Евгением Гуциным Валерию Ивановичу Чаптынову, алтайцу родом, партийному работнику, человеку



по натуре деликатному, интеллигентному, неравнодушному к своему краю и искренне желающему ему блага. Но благо-то ныне вон откуда завелось исчислять. Хорошо понимал Валерий Иванович, что от выбора, который делает Горный Алтай, зависит слишком многое. До сих пор дальше Бийска большая промышленность не шла. С первой же гидростанцией рыбок будет совершен далеко в горы, во владения тайги и мелких хозяйств. И безболезненно это ни для тайги, ни для живущего здесь народа не пройдет. Придется посторониться. Что еще придется — из надежды видеть хозяйничающего человека лет через десять-пятнадцать лучше, чем он есть теперь, — не хотелось представлять.

Чаптынов внимательно нас выслушивал, показывая нестандартность партийного работника уже в том, что он умеет слушать и пытается, не отмахиваясь, понять мнение неспециалистов, кой с чем соглашался, но уже поставлен он был на отметку «строить» и, как стрелка прибора, и при колебательных движениях показывающая необходимое направление, стоял на своем. Он был искренен: «ГЭС построят — области останется домостроительный комбинат. Он нам очень нужен. Получить его иначе у нас нет надежды». Мы спрашивали — откровенность на откровенность: а знаете ли вы, что про вас говорят, будто вы продали Катунь за панельный комбинат? Он знал и, в свою очередь, спрашивал: а знаете ли вы, что у нас пастухи на дальних стойбищах, как сто лет назад, сидят при керосиновой лампе? Тем более, отвечали мы, надо строить ветряки, малые плотины на притоках — такие, как Чемальская, экологически безвредные, приближенные к потребителю, малозатратные. Можете не сомневаться: пастухи ваши на дальних стойбищах и при каскаде останутся с керосиновой лампой, каскады возводят не для пастухов. Обычно сдержанный, спокойный, Валерий Иванович принимался горячиться: не будет каскада, мы и сами против каскада, речь идет об одной станции с контррегулятором, есть договоренность только об одной. А можно, заседали мы, с девятиглавым змеем договориться, чтобы он в виде дани унес лишь одну жертву и с тем отбыл восвояси? Министерство печется о собственных интересах, пока оно полностью свои аппетиты не удовлетворит, никуда не уйдет. Ему лишь бы закрепиться, затем вступит в действие выгодный принцип фронта работ на одной территории, без дальних и хлопотных передислокаций.

Куда деться! — чтобы уж совсем не походить на свалившихся с луны экземпляров, не ведающих земных интересов, вот такими учеными, с самой современной набойкой, словами мы и шпарили. И все же порой складывалось впечатление, что это не мы, а Валерий Иванович свалился недавно с луны и только-только начинает принаравливать к заведенным в наших краях порядкам. Он, например, заставляя нас всматриваться в него внимательней, уверял: нет, мы ни за что не пойдем на строительство каскада, это в наших руках. И как-то становилось неловко напоминать ему, что не принято у нас спрашивать: а если кто станет упорствовать быть спрошенным, того удобно перевести куда-нибудь в Кош-Агач — есть такой на Алтае малоприятный район, который, кстати, из-за каменистой пустынности называют обратной стороной Луны.

Юрий Иванович Ташпоков, директор строящихся ГЭС, к страстям вокруг Катунь относился с тем спокойствием, за которым прочным рубежом стоял опыт: если есть директор — будут и ГЭС. Площадка намечена, автобаза прибыла и работает, поселок строится, коттеджи для начальства стоят как картинка, детсад на зависть Горно-Алтайску с бассейном, миллионы и миллионы рублей истрачены — кто ж после этого пойдет на попятный? Нет экологического обоснования, нет решения о строи-



тельстве? Будут. У гидростроителей это в порядке вещей: начинать до решения и влиять таким образом на решение. А общественность пошумит, пошумит и успокоится. Убедят тем же, чем всегда: вы что — за реставрацию патриархальности и дикости, против благополучия алтайского народа? С чьего, интересно, голоса вы поете, на чью плотину льете воду? Красоты захотели, первобытности, а можно вашей красотой питаться, крепить могущество страны? Или вы об этом не думаете? Зато мы думаем за вас и за себя и несем ответственность перед страной, нам чувствительность не с руки.

Так по сей день и продолжается — кто кого? Не одно состоялось совещание на самых высоких уровнях, не один раз споры доходили до белого каления — и все ждет Катунь: когда же решится окончательно ее судьба.



ХОЗЯЙКА

...В четвертом часу длинного июльского дня на вертолете Ми-8, арендованном дирекцией строящихся ГЭС, поднялись мы над Горно-Алтайском и взяли курс вдоль Катунь на юг. Внизу закачалась и поплыла, будто стягиваясь Катунью, древняя земля ойротов, и город, который оставили мы, еще недавно назывался погонистым словом «Улала». Справа, сразу как поднялись, выблеснуло и открылось круглой драгоценной чашей озеро Ая с высоким каменным престолом посередине, осторазживаемом деревьями, и показались плывущие к нему, как ползущие за милостью к ногам владыки, фигуры купающихся. За три дня до того и мы с Евгением Гуциным, для которого Ая — родина, он провел здесь детство, тоже смыли в нем дорожную пыль, и я был немало удивлен, откуда в горном озере столь теплая и мягкая,

как шелковая, вода. Гушин, посмеиваясь и озираясь, показал на густое, словно бурей поднятое со дна, и вяло копошащееся по берегам многолюдье: нагреют. Он хорошо помнил озеро другим — чистым и рыбным. По слухам, колхоз, в чей собственности было озеро, когда-то от бедности и дурости променял его Бийскому химкомбинату за племенного быка. Бык, разумеется, в недолгих трудах вскорости почил, а Ая так навсегда и осталась за химиками. Если это даже и басня (местные жители уверяют, что истинная правда) — в ней есть мораль.

Катунь, «катын» по-алтайски, — жена, хозяйка. Подобно хозяйке, она собирает и питает всю окрестную жизнь. К ней сбегает водосбор, жмутся леса и травы, от рождения до смерти держат ее в памяти зверь и птица, а горы, которым ведет она неустанный счет, как по команде, то приникают к ней, то отсту-



пают, давая место плодородью. Древний человек высмотрел и облюбовал Катунь в таких глубинах, что при одном взгляде туда начинает кружиться голова. До раскопок А. П. Окладникова на речке Улалинке возраст человеческой деятельности в Сибири осторожно и с набросом назывался археологами до 25 тысяч лет, Улалинская стоянка по меньшей мере в десять раз увеличила этот срок. Ученый мир должен был ахнуть и наверняка ахнул, и только мы в Сибири этого не расслышали, от нашей древности. По сравнению с нею совсем недавно, всего каких-нибудь три тысячи лет назад, на Алтае процветала богатая, культурная, классово развитая азиатская Скифия, считающаяся пока старше черноморской. Н. К. Рерих, всерьез занимавшийся судьбами человечества, говорил: «Алтай в вопросе переселения народов является одним из очень важных пунктов... И в доисторическом и в историческом отношении Алтай представляет невоскрывшую сокровищницу». Ныне она начинает вскрываться, однако, пере-

городив Катунь плотинами, неизвестно что мы безвозвратно потопим и погубим.

А Катунь все бежит и бежит, как тысячи лет назад, ее белые молочные воды, не успев отыграть на одних камнях, бьются о другие. Но не от кипения на камнях бела она, а от рождения там, куда мы сейчас летим, в вечных льдах на южном склоне Белухи. Только к концу лета и высветляется река, да и то не до прозрачности. Теперь подходило к августу, а ни на чуть она не прояснела, мутное течение было как с подпалом — не просто молоко, а молоко вареное.

День выпал солнечный, теплый без накала и ясный до звона, когда чудится, что лишь тронь глазом — и начинает тронутое звучать. И виделось сверху с каждым окином взгляда так далеко и четко, будто и не ты смотришь, а через тебя изливается зрение неба. Дальние развалы лысых гор (только через час пойму я, что это были еще не горы, а так, забава, разминка пред горами), копны сена в падушках, сосновые и березовые ленты вдоль Катунь, по правому берегу ровный натяг Чуйского тракта и завораживающее цветом, огранкой, кипеньем, мощью и страстью, взмученное и кварцево-сияющее сбегание Катунь. Вот возле Манжерока, селения, прославленного туристской песней, бьется она о порог, вот ходит продышными кругами, вот успокоилась, а вот опять в кудельном разлохмате набрасывается на валуны. И острова, острова... Низкие, наносные, каменные с отколами скал, голые и поросшие лесом, цельные и вправленные озерками, с песчаными пляжами и отвесными стенками, с причудливыми скальными фигурами и молодыми зелеными лежневками. Все это стекает вместе с Катунью, все многоголосо и слаженно звучит, зовет к себе, приветствует, жительствоует ярко и празднично в праздник лета, все проплывает и наплывает музыкой зрения и слуха до истязания.

Не верьте неверующим: злы оттого они, что не видят.

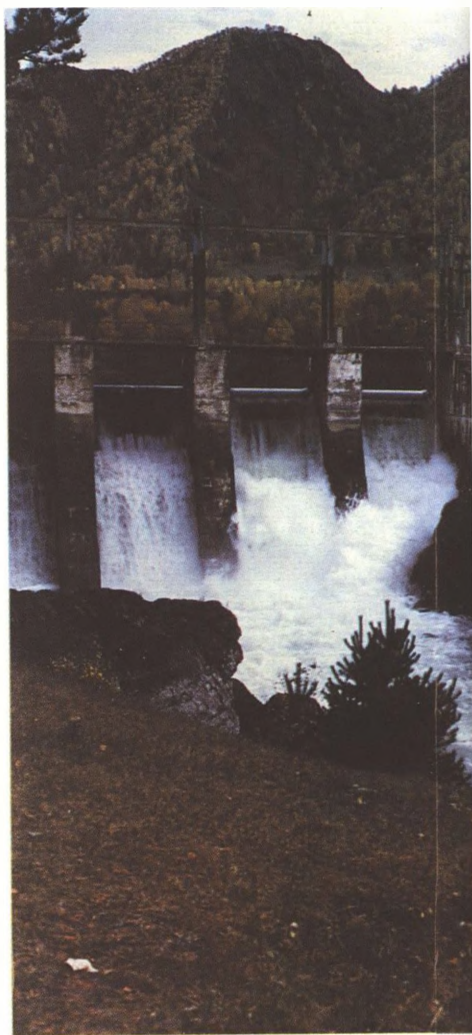
Неподалеку от Усть-Семы, где Чуйский тракт уходит от Катунь вправо, горы сплошь в лесах. Взъёмы над берегами то с одной, то с другой стороны решительные и широкие. Тут, над этим величественным росчерком, не веришь в могущество человека. Я поднимаю глаза на сидящего впереди директора строящихся ГЭС, но и он замороженно пристыл к окну, и я не решаюсь спросить его... Впрочем, я не знаю, о чем спрашивать, а движение спросить было произвольным.

Катунь и с отворотом тракта все еще обжита довольно густо. За поселком Чепош справа (по течению слева) широким полукружьем долина, поросшая лесом, с опоясом чистой полосы перед горами. Да, надо вспомнить, что первая ГЭС — не по началу строительства, а по карте Гидропроекта по каскаду — и должна быть Чепошская, стало быть, здесь могло разлиться водохранилище. Лишь накануне я прочитал легенду о происхождении названия Чепош. Шел будто утром человек и напился в этом месте из маленького родника, вечером возвращается обратно — и не отыскал воды. В досаде он воскликнул: чёёк-бош — эх, иссякла! Удивительно поступает действительность с легендами — будто следит за их причудливым продолжением.

И с высоты не увидели мы скрытую за лесом маленькую деревню Анос, где жил и работал алтайский художник Григорий Гуркин. Не пройдет и часа, покажут мне вертолетчики на подлете к Белухе влево, на восток: «Вон там, за теми скалами, река Юнгур, а за нею гуркинское «озеро горных духов».

...Под нами словно подернутые дымчатой тенью в отличие от темной зелени местных лесов фруктовые сады...

Над Чемалом, где санаторий и обслуживающая его и поселок маленькая гидростанция, снижаемся. Плотина кажется игрушечной и пропускает из притока чистой голубизны воду,



нежным выплывом освещает она Катунь. Строилась плотина в тридцатых годах при сосланной сюда жене «всесоюзного старосты» Екатерине Ивановне Калининой. Дважды, в 31-м и 34-м годах, под предлогом полечить легкие в горноклиматических условиях, приезжал сюда и сам Михаил Иванович. Не раз, должно быть, любуясь Катунью, стоял он вон на той площадке слева над обрывом, куда белой полосой пробита тропа. Есть на что полюбоваться: Катунь круто разворачивается навстречу Чемалу и, приняв его, огораживается по правому берегу скалой; левый, наносный, лежит низко и обвально, давая взгляду, как мало где по Катунь, потянуться и высмотреть и песчаный пляж, и кустарник, и лес — пока не упрется опять в гору. Ниже — теснина и взмывь воды.

Здесь, перед изгибом Катунь, и высмотрели проектировщики место для новой плотины, которую вычертили на сорок метров. Нет, Катунская ГЭС выбрана выше по реке, до нее мы еще не долетели, а в Чемале будет контррегулятор — та же ГЭС, но под другим названием, и уже не ГЭС, а привес. Летим дальше. По коридору Катунь тут и там ленточное обрамление сосняка, большой лес перебрасывается, как и горы, справа налево и слева направо, то прижимы, то растворы, а чаще одностворы по долинам впадающих рек, бег воды то успокоится, то наддаст, выгарбливая камни, на плесах все реже выстеленные ножицами фигуры загорающих, да и селения все реже и меньше.

Но вот и Еланда. Километрах в двух выше этой деревни и готовится строительство первой на Катунь ГЭС, одной из шести, которыми собираются перегородить реку. Снижаемся и ненадолго зависаем над створом. На глаз ширина здесь метров пятьдесят-шестьдесят — оказывается в два с лишним раза больше. Слева под скалой узкая дорога, в скале зарешеченная дыра штольни, на противоположном берегу невысокий курган с торчачими из него металлическими прутьями — по этой линии и намечается плотина. По ней, вероятно, уже несколько лет под немалым напряжением ходит ток человеческих страстей. Одинокая сосна на берегу у входа в штольню засохла, на нее накинут обрывок провода...

Накануне мы проехали тут берегом. Заглянули в штольню и постояли возле сосны, с напряженным вниманием всматриваясь в Катунь. Просится нажать здесь на чувство: мол, почудилось нам, что Катунь, предвидя свою судьбу, вздрагивает в этом месте, спотыкается и не скоро затем выправляет свое течение. Но нет: много где она спотыкается — такая река. Она слышит грохот взрывов при прокладке новой дороги, но и это не должно ее пугать: не впервой им здесь греметь, и не тише они были шестьдесят лет назад, когда ближним путем повели в эту сторону Чуйский тракт. Ближний оказался непроходимым — его оставили. Писателю Вячеславу Шишкову, который годы провел здесь при изыскании и строительстве тракта и громкую осанну пропел красоте Катунь и Чуи, поставлен ныне на берегу Катунь памятник. За несколько лет стал он такой же принадлежностью Катунь, как острова, дикие камни и деревья, как до того проложенная людьми дорога — будто и был тут всегда. Земля должна знать своих поэтов и строителей, тогда она будет знать и свое достоинство.

Нет, и взрывы едва ли пугают Катунь. Не понять ей, вольно рожденной и вольно живущей, что эту дорогу пробивают не под ее удобным боком, а — чтобы вонзиться в нее, и раз, и второй, и неизвестно сколько еще...

Валерий Иванович Чаптынов повез нас на дно будущего во-



*Чемальская ГЭС на притоке Катунь.
930-е годы.*

дохранилища. Леса там и верно немного, земля каменистая. В сухое лето трава, едва взойдя, тут же под солнцем и выгорает. Разлилось бы за берега от подпора на семьдесят километров, по сравнению с землями, которые ушли под воду от Братской и Усть-Илимской гидростанций, — раз плюнуть. Обречена одна деревня Куюс, мы доехали и до нее, открыли при въезде тяжелые металлические ворота — покотина до сих пор огораживается здесь от полей — и, вздымая за собой пыль, покрутились по улицам, затем вышли. Деревня невзрачная, с беспорядочным раскидом рубленных на скорую руку избенок. Много на нее слез не выжмешь, в этом приходилось соглашаться с Валерием Ивановичем. Местный житель, разумеется, рассуждает по-другому, и слезы у него не наши, экскурсионные, но в таких случаях, вероятно, следует исходить из здравого смысла. И, если исходить из здравого смысла, дело не в каменистой земле, не в лесном и урожайном уроне, не в степной голостойной деревеньке Куюс — не столько и не такое кануло с рукотворными морями в тартарары! — дело куда как в другом. Обжегшись на молоке, поневоле начинаешь дуть на воду. Не такое терялось, но не хватит ли терять, если можно без этого обойтись?! Главные пропажи на Катунь будут не от того, что удастся измерить и подсчитать, не ущемлением целого от изменения части — с частью-то какнибудь бы смирились. Только ничто, никакая малость в этом природном, редкостной удачи инструменте, как в скрипке великого мастера, не изымется без того, чтобы не испортить весь инструмент. Для людей деловой хватки, правящих бал, это пустая красивость, не больше, и на балу они обойдутся электромюзькой, но это не значит, что под их дуду мы станем плясать всегда.

Вертолетчики позвали меня в кабину, откуда видно и вниз, и вперед, и по сторонам. И видно: правильный, как от высадок, строй сосен по речке Эдиган, строй лошадей на туристском маршруте с седоками, похожими на поклажу, лоскутки засеянной пашни близ Куюса — как древние письмена, яркие палатки экспедиции, работающей на раскопках по дну будущего моря, обрыв старого Чуйского тракта... Дальше — бездорожье, пограничье, другой район, и в нем через небольшой разгон снова плодородье, сады, заселенность.

Перечислять ли и впредь катунские притоки и протоки, разливы и пороги — все, чем, как дерево, раскинувшее ветви, по стволу и кроне дышит, шумит и переливается река, считать ли по-прежнему краски и знаки, скалистые свесы и прибрежные переборы, искать ли сравнений им, перечислять ли зверье, выходящее по тропам на водопой, обмерять ли чувство, то восторженно, то молитвенно отзывающееся на родственность, словно отсюда и отсюда по капле тебя выносила Катунь и где-то затем что-то сбирало в душу, хоть и рожден ты в другой стороне?.. Но Родина — это не одно лишь место рождения, но и место родительства и предтечества. И сразу, как оказался я впервые на Катунь пятнадцать лет назад, потянулась моя память так, будто и я в далекой давности кочевал тут, да ушел по соседству и забыл. Так и должен, вероятно, чувствовать себя россиянин всюду по древней России. А уж нам в Сибири, где вся земля из края в край была под единой братьенью — кочевнической волей, и вовсе грех не узнавать пути переходов.

Мы продолжали вонзаться над узкой белой расстелью Катунь в каменистую страну, Катунь продолжала сбегать, берега, то и дело преображаясь, играя, перетягивая друг у друга скудную подольность, продолжали наплывать. Нет ничего более волную-

щего, завораживающего и обмиряющего, чем речные берега и особенно — горных рек, где все чисто, звучно, быстро и свободно. Что толку умиляться, восторгаться, ахать — здесь надо быть, набрать в легкие этого воздуха, обмужествоваться и облакаться этой чердыню. Все тут живет своей жизнью, все сияет, пылает, звенит, бежит и свисает по своим законам и надобности, все существует без смерти и глена, надо всем стоит бесконечность — и как не повлечься через все препятствия и версты, как в старину на святой Афон, чтобы утвердить душу!

Чем дальше вонзались мы, выше, мощней и изломанней вздымались горы, уверенней становился их росчерк, гуще лес. Если и осталась где-нибудь на Алтае «чернь», не пропускающая света пихтовая и кедровая тайга, она должна быть здесь.

И еще выше горы. Катунь бежит в глубокой расщелине. Тяжелые развалы, подпирающие друг друга, начинают подряд выгораживаться зубцами. Это расставленное вразнорост, но все возвышающееся и возвышающееся воинство — куда оно оборочено, какую сторону защищает? Это уже не земля в обычном понятии тверди, это ступенчатый восход к небу, монолитный и неизбежный, куда изначально подготовлялось подыматься или откуда спускаться богатырской ногой.

А пока туда летят над Катунью журавли. Мы успеваем считать их, два раза по семь, и прощаемся с ними и Катунью, отворачивая влево, спрямляя дорогу к ее изголовью. По реке Ак-Кем к Белухе ближе.

НАД ХОЗЯЙКОЙ ХОЗЯЙКА

Если Катунь — хозяйка-хлопотунья, кормилица-поилица, то Белуха — царствующая хозяйка, владычица, поклонившая себе огромные владения, надо всем вокруг распростершая свою волю.

...Летим над Ак-Кемом, и не проходит пяти минут, впереди является Белуха. Она не выплывает из-за ближних вершин, а как бы снимает с себя покров и в глубине и высоте разом показывается за царскими воротами сверкающей образностью.

Да, и в высоте. На приборе 1600 метров, у Белухи — 4500. Зависнув над скалами, начинаем подъем. Лесистые поставы гор с белыми шапками, весь этот могучий и недвижный надземный архиелаг сравнить не с чем, язык наш перед подобной архитектурой не имеет запасов, и то, что зовется величием, мощью, высотой, лишь стекая отсюда, получает эти названия. Но и здесь сток, и здесь наклонность и пригорбленность, вершина — выше.

Слева остается продолговатый вытав из ледника озера Ак-Кем, из которого берется река, и возле него четкой картинкой домики метеостанции и палатки международного альпинистского лагеря. Вертолет словно втягивает вдохом Белухи, эти великие изваяния, эти вымахи в небо, составляющие вместе единый и необъятный для глаза град, не могут быть мертвыми. Тут не природа, как привыкли мы видеть и понимать природу, она начинается ниже. Тут — над природой, единый раскрой ее и разнос на многие сотни и тысячи верст, рождение ветра, воды и земли, и, кажется даже, что времени, начало чистодува и чисторода, берущихся из вечности, выпоренное у солнца подлунное царство, космическая роспись...

Дышать и говорить трудно — не хватает кислорода. Но и смотреть трудно — не хватает зрения. Не можешь отвести глаз: воистину неземная картина — и непосильная для глаз, для их проводящих путей, все так несъемно и остается. Какую, должно быть, жалость и отчаяние испытывает космонавт, глядя на Землю со своей орбиты: все видно, но неподхватно, холодно,

чужим, циклопическим взглядом. И получается, что все — это ничего.

Мы подбивались к Белухе с северо-восточного угла. А казалось — изо всех сил отпячиваемся, но нас втягивает. Я видел почти на одном уровне с вершиной ее верблюжьей седловину с двумя горбами, видел с нашей стороны более чем отвесную стену, как говорят альпинисты, с отрицательным уклоном, и тяжелый навес снега над нею, острые контуры скальных разломов, черные, рядом с белым, пятна покатаей и морщи на белом... — так, вероятно, взобравшаяся на дерево букашка рассматривает человеческий лик и то, что представляет для нас красоту и совершенство, эстетическое и инструментально-познавательное, принимает за разрывы, разлом и выторчи.

Медленно и величественно разворачивалась Белуха. Мы обогнули ее с востока и зашли со спины, где она спадала покато и упористо. На уклоне невесть как висело озеро, за ним еще одно... не сразу я догадался, что это ледники, и тут же увидел источник Катунь.

Профессор Томского университета В. В. Сапожников, всю жизнь посвятивший изучению Алтая и первым поднявшийся на село Белухи, так описывает зарождение Катунь:

«Катунь берется из ледника Геблера двумя истоками: правый, несколько больший, вытекает из-под льда саженях в двадцати от конца ледника и бурно течет между ледяной стеной с одной стороны и нагромождениями конечной морены с другой. По рассказам, прежде у выхода потока был большой грот, но теперь он обвалился и растаял, оставив только небольшую темную щель неправильной формы. Левый поток берется также из-под ледника у его конца, но ближе к левой стороне. Оба потока шумно извиваются в каменистых руслах, пока не сольются вместе...»

Как удержаться, чтобы не подняться с ученым и его спутниками на питающее Катунь ледяное плато (экспедиция 1895 года):

«Толща льда, нависшего над горизонтальной трещиной, выпускающей Катунь, простирается до 8—10 сажен, и взобраться прямо на ледник опасно, ввиду возможности обвала, и трудно. Легче для этого воспользоваться мореной, хотя и это представляет свои неудобства. Громадные угловатые камни насыпаны в полном беспорядке; многие лежат неустойчиво и колеблются под ногами, открывая глубокие щели. Пройдя по морене несколько сажен, можно повернуть направо и взойти на ледник по одному из ледных хребтов между трещинами, которые идут по всему краю ледника, но совершенно безопасны, потому что их хорошо видно. Дальше от края крупные трещины почти исчезают, и ледник представляет ровную поверхность, источенную мелкими ручьями воды и усыпанную камнями. Крупные камни образуют невысокие ледяные столы, мелкие глубоко въедаются в прозрачный лед, а кучи щебня возвышаются в виде правильных конусов. Ближе к высокой средней морене ледник опять разорван глубокими трещинами, которые перед самыми камнями образуют сплошной ряд темных провалов, куда с шумом свергаются потоки воды, бегущие по льду. Иногда с моренной гряды обрывается подтаявший камень и с глухим шумом ударяется в воду на дне провалов».

Вот из чего берется Катунь, вот отчего вода ее бела. И сразу, в двух шагах от сплошного льда, появляются между камнями низкорослые стелющиеся пихты, ерник, кипрей и копеечник, чуть ниже тальник. Мутная Катунь извивается, оставляя в рыхлой наносной почве старые русла и находя новые, ветвится на протоки. Но, приняв справа отнугу с другого ледника, течет Катунь уже среди лесов и высоких, в рост человека, трав, все наби-

рая и набирая воду, и поворачивает на запад мощным течением, чтобы обойти белки громадной петлей удобными путями.

Ничего этого сверху, конечно, не видно. А только гигантский белый зверь с темными пятнами и полосами, распустив длинный пушистый хвост, прилег на склоне гигантской же горы и приподнял двуголовье, заглядывая в чертизну на другой стороне. Но и сверху Белуха подавляет. И нет ощущения, что ты сверху, а кажется: опустив глаза, стоишь у подножия. Можно подняться на нее, как многие и многие теперь, и не испытать победительности. Где бы ты ни был, она выше ровно настолько,

*Костюм «семејских»
(старобрядцев).*



сколько есть в действительности. Но еще больше, чем видно, Белуха действует чем не видно — какой-то осязаемой властительностью. Не зря алтайцы издавна испытывали перед нею священный трепет. Смотреть на нее, как на божество, считалось недостойным человека, приблизиться — арканом не затащишь. Уже в наше просвещенное время экспедиции, научные и любительские, не могли сыскать среди местных жителей проводников на Белуху: деньги — хорошо, но еще лучше — не связываться с «хозяйкой». Это она насылает ветры и туманы, в ее власти, когда таять снегам и зеленеть травам, в какую сторону и каким числом идти зверю, урожайным ли быть лету. Она направила свою любимицу Катунь в обход хребтов, подсказав и назвать их Катунскими, и, пока обходила, набрала Катунь такую силу, что некому стало с нею равняться. И это она, Белуха, волшебным растягом одну и ту же реку развела в разные стороны — и получилось две: Коксу пошла в Обь, Берель — в Иртыш, и даже опытный глаз не различит, где перегиб земли и как из болотного утолщения начинаются две могучие речные системы.

В восторженном оцепенении облетели мы Белуху и стали спускаться — над вытянутостью Кучерлинского озера, над рекой Кучерлой, взлохмаченной белой прядью устремившейся из озера к Катунь, над притихающей расшторченностью земли. Блеснуло слева озеро Тальмень, или Таймень, названное по рыбе, которой и теперь там, слышать, не скудно; я тянулся высмотреть речку Зайчиху, на которой стоит где-то и деревня Зайчиха, полностью в коллективизацию оставленная жителями в поисках Беловодья. И — не высмотрел.

На воздушной машине все быстро — и опять мы над Катунью. Теперь влево, встречь течению. Горы расступаются, долина все шире. И все спокойней и спокойней становится сама Катунь, пока не разбредается от воли на многочисленные рукава, поросшие тальником и лесом. Здесь — совсем другой мир. Слева село, справа село, пашни, заливные луга, сосновые боры, песчаные отмели — будто где-то далеко-далеко в равнинной Сибири.

Это — Уймонская долина, северный угол легендарного Беловодья.

БЕЛОВОДЬЕ

Тут начинается одна из самых ярких страниц русского заселения Сибири. Одна из тех, которые ныне почти полностью забыты и на которых старые шрифты, толкующие старые религиозные уставы, стояли рядом с тайнописью и знаками, писанными не рассудком, а порывом. Как человек, испытывающий беспокойство перед озарением, нетерпеливо и слепо подталкивает себя в вспышке — таковы и эти знаки, какими вперемежку с последовательным развитием сюжета творилась на протяжении двух веков красивая и грустная повесть о Беловодье.

Многие, слишком еще многие, и не зная, что это такое, при одном лишь звуке этого слова невольно вздрагивают, как от мистического оклика, напоминающего о неисполненном завете: пойдй туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что.

Мечты, как известно, бывают разные. Личные — ради небольшого, но достаточного для одного, желанного счастья. Общественные — во имя порядка и благоденствия коллектива. Ответственные — в чертежах и строительстве такого строя, который бы соблазнил и объединил народ. И все они смотрят в будущее, на продвижение к результату, какого никогда еще не бывало, к которому человек по своему духовному недоросту приблизиться раньше не мог.

Но были, оказывается, мечты, направленные не вперед, а на-



Из старых фотографий:

1. Бурят с луком.
2. Новый кафедральный собор в Томске.
3. Якутский шаман.
4. Томский университет.



5. Изготовление национального напитка у бурят.
6. Алтайцы.
7. Шаман.
8. Томский театр Е. И. Королева.
9. Вид города Томска.

зад, к тем временам, когда не давила на человека государственность и вольно было справлять жизнь, не запинаясь на каждом шагу об ограничительный закон, когда земли не были изнурены, леса обиты, а вера и уговор держали людей тверже и честней закона. В России с прибором земель под одну власть и тягло эти люди ушли в Дикое Поле, в низовья Волги и Дона, завели там свои порядки и промыслы и жили ватагой, взбурливаемой остатками кочевнической крови. Затем, когда открылась благодаря им же Сибирь, они кинулись за Камень и в полвека с небольшим огромный материк промерили с запада на восток полностью. Они торопились отыскать все новые и новые необработанные земли не только ради богатств, но и ради воли, пусть короткой, временной, а — найденной. Утаить эти земли и землицы было нельзя, приходилось сдавать их власти, под которой они не умели жить, и двигались дальше. Дошли до океана, но и океан не остановил их — и принялись присматривать, куда ступить и в его владениях.

К тому времени произошел церковный раскол. Патриарх Никон — и задумай, лучше не придумаешь — предоставил прекрасную возможность русскому человеку вслед за порывом физическим показать силу порыва духовного, оставшего на защиту своей прежней буквы и гребы с такой истовостью, какая могла быть только в нерядовой нации. Согласись государева власть не с Никоном, а с протопопом Аввакумом, начнись гонения на никонианцев — и новоявленные показали бы, вероятно, твердость и готовность сжигать себя живьем не меньшую, чем их противники. У молодой нации опухоль отстал новый орган, и хоть с той, хоть с другой стороны, но он должен был себя проявить. Внутри опухоли появился хрящ, он накреп в кость — и вот вам черта характера: упрямство до гибельности, вера до окаменения, воля до рабства — в угоду воле.

Гонениям подвергались староверы, за которыми стояли века авторитета буквы, — тем тверже была их уверенность и тем сильнее разрыв. Их отсылали куда ни подальше, но из надзорной ссылки они стремились уйти в еще большую глушь. Чем глуше, тем лучше. «Града настоящего не имеем, но грядущаго взыскуем».

Русская колонизация в XVII веке быстро прошла по речным путям в глубь Сибири и только после стала распространяться вширь. В XVIII веке ее составлял не столько промышленник, сколько ищущий удобной оседлости крестьянин. Особенно привлекали его богатые плодородной землей южные предгорья. Однако там, чтоб не пустить, наставлена была казачья сторожевая линия с крепостями, форпостами, редутами и маяками. Гора Пикет в Сростках, на родине Василия Шукшина, и есть место одного из таких постов.

Но «не пустить» — это уже позже, во второй половине XVIII столетия. А до того некуда было и пускать. Сторожевая линия представляла собой границу, южнее кочевали входящие в состав Джунгарии алтайские племена. Между русскими и джунгарскими властями происходили постоянные споры из-за земель, данников и проникновений подданных как с той, так и с другой стороны за линию. И та, и другая стороны, надо полагать, понимали прекрасно, что граница эта временная и не миновать ей опускаться вниз, вернее, подниматься в горы, а племенам навсегда откочевывать под цареву руку, тем более что часть их уже отошла к Сибири.

Странно слышать сейчас, когда мы и не представляем себе Сибирь иначе, чем в географической цельности, что в свое время Алтай или Хакасия были за Сибирью и только позже стали ее частью. Но тогда в названиях вмешивалась государственность:

Сибирью было лишь то, что принадлежало России, а что не принадлежало — не Сибирь, другой зверь.

И тут, чтоб разъяснить хоть немного путаную и вязкую историю присоединения и принятия под российскую власть алтайских племен, придется ненадолго вернуться назад, в XVII век.

Томск заложен был в 1604 году, Кузнецкий острог южнее по Томи — в 1618-м. Так одной ступней русские встали перед саяно-алтайским нагорьем, встали поначалу неудобно и узко, вторая приставилась лишь со строительством в рудных местах Алтая через сто с лишним лет Усть-Каменогорской крепости. Разумеется, как ни шатко было поначалу стоять на одной ноге, но присоединение северно-алтайских народцев началось незамедлительно. Уже в 1605 году в русское подданство перешли обские телеуты, объясачивание сразу же началось и вокруг Кузнецка. Сделают казаки вылазку, соберут дань и докладывают, что присоединили, а на следующий год надо присоединять снова. И это продолжалось в течение не одного десятилетия. В 1633 году боярский сын Петр Сабанский проник на Телецкое озеро во владения телесов и обложил их данью, но в 1642 году, когда он пришел туда снова, телесы и думать забыли, чьи они подданные. Но и во второй раз не поставил Сабанский на озере крепости, лишь выбрал для нее по Бии место — и опять все повторилось сначала.

Однако алтайским племенам на севере своей земли не позавидуешь: чаще всего им приходилось быть двоеданцами — платить ясак и русскому царю, и джунгарскому контайше. Не год и не два тянулась такая обираловка, а более ста лет. Уже и земли были решительно за Россией, пограничная линия проходила южнее, а по этническому ли родству или по привычке продолжали джунгарцы считать российских ойротов своими и облагать их алманом. Притом если ясак тянул по соболю с человека, то алман — по пяти соболей. И попробуй поперечь хоть царю, хоть хану.

Еще и при Петре Великом Джунгария не раз пыталась претендовать на отошедшие к Сибири земли, в том числе по Енисею, Оби, Иртышу и Томи. Это и заставило правительство укреплять южную сторожевую линию. К середине XVIII века она вклинивалась в Алтай, в Бухтарминскую долину, двумя полосами — Иртышской (от Омска до Усть-Каменогорска) и Кольвано-Воскресенской (от Кузнецка до горных демидовских заводов). К последней принадлежала и поставленная в 1710 году Бийская крепость при слиянии Бии и Катуня в Обь.

Судьба даже и могущественных империй непредсказуема, не говоря уж о таких вялых образованиях, как Джунгарское ханство. Сильное еще во времена Петра, к середине века из-за внутренних феодальных междоусобиц оно стало трещать по швам. Этим воспользовался Китай и в 1755—1756 годах разгромил Джунгарию. Разбой, мор, голод, оспа и паника охватили владения контайши, еще совсем недавно угрожавшего сибирской России. Историк С. Шашков пишет: «Все, что имело ноги и могло двигаться, бросилось в Сибирь».

На высоком Семинском перевале стоит памятник в честь добровольного присоединения Горного Алтая к России. Сразу же после разгрома Джунгарии 12 алтайских зайсанов (князей) обратились к русскому царю с просьбой принять их под свою власть. Так в 1756 году российские границы на Алтае опустились далеко на юг.

Границы опустились, но казачья сторожевая линия осталась. Частью поначалу из-за недоверия к зайсанам, племена которых пытались даже переселить на Волгу, частью затем ради обережения их самостоятельности. Рассказы о жестокости царского правительства по отношению к коренным сибирским народам

сильно преувеличены, а то и просто не соответствуют действительности. Поборы и гнет, разумеется, водились, но не в исполнение, а в нарушение закона со стороны администрации и торговцев, закон же, как правило, был к инородцам милостив.

Территорию в 110 тысяч квадратных верст по правую сторону от Кольвано-Воскресенской линии, то есть почти в прежние границы, отвели под «калмыцкие стойбища» (в старые времена алтайцев называли калмыками — вероятно, по схожести). Нашего брата, русского, туда не пускали. Для этого и пригодились казачьи сторожевые посты. Исключение было сделано для духовной миссии, обращающей алтайцев в христианскую веру, исключение сами себе взяли торговцы, устраивавшие за линией купеческие заимки, само собой разумеется, что крепость линии сразу же взялся проверять и мужик.

Началось с самого южного угла, где Акинфий Демидов завел свои знаменитые колыванские заводы и рудники, ставшие затем собственностью Кабинета его Императорского Величества. Как это и водилось в прежние времена, к заводам приписывались ближайшие деревни и шло приселение, а земли объявлялись кабинетскими. Радости было мало оказаться на этих землях: ты и не пахарь, и не рабочий, и хлеб с тебя спрашивают, и на горную повинность гонят. Это походило на то же крепостное право с той же закабаленностью. Мириться с нею подзаводской крестьянин не хотел, сибирский мужик не в пример российскому отличался своенравностью. Среди приписанных к тому же были ссыльные староверы, которые и вовсе не выносили никакого нажима.

В «Томских губернских ведомостях» за 1858 год (прежде Алтайский край вместе с долиной Бухтармы относился к Томской губернии) о начале этой удивительной алтайской колонизации рассказывается так:

«Сперва, около 90 лет назад (от 1858 года), поселились здесь четыре человека по р. Ульбе (горный приток Иртыша. — В. Р.), по набожной склонности; но вскоре один попался, а остальные ушли в дикие ущелья бухтарминские. Отсюда они стали ходить в селения, особенно в те, где жители были склонны к старообрядчеству. Здесь к ним за набожность относились с уважением, снабжали пищей и пр. Многие из жителей были склонены ими и переселились с женами и детьми к ним в неведомую дикую страну. В непродолжительном времени там, в неприступных, окруженных высокими горами местностях, собралось порядочное число новых жителей, преимущественно крестьян; были построены хижины по берегам рек Бухтармы, Белой, Язовой и др., колонисты занялись скотоводством и хлебопашеством. Они жили мирно, соблюдая строго старообрядческие правила, и жили в достатке. Правительство хотя и принимало меры против этих беглецов, но неприступность страны хорошо ограждала последних».

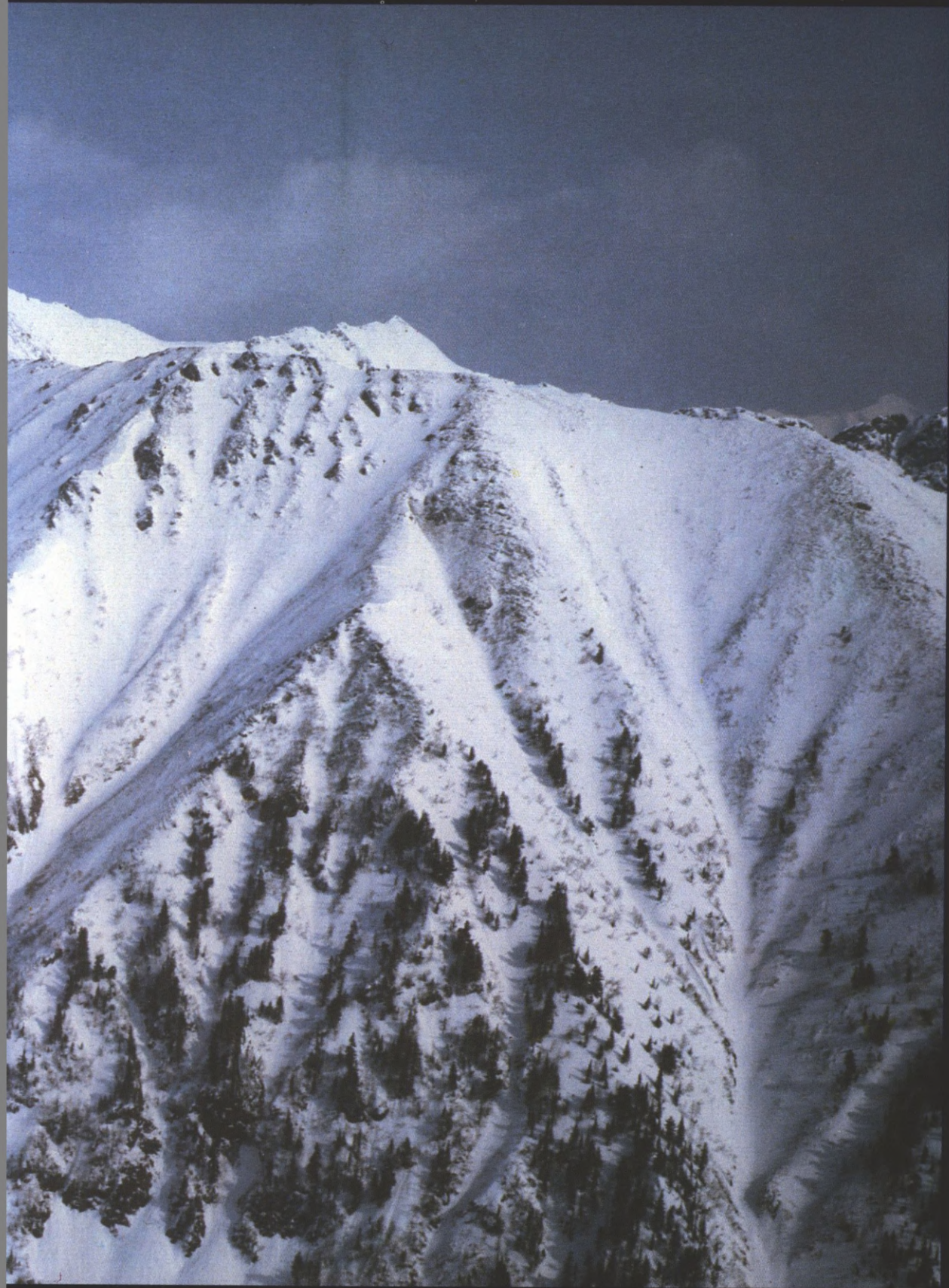
Это только одна история «каменщиков» (так называли беглых в горы), по Алтаю их можно отыскать много. Еще раньше, чем за 90 лет от 1858 года, раньше присоединения южноалтайских племен, правительство специальным указом от 1743 года запретило проникать за пограничную линию — проникающих, значит, было вдоволь. Одни уходили навсегда, так, чтобы и следа не обронить, другие в землях калмыков и киргизов (казахов) рубили тайком охотничьи избушки, с удовольствием при встречах вступали с теми в стычки, крали друг у друга лошадей.

Н. М. Ядринцев в статье «Раскольничьи общины на границе Китая» приводит случай, когда, скрываясь от преследований царской власти, община «каменщиков» пыталась отойти под власть Китая. Но ее почему-то не приняли. Надо сказать, что это случай слишком особенный, до последнего расплевать-













ства обычно не доходило. Сбежать за родные пределы — сбежали, но не для того, чтобы сменить подданство, а рассчитывая обойтись без всякого подданства. В родных пределах даже и в самых глухих и потайных местах дело постепенно подвигалось опять к заарканиванию. Поэтому около 1790 года депутация «каменщиков», представлявшая не один десяток скрытно существовавших деревень, вышла с повинной и просила через местную власть у государыни Екатерины II помилования и опеки. Высочайшим рескриптом в 1791 году императрица приняла их под свою руку и зачислила, как инородцев, в ясачные. И сто лет без малого русские по Бухтарме и Катунь в Уймонской долине платили ясак и пользовались заодно с коренными алтайцами льготами для малых народностей. Самая заметная из них была — освобождение от воинской службы.

Обошлось. И обошлось куда как неплохо. Но — не привыкло и не смирилось. Кто хоть раз ходил за Беловодьем, кто слышал о нем от отцов и дедов, никакой удачей тот не удовлетвуется. Это уже как чесотка. За десятки лет вольной жизни тут воспитался народ беспокойный, ловкий, смелый до отчаянности и непоседливый. А. П. Щапов выводит эти черты из влияния гор: «Вольный воздух с гор, дикая природа скалистой, страшной пустыни, оглашаемая только ревом диких зверей да гулом и журчаньем рек и речек, пустынный вид грандиозных каменных гряд, налегающих одна на другую, угрожающих обрывами, мертвое однообразие волнообразных, скалистых горных гряд, гребней и снежных вершин, дикая даль и глушь, идущая между скалами, по перелескам и лесам горным, дикие пещеры — все это каждодневно действовало на здоровые, мощные натуры горных каменщиков и дикостью своей естественно одичало их...»

Как бы то ни было, но смириться со своим подвластным положением ни уймонцы, ни бухтарминцы не могли. Кто находит самородок, подзревает, что копни он чуть дальше — нашелся бы много больше. Кто открыл землю почти обетованную, наиболее плодородную («Урожай сам-десять в этих местах средние, но родится сам-двадцать и сам-тридцать», — подсказывает Н. М. Ядринцев), с травами выше человеческого роста, со сладкими медоносами, целебными корешками и верхками, с богатством зверя и боровой птицы... — нет, не может тот не истязаться, не упустил ли он страну еще краше и плодоносней. Один вид исправника или урядника, напоминающий хоть и о необременительном, а все равно ярме, одно соседство с вероотступниками, одна бумага из волости, превращающая тебя в барана перед очередной стрижкой, заставляли этих людей вожделенно смотреть в горы и пьянеть от воспоминаний о былых поисках.

Беловодье!.. Это было как зов ушедших и невернувшихся, как стон истомленной женщины, как смутный проблеск, как образ и свет, как удар, как укор, как толчок и как свет, который нельзя пропустить дальше волшебной цифры.

О Беловодье написаны романы. А сколько осталось воспоминаний, документальных записей, свидетельств — и как уходили группами и в одиночку, семьями и селениями, бродили бог весть где месяцами и годами и, оборванные, обнищавшие, опустошенные, поредевшим числом, оставляя на звериных тропах могилы, возвращались обратно. Возвращались, кляня тех, кто красивыми посулами смутил и увлек за собой, встали снова руками в хозяйство, в пашню и пасеки, утверждаясь, что там и рай, где пчела... Но чем больше дней отсчитывалось от возвращения, тем тверже, сильнее, звучнее нарастала уверенность: не показалось. Есть оно. Но не показалось. И если подобрать самых верных правой вере, самых надежных и чистых — должно показаться.

«Там, где кончаются бесконечные леса и поднимаются высоко-

ко-высоко скалистые горы, где бурно бушуют горные реки и потоки, с белою пеной прыгая по камням, где простерлась неведомая никому пустыня, где-то там за китайской границей, в непроходимых дебрях лежит загадочная земля, называемая Беловодье. Не знает этого места никто, не заезжает сюда заседатель, а между тем зашли как-то русские люди и живут привольно. Много земли у них и угодьев, и нет здесь тягостей и тяжелого крестьянского горя. Есть здесь храмы, и звон колоколов будит звуками пустыню. Никто не знает Беловодья, знает его только раскольник и русский крестьянин, пробравшиеся в него».

Это опять Ядринцев, который признавался: «Мои глаза обращены постоянно к синющим вершинам Алтая, где оставлено мое сердце».

Но поиски Беловодья не были совсем уж бесплодными. Так прежде всего были заселены в горах плодородные долины, в том числе и Уймонская. В погоне, казалось бы, за легендой, за миражем, за мифом русский крестьянин все придвигал и придвигал к китайским границам свои угодья и поселения, а затем перешел и за границу. Когда-то верховья Бухтармы и Иртыша принадлежали Китаю, но еще до того, как отошли они по договору к России, их сделал русскими мужик. Он провел свою дипломатию, которую государственным мужам осталось лишь оформить, и добился этого самовольностью не в глубокой старине, а всего лишь в прошлом веке. Не оставил он нам имен, этот неутомимый сведыватель, искатель, мечтатель и проныра — вернее, имена его сдавлены, как в могиле, в архивных делах о беспаспортных и беглых, не услышал благодарности ни в свое время, ни после, и прибыток его, которым мы пользуемся, не получил славы, и последние холмы над ним давно сровнялись с землей, в отличие от древно-древних чудских курганов, разбросанных по Алтаю... А только и оставил он нам — красивое слово, все еще не отзвучавшее, не померкшее и не остывшее, все еще волнуемое кровью дальним неумолчным зовом...

Здесь, в горах, в окружении могучей и чистой природы, среди удобительных условий и здоровых трудов, и человек должен был взрасти на иных дрожжах. Об этом с удивлением пишет все, кто там бывал. У Ядринцева: «Население это крупное, рослое, атлетического сложения. На Бухтарме известен один охотник, напоминающий богатыря». У него же в другом месте: «Народ в этих обществах отличался рослостью, здоровьем и отличительной силой. В Алтае мы видели девицу аршин в плечах, поднимавшую 12 пудов». У него же: «Трудно было не залюбоваться на это сильное, могучее население, а затем мы перенесли глаза невольно на окружающую его могучую природу». У Щапова: «Горы с их скалистыми защитами невольно внушали им бесстрашие, смелость, отвагу». У М. Головачева, этнографа: «Здоровью и мускулатуре одного из них — Ивана (проводника) можно позавидовать: из этого рослого, плотного детины без сомнения вышло бы если бы не три, то, по крайней мере, два средних алтайца. Лишь горный климат и привольная жизнь, которой неизвестна безысходная, гнетущая нужда, могут создавать таких молодцов». Щапов, рассуждая о влиянии гор на характер человека, явно преувеличивает в угоду своей схеме разбойность алтайских «каменщиков», но и со смиренным правом, с одними молитвами в такие глубины в скалах и за скалами было не проникнуть и не утвердиться. Что смелость гор передавалась его жителям, как и всему, что росло и ходило, оспорить, разумеется, нельзя.

Смелость может передаваться, а атлетизм, богатырство? Из чего они брались? Да из тех же здоровых сил, которые составляют природу и занятия. Преследование зверя, дальние походы за припасом и взглядом, богатые пасеки с янтарными медами,

жизнь в высокогорье, где все чисто, свежо, целебно и изначально, воздержание, внушенное строгой буквой староверия, духовная распрямленность, сказывающаяся на распрямленности физической, — было чему влиять на возраст кости и возраст жизни. Жили и верно подолгу, силы не теряли до глубокой старости, так с румянцем на щеках и умирали. Бабы гарцевали на лошадях, как амазонки, рожали помногу, и не червячков, из которых потом с трудом, как за века эволюции, вызревает подобие человека, а колобков, которых еще до ног в седло же и подсаживали и мчались с ними на пасеки.

М. Головачев в очерке «В горах Алтая» рассказывает о случае, когда среди лета обвальным снегом в горах отрезал от спусков четырех путников — трех алтайцев и крестьянина-старовера. Припасы кончились, алтайцы закололи коня. Старовер несколько дней голодал, но конину, как «поганую еду», брать отказывался.



вался. В конце концов не выдержал. Спутники спаслись, вернулись по домам. В раскольничьей деревне старики вознегодовали на своего брата, считая, что следовало умирать, но не погнить кониной. История эта кончилась благополучно: виновного «очистили» общими молитвами, а бывало, что не прощали и изгоняли из общины.

Старовер не пил вина, не курил табаку, не надсажал душу сомнениями. Чай пил только из корней и трав. Темные прошлогодние листья бадана, золотой корень и красный корень давали чаю и настой, и крепость, и девятисильность. Алтайский рас-

Катунь: река или ГЭС?

кольник стоял на своих уставах как скала. Когда официальная церковь стала относиться к нему терпимей и в среде кержаков началась расхлябанность, он устроил новый раскол, раскол в расколе, и отстоял свою фанатическую крепость. Так бывало не раз, так появлялись все новые и новые толки, непримиримые к обмирщению, доходящие до последней черты аскезы.

А. Новоселов, хорошо знакомый с алтайским староверчеством, в одном из своих очерков рассказывает, как ездил он в женский монастырь поморского толка, в котором греховной пищей было объявлено не только мясо, но и молоко. Монашки обходились исключительно грядками. Он же наблюдал, как, возвращаясь из поездки в другое село, где легко обмирщиться, старообрядец-поморец накладывал на себя епитимию — каждый день отбивать тысячу поклонов — и спасался только таким образом.



*Сростки. Шукшинские дни.
25 июля. 1989 года.*

В Уймоне и сейчас старообрядство не погасло совсем. Сохраняется оно, естественно, среди стариков, которые и сегодня держат в доме «чистую» и отдельно «мирскую» посуду, для себя и гостя. Не признают ни радио, ни телевизора и по отношению к телевизору, конечно, близки к истине, что им управляет дьявол. В Верх-Уймоне и кладбище поделено на две половины — для «добрых» и «мирских». Есть дома, отказывающиеся от электричества, и старики, отказывающиеся от пенсий. Там же, в Верх-Уймоне, мне случайно, потому что ничего необычного здесь в этом не видят, выдали прошедшей осенью ка-

зус с одной старухой. Засаливала она в кадку огурцы, уложила один к одному, бочок к бочку девять ведер, последний возьми да и выскользни из рук, когда обмывала, и угоди в помойное ведро. Оттуда каплей брызнуло в кадку. И все девять ведер старуха без раздумий отправила на свалку.

Над подобной крайностью и пережиточностью в наши сиятельные дни можно бы и посмеяться, и позабавиться, но... не пускает душа к смеху. Эти порядки и строгости складывались не из одной лишь темноты и дурости. Все, что есть в народе, даже в части его, есть и в нас, мы носители всех его расколов и соборов. Дерево, откладывая годовые кольца, вписывает в себя не просто счет, но и характер времени; в человеке, как в отзвуке и отсвете, повторяется каждый шрам и каждый взмах народной судьбы. В нас сидит и суровый раскольник, и общеввер, и нововвер, всяк со своей молитвой и правдой. С чем согласиться, с чем нет — твое дело. Не соглашайся, бери правду собственную, но и к ней прийти помогли тебе и искренние заблуждения, и искренние побуждения народа. И только представить: сколько нитей тянется от отца с матерью к их отцам и матерям, да вдвое больше и всякий раз вдвое больше к их отцам и матерям — нет, ничто не обежит нас, все единым итогом с нами вместе живет.

А и как не отдать должное, не снять шапку перед выдержкой и мужеством этого народа. Мы привыкли: слаб человек. Нет, крепок человек, показало старообрядство, явив такую стойкость в вере и нравах, какой, пожалуй, нигде в мире больше не рождалось. «Дуб-народ!» — отзывались о нем, и он сам отзывался о себе. Соппротивление, избранность, гордость стали его натурой, жертвенность ничуть его не пугала, в характере старовера готовность к жертве была так же близко, как в нашем — готовность к отступлению.

Рядом с Верх-Уймоном есть село Тихонькое. Сельцо небольшое, возле лысой курганной горы, приветливой и домашней. По легенде (вот что обидно: и прошло-то, быть может, всего лет полтора, а уж надо ссылаться на легенду), старожители, когда допекли их за веру, отрыли общую могилу, оделись в белые одежды, справили последнюю молитву и спустились всем миром в ров, а уж оттуда сбили подпорки, которые держали землю.

Рерихи в 1926 году провели в Верх-Уймоне несколько недель, и местный народ произвел на Елену Ивановну настолько сильное впечатление, что она вспоминала о нем до конца своих дней. Сам Николай Константинович видел в Горном Алтае и особенно в окрестностях Белухи природную и духовную святиню, влиятельную на всю планету, и так убедительно об этом сказал, что вызвал уже в наше время паломничество в Уймоонскую долину.

Здесь невольно ищешь подтверждений, не заглянула ли легендарная слава этой страны в дни нынешние. Что-то находишь, что-то осталось лишь в отголосках. Народ крепкий, не потерявший вкуса к работе и силы в руках. Сейчас в Верх-Уймоне совхоз, до того был колхоз, но и при колхозе и при совхозе не бывало случая, чтобы хлеб на корню уходил под снег или оставались недоеными коровы. И самые лучшие работники — из старообрядческих семей. Нравы, конечно, не те, что прежде, нравы, как и всюду, присели, но не до той отметки, что всюду. На кладбище, сильно запущенном, поросшем бурной травой, бросилась в глаза из последних захоронений общая могила двух сестер-доярок, которых разом отправил на тот свет муж одной из них, озверевший от водки. Больно кольнуло, что был он из местных.

Заметилась, однако, и приятная черта. К староверным относятся не просто без злорадства и насмешки, а — с пониманием, в

последние годы чуть не с гордостью: наши и наше. И сама из того же корня произходя, нынешняя управа находит ума не бросать в свое прошлое побивающие камни. В Верх-Уймоне самый красивый и большой дом — краеведческий музей, а в нем старины ничуть не меньше, чем социалистических преобразований, и выставлена она без объяснительного вранья, как заведено еще почти повсеместно по всем нашим палестинам и алтаям.

В стране Беловодья отдал и я дань поискам его в людской памяти. И можно бы сказать, что не нашел: отмалчиваются старики, иронически улыбаются молодые. Но взгляд туда, в горы. Быстрый невольный взгляд, как бы удивленный: кто ж теперь о такой сказке спрашивает?

Уже после поездки в Уймон познакомился я в Горно-Алтайске с директором местного сырзавода (ах, какие сыры варят в Горном Алтае!) Эдмундом Вильгельмовичем Фолем. Он из немцев, живой, энергичный, со спрятанным далеко за подвижностью и тренированностью возрастом. И оказался он из тех сумасшедших, которые плохо спят, если осталась на Алтае хоть одна река или гора, не промеренная их ногами. Мы говорили то о горах, то о сырах, но при прощании Эдмунд Вильгельмович не вытерпел:

— Не хотите будущим летом присоединиться к нам? В верховьях Чулышмана есть «снежный человек». Это совершенно точно. Собираемся познакомиться с ним.

А я представил: бесприютно и неустанно бродит это неотступный беловедец — одичавший, укрытый звериной шкурой, высмотревший глаза...

ОЗЕРО ГОРДЫХ ДУХОВ

Когда вспоминаешь Байкал, когда ищешь ему сравнений, само собой приставляется сразу Телецкое озеро. Не на равных, нет — равных ему и в мире не найти, но как младший брат, как одной руки выплеск, одной родовой семя.

Алтын-коль — так звучит на алтайском это название: Золотое озеро. А Телецкое — от телесов, кочевавших по его берегам, которых дважды покорял в XVII веке боярский сын Петр Сабанский. Сейчас алтайские племена перемешались, стали на одно лицо, а прежде держались они своей стороны и отличий цепко, и телесы были племенем многолюдным и сильным.

Почему Золотое озеро? Есть легенда, повествующая, как в тяжелый голодный год пастух нашел самородок золота и пытался обменять его на еду. Но не мог — кругом царила такая же бедность, на золото смотрели как на обычный камень, которым голода не утолить. С отчаяния пастух выбросил самородок в воды этого озера, с тех пор оно и стало называться золотым.

Эта легенда настолько бесхитростна, что ее вполне можно принять за быль. Мне рассказал охотник-промысловик из Июгача — и я поверил ему, как всего два года назад, возвращаясь с дневной ходки в зимовье, он заплутал, выбился из сил, а вдобавок еще и провалился вместе с лыжами под обрыв. Лыжи, к счастью, не пострадали. Нечего было и думать, чтобы подняться обратно, откуда свалился, перед ним высилась стена. Охотник двинулся под уклон и вышел на почерневшую и полуистлевшую зимовейку. Неподалеку, наморозив на камнях наледь, пробивался ключ. Оглядевшись, тронул мой рассказчик за дверку — она, как в сказке, и открылась-отвалилась. Внутри было темно, резкий дух стоял плотью. Охотник долго присматривался, с трудом различая каменку, лавку, столик, нары. На нарах что-то просвечивало. Он сделал еще шаг и отпрянул. Перед ним, местами прикрытые лохмотьями тряпья, местами открытые, лежали останки человека. Уже после, отдышавшись на воз-

духе и снова вернувшись, он обнаружил еще одно, что заставило его обмереть. На лавке у изголовья был ссыпан в банку намытый золотой песок. Можно предположить, что старатель-одиночка в тяжелой немочи предвидел свой конец и выставил плоды трудов своих, погубивших его. Я поверил охотнику и в том, что он, ничего не тронув, в испуге бежал, потому что сделал бы на его месте то же самое. Отыскав под ночь свою охотизбушку, как называются теперь зимовья, он передал все, что с ним произошло, товарищу, вместе они несколько дней подряд рядили, как быть, и решили оставить старателя вместе с его баночкой в покое.хлопот не оберешься. Забыть — будто ничего и не было. Больше всего меня убедила концовка рассказа. «И знаешь, — за два года он так и не остыл от удивления, — пошел соболь. Не было, две недели попусту мяли ноги, а после этого — пошел. Хорошо добыли».

Тем, кто недоверчиво над этим рассказом усмехнется, добавлю: ну и что с того, если придумал? Могло такое быть? Могло. Предгорья Телецкого и этим богаты, старательствовали здесь густо.

Но прав, вероятно, писатель Владимир Чивилихин, считавший, что золотым Телецкое называется не от золота, а, как и красное, — от красоты. И еще: от ценности самого главного теперь на земле богатства — вод его, чистых и многих, собирающихся с гор реками, речками, ручьями и водопадами.

Если проплыть по озеру от начала и до конца, да не по-туристски, гоголем-петухом крыльями хлопая подле пеструшек, а внимательно вглядываясь в воду и берега, то покажется, что от покорительских бед последних десятилетий уцелело Телецкое. Нет возле него целлюлозных комбинатов, нет полей, обрабатываемых химией, и железная дорога ни с какой стороны не подошла, и весь почти правый берег давно отдан под заповедник. Покажется, что в отличие от Байкала Телецкое озеро само позаботилось о своей сохранности. Ниоткуда к нему не подступиться, только в одном месте и оставило оно широкую долину — в истоке Бии, а больше и нет ничего для промышленного обустройства, любящего приволье и барство. Только в одном месте оплошало Телецкое, но, судя по всему, дорого ему этот промах обойдется. Там, в истоке Бии, и присел лет двадцать назад, как инопланетный корабль, Горно-Алтайский опытный комбинат по комплексному использованию кедровой тайги. Вот как звучит! — музыка, да и только! На деле это обычный леспромхоз, прячущий свое истинное лицо за малыми и хитрыми добавками, а практикующий уже давно изведением прителецкой кедровой тайги. Кто помнит по очеркам Владимира Чивилихина знаменитый Кедроград, задуманный и начавший жизнь и верно как опытное и комплексное хозяйство, может преклонить голову еще перед одной могилой, погребшей благие намерения.

В сравнении с Байкалом Телецкое и верно как младший брат. Все в нем почти то же, что и в Байкале, но меньше. Меньше воды, и прозрачность ее меньше, а живности и намного меньше, меньше красок и переливов, рек и речек, ветров и течений, глубины с шириной, а островов, не считая отбоев от скал, нет и вовсе. Нет и нерпы. Если Байкал — это оратория, то Телецкое озеро — баллада. Оно строилось двумя начинами и сочинялось в двух частях: в первой провозглашалась власть, во второй являлась милость. С юга на север длинным коридорным концом в пятьдесят километров озеро глубоко и сурово, затем, как нога в колене, сгиб и мирный поворот на запад. Южный коридор сплошь в скалах с узкими выглядами по речкам и редкими террасами по восточной стороне, северное колено схоже с широкой рекой — в реку, в Бию, и переходящее. Там и там не отвести от берегов глаз.

Но у Байкала и Телецкого один архитектор. Они располагаются на одной высоте, имеют по одной главной питающей реке (Селенга на Байкале и Чулышман на Телецком) со многими притоками и, как во всяком озере, по одной расходной (Ангара и Бия). Похоже, Бия замышлялась попервости раньше — в месте колена: там, как и в истоке Ангары, громоздится подводная скала. Но — передумал создатель и добавил воды. Вот отчего не вышла скала, как у Байкала, наружу и не дала свой Шаман-камень.

Уж чего с избытком на Телецком — скал, оно все лежит в каменном обрамлении. И оно сохранило лучше, чем Байкал, старые свои, дорусские названия. Плынешь, смотришь по карте, спрашиваешь, вспоминаешь — и вызваниваются они самородной музыкой, получающейся от ветра, солнца, воды и камня вместе: Яй-лю, Кор-бу, Бе-ле, Кы-га, Кам-га... А если пропустить теплоход с туристами, с которого гремит, оглашая горы, царица эстрады, и переждать, когда смолкнет камнепад, вызванный ее голосом, да постараться забыть о только что миновавшем испуге — мало-помалу родятся чистые звуки и сложатся в чистую песню, глаза узреют праздничные картины, и заблудишься ты во временах и народах...

Все меньше мест, где можно среди природы отвлечься от трагедии Земли. Все больше ран и поражений от бескровной войны, необъявленной, непризнанной и бесконечной до конца жизни. И, когда пропустив теплоход и забыв о нем, окунешься ты в уцелевшую купель и обитатель, не радость чувствуешь, не счастье, не покой и удачу, но выползает душа, обезголосевшая от страданий и страха, отверженная, сморщенная и жалкая, и примащивается робко на самом твоём краешке, как над обрывом, и тихо, недвижно смотрит и слушает. Нет, не смотрит и слушает, а купается во всем том, что перед нею, отмывая страдания и забвение. А если не вспугнешь ее словом или грубым воспоминанием, то и запоет-запоет забывчиво серединой меж радостью и печалью, с пронзающей струнностью и струйностью высвечивая что-то забытое или утерянное. И коль почувствуешь и услышишь ты ее до обморока и оцепенения, не прими, что это к худу. Когда бы жили наши палестины и алтаи, жили бы и наши души.

Как сквозь заворожь и обморок увидишь ты древнее видение: с огромной высоты, белопенный, крутокипящий, в тугом изгибе падает мощный поток и разбивается о камни, скатываясь по ним остывающим сливом. И себя, как вечного странника, обнаружишь сидящим на валуне под водопадом, мокрого от брызг, неотрывно следящего, как в замшелом берегу медленно и тихо двумя потоками навстречу тебе плывет река. И вдруг врывается грохот, вздымается высота и обрушиваются с нее, разрезанные скалой, два бешеных вала, посредине ударяются о террасу и двумя же гривами ухают вниз. А что отплеснуло верхним разрезом и террасой, что выжало из камней и трав — ручейками и каплями, и каждый, каждая со своим голоском догонно звучат и стекают отдельно, так же ударяются внизу, так же разбрызгиваются, спохватываются, собираются и идут в общее русло.

И удивишься детской потребностью радоваться и удивляться: неужели это никогда не кончается? Неужели и сто, и тысячу лет назад было столько же воды и высоты и столь же явственно выговаривал водопад в тяжелом грохоте и подголосках свое имя: Корбу! Кор-бу! — как молот над наковальной с пристуком выговаривает, чем он занят.

И всюду, спускаешься ли на юг, как мы, поднимаешься ли на 185





север (а по сходу воды так и наоборот — на север спускаться: заповедная сторона, где Корбу, потому правой и считается) — всюду то разлохмаченные взбитые гривы, то аккуратные тонкие косички, то короткие завесы водопадов. Весной больше, к осени меньше. И посередине лесистого склона, теряясь затем в спокойном течении, и с навесов над озером, и высоко и далеко над головой — картинно изгибающиеся и застывшие, как мрамор, выдалбливающие ущелья и отворачивающиеся в сторону, чтобы, поколесив, скатиться в озеро как ни в чем не бывало журчащей по камешкам речкой.

И скалы, скалы... озеро зажато ими до сдавленности. Заповедная сторона еще с приклоном, там есть где и избушку поставить, и огород вскопать, и тропу промять — все, правда, из милости, но все же, а в урочище Беле так и совсем подарок — прилавок километра в три длиной... С левой — никакой жалости, сплошь наворот скал, огромных, мрачных, изрезанных ущельями и разломами, побитых обвалами. Вода, едва успев собраться в течь, принуждена падать. Скалы то подступают к озеру отвесно, то с приступом из набросов. Камень в лишайнике, буром и желтом, много бадана. Снова и снова поражаешься, как мало надо дереву, чтобы уцепиться: на голом, кажется, камне и листовеннице, и кедр, а рядом кусты маральника, черной и красной смородины, трубочки дикого лука, пучки ревеня. Нигде ни просвета, взгляд упирается только в стену. Но уж у воды, у берега — и заливчики, и гроты, и диковинные каменные фигуры, выточенные волной, и воротца, и нависающие козырьки, и пробующий намыться в пляжик песок...

А выглянет солнце — нет неласковости ни на том, ни на другом берегу. Все отмякает и расцветает, заговаривает и запекает, все соединяется в нераздельную волшебную картину.

Мы ночевали в Колдоре. Это неглубокий залив в бийской части Телецкого неподалеку от поворота. Здесь кордон в устье речки и дом лесничего, но стоит этот дом так, что, и видя, его не видно, он словно сросся с берегом. Зато хорошо видны два аккуратных строения с мансардами — не избушки и не домики, а картинки, в солнце и ненастье горящие самоцветом дерева. И рядом банька. Это лесокombинатовская заимка для гостей. Много знаменитостей с явными и тайными заслугами перебивало здесь, и все остались довольны. Внутри смоляной дух, а выйдешь наружу, да спустишься с деревянного помоста по широким ступеням на галечник, да окинешь взглядом всю открывшуюся перед тобой с готовностью красоту, да вздохнешь глубоко и жадно, впитывая запахи воды, тайги и камня, да прислушаешься к почесам о берег слабой волны — и обо всем забудешь, кроме того, что есть на свете еще благодать. А как попаришься в баньке, да окунешься раза два-три в чем мать родила в озеро, смывая последние сомнения и тревоги, а потом отведаешь ухи из телецкого сига, сдобренного налимьей максой, и уж под конец, изнемогая от сытости и удовольствия, запьешь таежным чайком на корнях и травах — и готов: хорошо-то как! Да дьявол с ним, с комбинатом, не вырубят, поди, он весь кедр подчистую, что-нибудь да останется. С тем и уснешь, убаюканный волной, ветром и приятными воспоминаниями от приятных людей.

Утром по пути в кедровник-резерват к нам завернул Евгений Васильевич Титов, один из первых кедроградцев. Здесь, в прителецкой тайге, и был в 1960 году организован Кедроград, слава о котором (во многом благодаря очеркам В. Чивилихина) облетела в то время всю страну, — огромное хозяйство с огромной

и в первую очередь использовать кедррачи, брать от них богатство, ежегодно восполняемое тайгой, — орех, масло и живицу, пушнину, маральи панты, травы и корни, мясо и птицу, ягоды, почки и меды. Через пять лет после организации в Кедрограде работало около тысячи человек — и не случайных, собранных не рублем, а радательным отношением к лесу, хозяйство стало прибыльным, принялось уверенно расширять и увеличивать сборы с тайги, не увеличивая рубок. О Кедрограде говорили, хвалили, награждали, перенимали опыт, начинали создавать по его образцу другие хозяйства. Но...

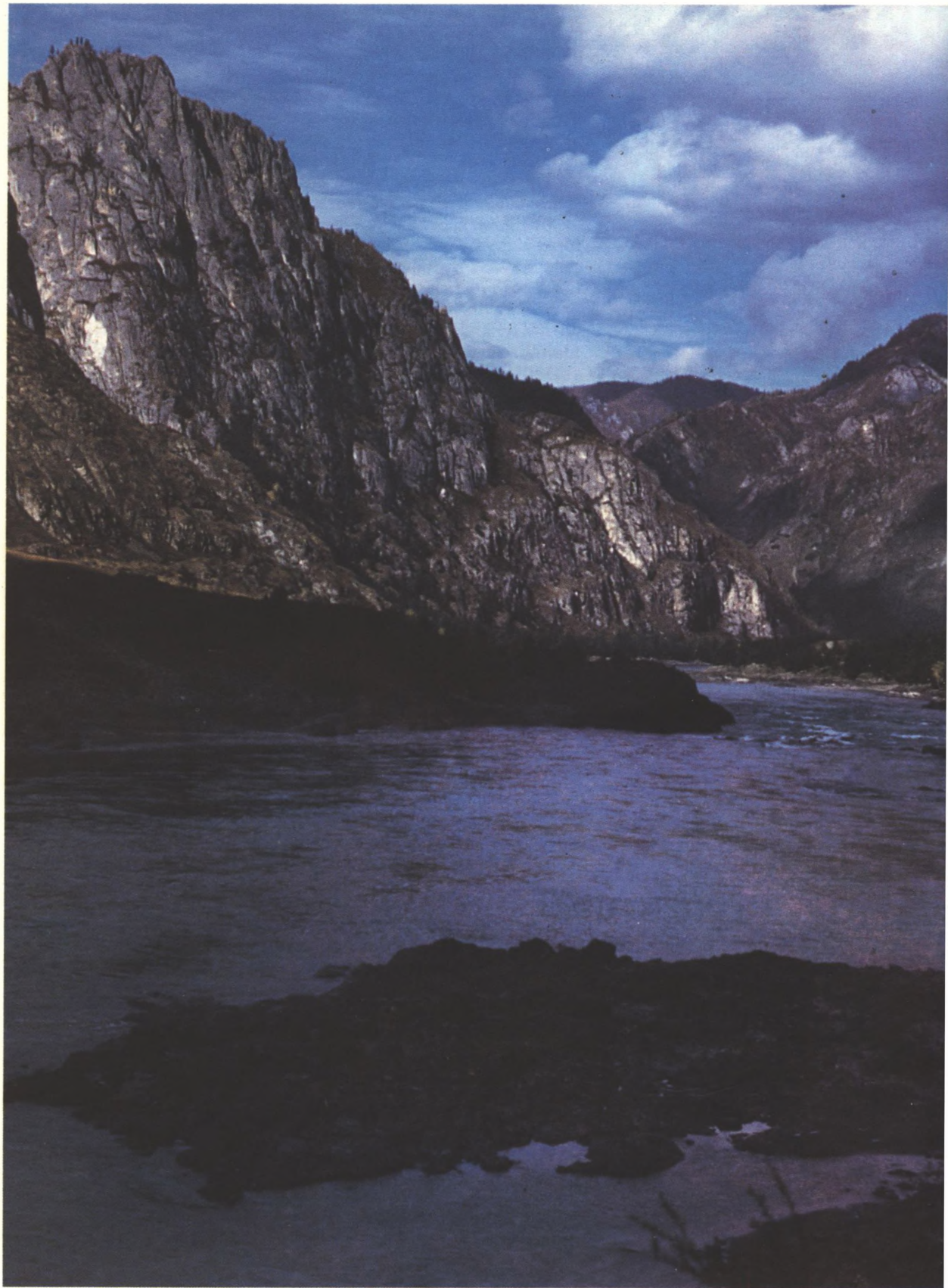
Все в таких случаях обычно «но» и кончается. Как кость в горле стоял Кедроград у краевого управления лесного хозяйства и у его тогдашнего начальника В. Вашкевича. Да и у министерства тоже. Одну лишь выгоду знали они с леса — кубометры, на них и стали сворачивать энтузиазм. Кедрограду была уготовлена участь кедропрода, начались сплошные вырубki, от так называемого побочного пользования (орех, мясо, пушнина, ягоды) остались одни крохи. «Ошибка» выпускников Ленинградской лесотехнической академии, вспомнивших с созданием Кедрограда старое народное лесопользование, была исправлена, все пошло вновь по обычной лесопольвательной колее.

А ведь это кедр, царь тайги, красавец, кормилец и хранилец, и всего-то занимающий менее трех процентов от общей площади наших лесов! Но и те нещадно вырубаются, несмотря на научные обоснования, предостережения и крики о помощи. Сто лет назад на пароходах только из Бийска и Барнаула вывозилось более ста тысяч пудов кедрового орешка, сейчас комбинат заготавливает его в год тонн сорок-пятьдесят и считает, что много.

За двадцать лет, миновавших после падения Кедрограда, судьба разбросала его граждан и основателей в разные стороны. Тем же летом в Иогач, где комбинат, приезжал на научно-практическую конференцию по использованию кедровых лесов Виталий Парфенов, бывший главный инженер Кедрограда, ныне референт Совмина РСФСР по охране окружающей среды. Когда-то насмерть стоял Виталий Парфенов за разумную, выгодную и бережливую идею Кедрограда, а ныне научно-практические конференции привели к тому, что в Горном Алтае за последние двадцать лет вырублено 50 тысяч гектаров кедровника, в Томской области — в три раза больше. Возле Телецкого вырублены черневая тайга, среднегорье. И расплодился эти конференции ученых, набравшихся ума доказывать, что изведение кедра — только на пользу кедру. Это не преувеличение: с наукой в руках, как с топором, — благословляя топор. Тем же держалом добывал и услужливо подносил министерству науку печально известный институт экологической токсикологии на Байкале. Но перестарался, даже и министерство вынуждено было отказаться от его услуг.

Евгений Титов сейчас — научный сотрудник центрального института лесной генетики и селекции в Воронеже. Но каждое лето здесь, на Алтае. У института в прителецкой тайге несколько резерватов по селекции кедра, где ведется большая и плодотворная работа по созданию кедровых садов и с помощью прививок увеличивается урожайность. В один из этих питомников и направлялся Титов, когда заглянул к нам. Он считает, что резерваты — чуть ли не единственный путь спасения и развития кедровников. И пытается заинтересовать этими работами комбинат, добиться включения их в план комбината и таким образом начать превращение дикого зверя, каковым сейчас комбинат является, в благодетельное существо.

Мы долго сидели за могучим пиршественным столом рядом с банькой на вольном воздухе и, гоняя чай, все говорили и гово-





рили. От хозяев заимки был среди нас главный лесничий комбината Владимир Карпинский, саженого покроя молодец, и такого же покроя (нет, не сдал по этой части алтаец) — Алексей Соличев, заведующий опорным пунктом Кировского института охоты и звероводства. Один все знал о комбинате и тайге, другой о звере, в поддержку Евгению Титову, радетелю кедра, незримо присутствовал, как говорят в таких случаях, Генрих Сабанский, живущий в Иогаче кандидат биологических наук, чья статья об алтайском кедре тогда только что появилась в журнале «Сибирские огни». Жаль, не удалось мне познакомиться с Сабанским и узнать, как от боярского сына, первым из русских добравшегося до Телецкого озера, дотянулась эта фамилия до него. Генрих Сабанский с великой болью в сердце криком прокричал в своей статье: караул! грабят прителецкую тайгу, без заводов, без химии и целлюлозы губят озеро!

Владимир Карпинский был беспокоен, ему в этот день предстояло везти в Колдор на баньку новых гостей, а мы засиделись. Соличев, посмеиваясь, вытянул из него, что после нас париться будет крупное приездное торговое начальство. Небось забеспокоисься. Разговор шел мирный, но судьба Кедрогграда и практика комбината, от которых не удавалось уйти, невольно делали его колючим. Не мог не вспомнить Евгений Титов, что кедрогградцы в три раза больше, чем комбинат, собирали ореха, зато комбинат вдвое увеличил древесину и — убыточный! Планово-убыточный — вот до чего дожили! В лучшие годы побочное пользование — только до пяти процентов к плану. Какое же это комплексное? Карпинский вяло отговаривался, он все это знал. Но так пошло, и пошло не сегодня, что не ему поворачивать. Он, делая отводы лесосек, хоть пытается спасти лучшие кедровые массивы, в других хозяйствах и этого нет. Где они, лучшие кедровые массивы? — наседали на него вдвоем, а то и втроем. Что стало с пыжинской тайгой, самой богатой на Алтае? Соличев ввернул какую-то Капитолину Кащееву, которая одна добывала за сезон более двухсот соболей, а теперь все промысловики едва вытягивают столько. Меньше стало зверя, птицы, пищуха почти полностью исчезла, перепел. Да и разве это годится, чтобы лесничий принадлежал комбинату, он должен вести госприемку, а не брать под козырек. Карпинский возмутился: никто под козырек не берет. Какой-никакой, а все же у нас комбинат, вон и пасеки завели. В Байголе совсем нет побочного пользования, гольный леспромхоз, а тоже: комбинат. Что вы все на нас? А то: во что выродился Кедрогград. И на усадьбе, где был он, как в отместку, участок Каракошского леспромхоза. В три упряжки, тремя хозяйствами косите тайгу, под триста тысяч кубометров в год. Карпинский: у нас с этого года сплошных вырубков нет. Ему: подчистили, выгребли — вот и нет. И власть местная... что это за власть?! Получает район попенные — и хоть до камней снимай и увози все подчистую от вершков до корешков, даже и не пикнут.

Я вспомнил, что в последних словах о Кедрогграде, когда судьба его была, в сущности, решена, Владимир Чивилихин с отчаянием писал: «В Горном Алтае сейчас остался последний богатый кедровый массив — пыжинская тайга, с которой читатель знаком, но и на нее давно вострят топоры», — и попросил показать мне пыжинскую тайгу. Через два дня мы с Евгением Гушиным поднялись на перевал Обога, откуда видны огромные ее разметы. И вся правая сторона — будто туда и упал тунгусский метеорит — в разгроме и разбое. Спускаясь к сплошным вырубкам, наткнулись мы на прибитый к уцелевшему кедру щит. Надпись на нем гласила: «Добро пожаловать на отдых в лес. Отдыхая в лесу, не рубите, не ломайте деревья и кусты, оберегайте птиц и зверей, не разоряйте их гнездовья».

Нет, каково?! Вот на таком благодетельном изверте, когда, покончив с обитателями дома, маленькими и большими, налетчик перед уходом гладит бездыханную жертву по голове и внушает ей правила хорошего тона, и стоит наше отношение к природе.

...Так, кажется, отгородилось со всех сторон скалами Телецкое озеро, что ниоткуда не подступиться. Но там, за скалами, тайга и реки, набирающие в ней влагу. Крепостные стены высятся по-прежнему нетронуты и неприступны, а Золотое озеро начинает уже испытывать и глад, и холод. И это только на посторонний взгляд видится, что отовсюду гремит, бежит, стекает и сочится вода, и не будет ей, как никогда не бывало, истечья — старожилы замечают, что нет, становится ее все меньше, и многие речки едва поддерживают свои названия.

СМИРНОВСКИЙ ПОСТ

У Н. М. Ядринцева есть очерк «Странник на Золотом озере» столетней давности, в котором рассказывается о встрече автора с переселенцем из далекой Воронежской губернии. Был этот переселенец, с виду жалкий и безропотный мужичонка, с малолетним сыном, и забрели они искательными дорогами, как не беловодскими ли, на Телецкое озеро, а тут свалилось на них несчастье: потеряли по хлопоушию последние деньжонки и паспорт. Ждали мужичонку ничего хорошего не сулившие ему разбирательство и высылка — может быть, и обратно, в Расею. Но так понравилось ему Телецкое, что не хотел он отсюда и все повторял просительно: «Дайте поробить, дайте поробить!» «Поробить — это его вера, — заключает Ядринцев и приподнимает голос: — В смутных грезах мне виделся уже не убогий мужичонка, но титан — русский народ, пробивающий упорно путь себе через леса и урманы на заколдованное Телецкое озеро. Матпустыня! Когда же, когда ты дашь приют этому труженику!»

Можно поддеть: «труженик» этот ныне и превращает прителицкую тайгу из пустыни незаселенности в пустыню безжизненности. Но нет, это не он, не труженик. Это дуrolом, как издавна принято называть в народе такого работничка без глаз и без ума.

...Много наслышан я был о Николае Павловиче Смирнове. Читал о нем у Владимира Чивилихина и у Глеба Горышина, расспрашивал за время нашего путешествия у Евгения Гуцдина, который работал в заповеднике на Телецком помощником лесничего и знал здесь едва ли не каждого второго. Но со Смирновым он не был знаком. Куда все едут, удивляются, пишут, туда по чужим следам и открытиям не тянет, а поперек книжной славы держалась на озере о Смирнове слава местная — как о человеке странном и несвойском. Например: собрался к нему народ на 70-летие, а он и по такому случаю не напоил, только раздражил. Или: егерские собаки задрали маралуху, Смирнов из коленопреклонности перед законом заставил егеря заявить об этом в контору заповедника. Но вскоре и сам был наказан тем же — и на себя поехал заявлять. Подбирала, как водится, местная молва все то, что в общую не вмещается, и выписывала свое лицо. Последняя новость еще одним решительным открасом была — сооружает Смирнов для себя... мавзолей. Это уж совсем ни в какие ворота для простого смертного.

В южной оконечности Телецкого в самом начале правобережья шумит-бежит речка Чири. Речка как речка — горная, бурная, норовистая, которая, как это бывало, ни с того ни с сего может и передумать, по какому руслу ей вбегать в озеро. Она и бы-

ла выбрана несколько десятилетий назад для гидрологического поста озерной станции, для постоянных наблюдений и обмеров, которыми чертится научная карта Телецкого. Наискосок от Чири с другой стороны в озеро впадает Чулышман, а южнее ее есть еще одна прибрежная вода — речка Кыга. Чири и Кыга одним общим заглубом образуют в берегу как бы карман, заливное уютное потеснение, будто озеро вышло им навстречу.

Мы подплывали к Чири уже под вечер. Больше часа, попугивая, шла за нами гроза, но, похоже, стянуло ее в Чулышман — стало вдруг тихо и светло. Свету добавил чистый склон, подставленный под заполуденное теплое солнце. И сейчас обдало его сквозь рваные тучи солнцем, и увиделось, что по склону выстелен трамплином длинный прилавок с отвесной стенкой из обработанного камня, а по прилавку правильными рядами деревья. Я скорее задальше отличу сосну от кедра, чем непривычные моему глазу яблоню от орехового дерева. Но ни местную породу, ни самосев узнать не представляло труда. Это, значит, сразу показалось главное дело смирновских рук — его знаменитый сад. Прилавок переходил влево в многоярусность, засаженную какой-то кочковатой зеленью, а сверху кафедрой конечной науки стояло семейное кладбище. Под ним, опершись на лопаты и глядя на наш катер, проступали три фигуры — большая, маленькая и средняя. Когда не осталось сомнений, что катер подчаливает, большая фигура принялась спускаться.

Мы сошли на берег и, не разбредаясь далеко, взялись осматриваться. Сразу от воды в десяти шагах начинался лес — сосна, кедр и кустарник, по нему повела ровненная в камнях, знающая не только ноги, но и руки, дорожка. Щит на виду с названием и назначением поста, возле него в раме мозаичная выкладка цветных камушков, дальше — аккуратно выставленный для сушки плавник. Журчала за кустами невидимая речка, знойными волнами, то скрываясь, то открываясь, припекало солнце, и ответно от близкой скалы справа доносило прохладой.

Он подплыл к нам совсем бесшумно — стоя в лодке и подталкиваясь, как шестом, одноручным веслом. Ступил из лодки на камешник — высокий, открытоголовый старик, в очках, с короткими усами на лице, в черном рабочем фартуке и резиновых сапогах. Сойдя, сразу, как знакомым, сказал, что легкости в нем теперь уже нет, через несколько дней исполнится 85. Мы нескладно охнули, самый старший из нас нес лишь пятьдесят, и все, что за семьдесят, представлялось нам нереальным, как сроки в Ветхом Завете, и избыточно-тяжким. У Смирнова сквозь седую щетину алели щеки, глаза за светлыми очками были невыцветше голубыми, чистыми и взблескивающими. И при высоком росте прямая фигура, хотя и подобрал он с лодки батожек, но не столько потом при ходьбе опирался на него, сколько пристукивал, словно проверяя, где земля, где камень, где прибавить и где убавить.

Гостям он ничуть не удивился. Привык. Повел нас по дорожке внутрь леса, взрослого на камнях, который скоро кончился, и открылась усадьба — жилой дом, рядом длинное строение, не то оранжерея, не то еще что под крышей, стайки, загоны, сарай. Длинное строение, как выяснилось, действительно замышлялось под оранжерею, но солнца под лесом тут мало, и вышло что-то вроде жилого летнего коридора с прихожей. В ней мы и устроились, кто за столом, кто в сторонке на табуретках, расспрашивая, выслушивая и удивляясь все больше этой жизни, которая одна прикрыла собой с десяток людской никчемности и пустопорожности.

У него было семнадцать детей, троих нет в живых. Семнадцать раз рожала жена, взятая из чулышманской деревни алтайка. Жизнь повел со столиц, сначала в Петербурге, потом учился

на рабфаке в Москве, квартировал в одной комнате общежития со старшим братом недавно всесильного члена Политбюро М. А. Суслова — Павлом. Часто забегал к ним и младший брат. В 1967 году, когда заповедник был закрыт и за правобережье принялись лесорубы, он не вытерпел и написал Суслову, напоминая о себе, спрашивая о брате, но самое главное — прося за заповедник. Суслов отозвался (Николай Павлович показал нам это письмо), что помнит его, брат Павел погиб на фронте, а с заповедником обещает разобраться. На следующий год заповедник вернули. Сейчас бы тут ни кедр, ни марала, когда б не это... А теперь волка и медведя хоть отбавляй — и надо отбавлять, скоро не отбиться. Из пяти овецек двух нынче задрали. Недавно спустилась телиться маралуха — зверь всегда при опасности идет к человеку, — и медведь на глазах у внучки, которая гостит, теленка съел. Назавтра маралуха снова пришла. Стоит, смотрит: что ж не защитили, люди добрые?

Рассказывает, то омрачаясь, то сияя лицом — у него не улыбка, а возгорание лица — выставив перед собой на столе большие тугие руки, разработанные до звона. Приехал сюда, на Чири, в 26-м году, озерного поста тогда еще не было, устроился объездчиком на кордон. А приехал — чтоб выжить среди чистой природы, болезнь уже подгибала к могиле. Говорит охотно, правильно составленными фразами образованного человека. Память живая, путается лишь в именах детей, но кто из нас не запутался бы в семнадцати-то! Летом людно, успевай только принимать гостей и из родных и из чужих, а зимой да, зимой вдвоем, дети кто где. Телевизора нет, и не надо, а без газет, без журналов не может. С горечью обмолвился о сыновьях: не трезвенники. Чуть позже похвалил: все при руках, занимать не надо.

Ударило где-то неподалеку; гроза, потеряв нас, выходила на след. Мы заторопились посмотреть до дождя сад. Поднялся без раскачки и, пропуская нас, стоял крепкий, жилистый, с не отслоившейся на лице кожей, освещенный самосветом — как опростившийся патриарх. Снова громнуло, сильно и ухабисто, почти над головой. Он будто и не слышал, и головы не повернул, откуда и надолго ли гремит, привыкнув, видимо, все в природе принимать как положенное и лишнее затем поправлять.

Идти было рядом — и вот уж взошли мы на протянутый по склону земляной плат, обсаженный яблонями и грушами, только-только начинающими налив. Николай Павлович рассказывал, откуда какая яблоня — у него давние и широкие связи с садоводами и селекционерами, а я подошел к краю плата и, глядя на высокую каменную подперть, ровную и отделанную, протяжением на глаз метров в триста, пытался представить, сколько же здесь, под ногами, натаса земли. Земля эта стала уж родной, но ее не было здесь — был здесь камень на камне, такой же, как по склону, и сколько же надо было сил, которые называем мы лошадиными, чтобы выземлить, возделать и воспроизвести этот телецкий эдем. Все на руках. Месяц за месяцем, метр за метром, год за годом, слой за слоем — в мешках, коробах, тачкой и таской, да и приплавлено в лодке с Чулышмана немало, там хорошие почвы.

Снова ударил гром и высек дождь. Пришлось прятаться под яблоню. Длинные и косые, с подвязками, водяные нити, подкрашенные откуда-то солнцем, стояли над озером радужным развесом. Когда бы не под мокрым — смотрел бы и смотрел.

Оказалось, что мы стоим под яблоней, которую медведь забрал в свою собственность и отрясает раньше человека. Понравились с нее яблоки — и все, с одной из всех. Но хватает и человеку. С большим избытком, некуда девать. Урожай огромные, а радости от них нет, ни сдать некуда, ни продать. В прошлом году тонны четыре яблок пропало. Спихватились давить сок, со-



рок трехлитровых банок налили... без сахара закиснет, добавили сахару — получилось от перестоя вино. И, чтоб никем не было выпито, вылил. Жалко, конечно, выливать, не из озера наливалось, но еще жалче смотреть на пьяных. Сам никогда не курил, вино чуть лишь пригубливал, да и то без удовольствия. Кто власть работает, тот радости в вине понять не умеет.

Над Чулышманом показалось солнце и потеснило дождь. Мы выбрались из-под «медвежьей» яблони и двинулись дальше. Яблони, груши, грецкий орех, вызревает виноград, арбузы, вишня, слива. Ореховое дерево, правда, пострадало недавно от мороза. А все остальное — вот оно. Скоро опять столько нанесет — деревню прокормить можно. Осенью с каждого помидорного куста сняли по тридцать килограммов. А сколько кустов? Нынешние не знает. Я пытался потом посчитать — за триста. Сколько яблонь? Тоже не знает в точности, стволов 60 — 70. Это ребята, когда подрастали, вели арифметику. А ему важно, чтоб были. Конечно, столько не надо, но не может, чтобы не было, продолжает подсаживать. Зачем же земле пустовать, она, как и человек, должна работать, ей легче от работы.

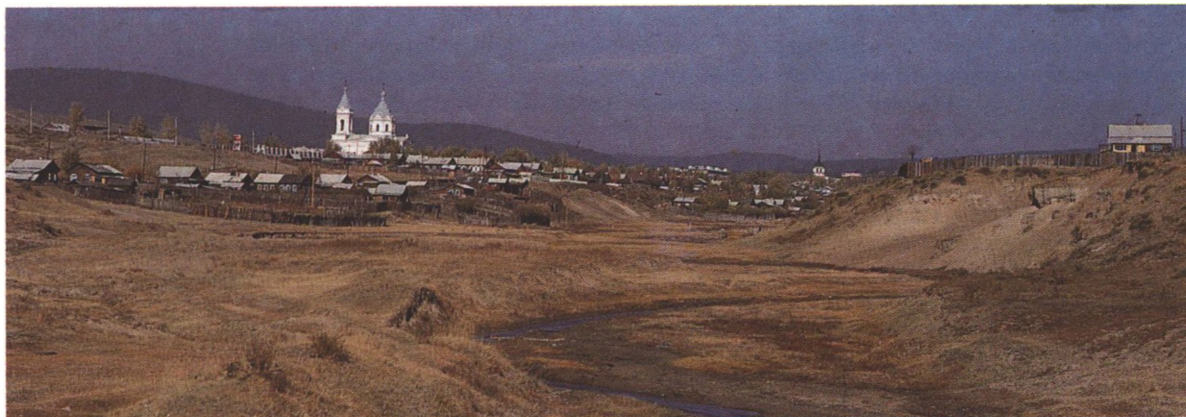
Прилавок с фруктовыми деревьями наконец кончился, на взлывках, нависающих друг над другом с такими же каменными стенками, пошли помидорные и виноградные подсады. Все взрыхлено, выполото, подрезано и выровнено, все от крупинки и листочка вызабочено и обласкано. Лопата была воткнута там, где, казалось, и делать нечего. Сверху, почти и без разрыва, чтоб рядом, чтоб, поклоняясь земле, и с ходу в нее поклониться, главилось скромное кладбище из трех ли, четырех могил. Под ним что-то накрыто было металлическими листами.

Мы пробовали удерживать Николая Павловича не подниматься — круто, но он взошел не трудней нас, молодых и серединистых, и остановился возле листов, лежащих на выступчатом бетонном обрамлении. А это что? Вечное пристанище. «Умру зимой — тут и могилу не добыть, сплошной камень». И вот, чтобы не обременять живых, выдолбил в камне широкую, для себя и жены, нишу — ниже умерших детей, выше трудов своих. Кто-то из нас (ходили мы за Николаем Павловичем группой в шесть человек) неловко спросил: как же жить при живой могиле? Отвечал просто, стеснительно и уверенно: ну что ж тут такого, собратъся не повредит.

Обратно возвращались по берегу, где грядой, как дамба, были наворочены камни. Сюда, значит, их и стаскивал, очищая свой сад-огород. Первым услышал от большеводья звук моторной лодки, насторожился: кто-то едет.

Приехала из Маймы (рядом с Горно-Алтайском) младшая дочь, высокая, красивая алтаистая молодая женщина, мать гостившей внучки. При посторонних Николай Павлович удержался обнять ее, но обрадовался и разволновался очень. Из летника выглянула с мокрыми глазами жена, застеснялась и спряталась, приплясывала возле деда внучка, что-то пытаясь ему рассказать, куда-то подталкивая.

Пора было прощаться. Николай Павлович засуетился, удерживая и откланиваясь, но тянула его от нас внучка, и он отступал, приглашая бывать, не забывать, поддакивая себе пристуком батожка. Но на берегу догнал — с вяленой рыбой на дорогу. И, пока всходили мы на катер, а потом отчаливали, стоял в зеленом лесном обводье — высокий, прямой, неудряхленный, одна рука поверх фартука опущена, как весло или лопата, другая опирается на посох.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кяхта

Мы приехали в Кяхту поздно вечером, а утром, поднявшись на гору, откуда вся Кяхта открывалась как на ладони, я вспомнил свою бабушку Марью Герасимовну, безграмотную и мудрую деревенскую старуху, которая никуда с Ангары не отлучалась, с сомнением относилась к существованию в мире англичан и французов, но в Кяхту верила неукоснительно. С детства слышал я ее вздохи: «Это че ж такое деется, это пошто Кяхта-то простаивает?» — когда трудно стало с чаем, без которого бабушка обходиться не могла. Много без чего могла, а без чая никак. Она страдала без него так сильно, раз за разом поминая и заклиная Кяхту, что в неокрепшем моем умишке надолго отложилось, будто Кяхта — это второй после Москвы по важности город, влияющий на судьбу всякого и каждого.

И вот теперь передо мной лежал маленький городишко, какие прежде называли заштатными, почти сплошь в старой части деревянный, со склонов трех сопок стекающий вниз и открыто, но несмело выходящий в четвертую сторону — к монгольской границе. И лежал он как-то немускулисто и расслабленно, казалось, даже удрученно, словно до сих пор не пришел в себя от последнего решительного поворота судьбы. Позднее это впечатление если и не изменится, то отмякнет, делается точней и справедливей, но поначалу оно таким именно и было: неужели это Кяхта? Неужели это Кяхта, которая сто лет назад гремела на всю Россию, к которой с почтением относились в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, которую называли «песчаной Венецией», заказы которой исполнялись в первую очередь, зная, что Кяхта не скупится, которая из всех сибирских городов спустя полтора века после Мангазеи приняла на себя ее славу «златокипящего города»?! Неужели все это здесь и происходило? Днем и ночью вон оттуда, от границы, где теперь монгольский город Алтан-Булак, шли верблюжьи караваны с чаем и холстами, выгружались вон за теми стенами Гостиного двора, где ныне прядильно-трикотажная фабрика, и купцы, прибывшие из глубин Китая, шли отдыхать вон в тот двухэтажный каменный Посольский дом на территории пограничного контрольно-пропускного пункта. Неужели и верно, что с Воскресенским собором, стоящим сейчас сиротливо и сутуло, только два-три храма в России и могли соперничать по богатству, что в нем были хрустальные колонны, а строился и расписывался он итальянскими мастерами, что роспись их подновлял в нем позднее декабрист Николай Бестужев? Что темные и полуразрушенные три двухэтажных дома возле речки Кяхты — это остатки поселка миллионеров, единственного, должно быть, в мире, где их, один другого богаче, ворочавших огромными оборотами, собралось в слободе за двадцать громких величин? И это только в Кяхте, а ведь жили-были они еще и в городе.

Даже из местных жителей далеко не каждый сегодня знает, что нынешняя Кяхта вобрала в себя небольшую слободу под этим именем и город Троицко-савск. Теперь они сошлись в одно целое. Линия между ними почти неразличима. Пожалуй, провести ее можно вон там, где справа от дороги на насыпи-кургане

стоит памятник А. В. Потаниной, жене и помощнику в тяжких трудах прославленного сибирского писателя и ученого Г. Н. Потанина, и где на месте кладбища, на котором была похоронена Александра Викторовна, разбит стадион. Город оставался по эту сторону от кладбища, слобода располагалась по ту, поближе к границе. Буквально в ста метрах от Кяхты начинался китайский город Маймачен, от которого теперь ничего не осталось. Здесь, в Кяхте, особенно хорошо заметно, какие изменения произошли в этой части света в наше столетие.

Зря моя бабушка в военное и послевоенное время надеялась и грешила на Кяхту. Кяхта отлучена была от чайных дел и потеряла торговое значение намного раньше. Упадок ее начался еще в прошлом веке, но Кяхта и прежде знавала кризисы, умела сопротивляться им и оставалась в силе вплоть до революции, даже до монгольской революции 21-го года.

Если история всегда права, то судьба нередко жестоко обходится со своими любимцами. Когда я был в Кяхте, город этот, поивший чаем всю Россию, давно забыл, как пахнет настоящий чай, и ничего, кроме испорченного грузинского, воняющего при заварке банными вениками, не видел в глаза.

* * *

Кяхта — дитя торгового брака России с Китаем. До этого, говоря народным словом, были шашни. И при Алексее Михайловиче и при Петре Великом все попытки завести серьезные связи с самолюбивым и осторожным засибирским соседом кончались ничем: китайцы не держали условий, русские купцы из пределов Монголии и Китая высылались обратно. То, чего удалось добиться специальной миссии графа Саввы Рагузинского, в сущности, подготовлено было Петром, но осуществлено уже после его смерти. Много месяцев провела миссия в Китае, обговаривая пункты соглашения, натерпелась и унижений и волокиты, переезжала с места на место, и наконец в августе 1727 года соглашение было заключено и вошло в историю под именем Буринского договора: стороны подписали его на реке Буре в восьми верстах от Кяхты. По нему определялась южная граница России и позволялся проезд русских купцов внутрь соседней территории, а для меновой торговли решено было поставить в двух местах пункты, по одному с каждой стороны, которые могли бы поддерживать меж собой постоянные связи.

Выбор с нашей стороны такого пункта на реке Кяхте — особое условие Саввы Рагузинского. Позднее много обсуждалось, отчего город заложен был не на полноводных Селенге или Чикое, а на маленькой речушке, которая и в те времена своими размерами вызывала лишь милую улыбку. Надо сказать, что Кяхта и ныне, имея водопровод от Чикоя, страдает тем не менее от недостатка воды. Но осторожный, учитывающий каждую мелочь московский посол выбрал речку, текущую не из Китая, а в Китай. Недолго она туда течет, но в этом месте течет именно туда, что и сыграло свою роль. Почему? Потому, вероятно, что граф Рагузинский боялся коварства соседей, которые при неладах могли отравить воду. Не забывайте, что происходило это два с половиной века от нас, а тогда это имело не последнее значение.

Таким жребием и избрана была Кяхта, и так на этой речушке появилась крепость, ставшая затем городом Троицкосавском. «Савск» — в честь Саввы Рагузинского. А рядом возникла торговая слобода. Сибирского купца в старые времена не приходилось подталкивать к освоению новых земель, он готов был хоть к черту на кулички, если они сулили ему выгоду и деятельность. Кяхта — уголок не из самых райских на земле. Пески, летом изнуряющая жара, зимой бешеные ветры; нравы, не отличавшиеся в то время мягкостью и благородством ни в Петербурге, ни в Москве, ни в Иркутске, здесь и вовсе должны были представлять смесь плохого с худшим. На что, кроме барыша, рассчитывал купец, направлявший свои семейные повозки на нижний край России, можно только предполагать. Барышом довольствовались те, кто из знатных городов для ведения дела направлял сюда своих представителей, комиссионеров, осевшим же фамилиям этого было мало. Пески не втоптать, ветры не унять, зной не заговорить — значит, в песках, под ветром и зноем следовало создать приличествующую карману и благородию жизнь, за которую не было бы совсем стыдно ни перед заезжим гостем, ни перед собственной дочерью, обучающейся манерам и французскому языку. Начинаясь, вероятно, с этого, затем пошло дальше.

Не вдруг, не сразу, но и без долгой приглядки, примеривая дом к дому, распалась слобода. Застройщиком и архитектором ее прежде всего было дело, выгодная торговля. К 20-м годам прошлого века роли поменялись: не город правил слободой, а слобода городом. Она давала ему и окрестным селам работу, меценатствовала над ним, открывала училища, строила храмы, была законодательницей вкусов. Рядом со слободой богател и город, но, богатея, терял власть и все чаще оглядывался на слободу: что скажут в Кяхте? Постепенно даже и в названии Троицкосавск стал подменяться Кяхтой.

Позднее Кяхта добилась почти невозможного. Единственная на всю Россию, она вытребовала себе право быть самоуправляемым городом. Формальное подчинение генерал-губернатору мало что значило, это прекрасно понимали и в Иркутске и в Кяхте. Граф Муравьев-Амурский, бывший в середине прошлого века восточносибирским генерал-губернатором, для отвода глаз назначил пограничным губернатором в Кяхту своего родственника Деспот-Зеновича, попавшего в Сибирь за вольнодумство. Странная водилась у прославленного графа родня: другой его родственник, не кто иной, как Михаил Бакунин, опасный государственный преступник, в 1861 году в роли доверенного лица кяхтинского купца Сабашникова бежал из Сибири на американском барке.

В обязанности пограничного губернатора входило первое разрешение могущих возникнуть между двумя государствами недоразумений, а также борьба с контрабандой. Вообще же городом управлял «Совет старшин торгующего на Кяхте купечества», который руководил торговлей, взимал налоги за чайное место, что давало хорошие деньги, и распределял их на торговые и городские нужды.

Нигде, кроме как в Кяхте... Эти слова объяснением, недоумением и удивлением не однажды возникают, когда знакомишься с историей города.

Начать с того, что ни в каком другом месте во всем свете Кяхта и не могла появиться, тут, в этом углу, где сходились разные религии, культуры и судьбы народов, и была ее точка, тут и велено было ей родиться. Возникнув из недр экзотики, она сама от начала и до конца была экзотикой, быть может, не совсем представляя, что это такое. Но она была российской территорией и обязана была подчиняться российским законам, не всегда удобно ложившимся на особенности ее занятий и быта.

Нигде, кроме как в Кяхте...

Между слободой и китайским городом Маймаченом, например, никаких ограничений и никакого контроля в движении туда и обратно не существовало: «хоты куда хоты». Но по дороге из Троицкосавска в слободу, из одного российского пункта в другой, едва разделенных между собой полутора верстами, стояла таможня, обыскивающая пешего и конного, его величество и его низажество. Искать логику в российских законах и всегда-то представляло немалые затруднения, а в середине прошлого века законами по отношению к Кяхте управляло одно упрямство. Торговлю обязывали быть только меновой: вы нам чай и «китайку» (бумажное полотно), мы вам меха, мануфактуру и кожи. Однако китайцев товарный обмен не устраивал, они требовали за чай серебро и золото. Китайцы требовали золото, а русское правительство решительно, под страхом каторги, запретило пользоваться им в торговых операциях: или сбывать топоры и кожи, или закрыть дело. Вопрос стоял так: быть или не быть Кяхте, потому что ни китайцы, ни московские власти на уступки не шли, а таможне даны были строгие предписания. Чтобы вести торговлю, требовалось до мелочей, до сантиметра, грамма и копейки указывать в расчетных книгах, что на что меняется, дабы стоимость отданного товара точно соответствовала стоимости принятого.

Что оставалось кяхтинцам делать? От мала до велика они объединились в контрабанде. Это было великое надувательство не расположенных к ним установленных, о котором все знали, все участвовали и все закрывали глаза, делая вид, что ничего противозаконного не происходит. Торговля могла продолжаться на металл, она на него и продолжалась. «Экипажи делались с двумя днами, с потайными ящиками в оглоблях, осях, колесах, хомутах, дугах — словом, везде, где только была возможность устроить помещение для золота и серебра», — свидетельствовал Д. И. Стахеев, журналист и писатель, в то время торговавший в Кяхте и хорошо знакомый с ее нравами. Присланный для борьбы с контрабандой губернатор Деспот-Зенович очень скоро разобрался, что к чему, махнул на свою миссию рукой и счел за лучшее заняться изданием «Кяхтинского листка», в качестве цензо-

ра, защищая его от цензуры. Торговля шла на металл, а товар, указывающийся в документах как меновой, оставался у купца и, путешествуя из Кяхты в Троицко-савск и обратно, в едином лице заносился в платежные книги и во второй, и в пятый, и в восьмой раз.

И так продолжалось десятки лет, в которые Кяхта не только не пострадала, а, напротив, расцвела — пусть и преступной, недозволенной, но от этого не менее привлекательной красотой. Построены были Гостиный двор в слободе и Гостиный двор в городе, к двум деревянным церквушкам прибавились три больших каменных собора, один из которых в слободе являл собой роскошь, недоступную, пожалуй, и столицам. Разбили бульвар, для орошения его провели водопровод, открывались именные училища, выписывались для них библиотеки. На путешественников этих лет, оставивших свои впечатления о Кяхте, производят сильное действие две вещи — яркая бутафория Маймачена, где по китайским законам близ границы не разрешалось жить женщинам, и вызывающее богатство слободы.

Ограничения на торговлю сняты были в 1861 году. К этому же году относится



Успенская церковь.

письмо декабриста Михаила Бестужева к своей сестре в Петербург, опубликованное позднее в «Кяхтинском листке». В письме младший из братьев Бестужевых, отбывавших ссылку в Селенгинске, рассказывает, как он со своими маленькими дочерьми приезжал в Кяхту и какой они ее увидели:

«Их все поражало, удивляло своею новизною. Вопросам и восклицаниям конца не было. По обеим сторонам улицы, по которой мы ехали, были устроены деревянные тротуары, окаймленные рядом тумб и фонарных столбов. Вечерело, жар схлынул, мы уже не глотали пыли. Толпы гуляющих, вызванные тихой прохладой вечера, тянулись по тротуарам длиною вереницею. Веселенькие, опрятные дома быстро мелькали мимо нас, но веселенькие глазки моей Лели успевали пробегать крупными золотыми буквами надписи над общественными домами, и она

громко вскрикивала: вот детский приют, вот женская гимназия, а это приходское училище, аптека, типография и редакция «Кяхтинского листка», дом общественного собрания... «Ах, папа! посмотри: какая огромная церковь... сад... там музыка. Да и танцуют там!» После мирной, почти келейной нашей селенгинской жизни их поразила эта деятельность торгового города, эти толпы китайцев, снующих по всем направлениям, эти бронзированные монголы на верблюдах...»

Остается добавить, что Михаил Бестужев, намеревавшийся прежде отправить свою дочь на учебу в Петербург к сестре, после этой поездки предпочитает оставить ее в Кяхте в гимназии С. С. Сабашниковой, матери впоследствии известной фамилии издателей.

Прошло более двадцати лет. В 1885 году в Кяхту впервые приезжает по судьбе политического ссыльного И. И. Попов, оставивший о себе в Сибири память общественной деятельностью и редактированием в Иркутске ядринцевских изданий «Восточное обозрение» и «Сибирский сборник». Попов был зятем самого видного кяхтинского мецената и прогрессивного деятеля из купцов А. М. Лу-



Воскресенский собор.

шников и прожил в Кяхте не один год. В своей книге «Минувшее и пережитое» он посвящает ей, пожалуй, самые полные, живые и интересные воспоминания. Не впечатления путешественника и гостя, а свидетельства очевидца и участника многих событий, читающиеся буквально взахлеб. Быть может, временами Попов описывает Кяхту излишне восторженно, но ведь и для восторженности нужно было сохранить настроение и не поддаться привыканию, которое способно сгладить и принизить все что угодно. Чтобы этого не произошло, требовалась, конечно, далеко не обычная обстановка.

«Апартаменты кяхтинцев, — описывает И. И. Попов, — были обширны и располагались в двух этажах. Верхний этаж отводился под парадные комнаты. Комнаты всегда были со вкусом меблированы, и аляповатости меблировки купеческих

семей России я не встречал в Кяхте. Картины, библиотека, музыкальные инструменты, бильярд, иногда зимний сад и всегда роскошные комнатные растения, какие я редко встречал даже и в России. Усадьбы кяхтинских купцов занимали относительно обширные площади. С главным домом, флигелями, кухней, баней, службами, каретниками, конюшнями на десятки стойл, коровниками, конским и скотским двором, садом, где часто бил фонтан, и т. д. Дом кяхтинца — полная чаша, с массой челяди и служащих, с погребами редких вин и гастрономии, непосредственно выписанных из столиц, а то и из-за границы, с каретниками, полными разнообразных экипажей, конюшнями с кровными рысаками, выездными, верховыми, беговыми, рабочими лошадьми, каковых только для домашнего обихода содержалось 40 — 60. Для детей имелись ослики, у которых были также свои экипажи. Скотный двор был полон коров, всякой птицы. Все выписываемое было добротное, высокого качества: «все равно втридорога платить — на бутылку целковый падает: стоит ли после этого дешевую дрянь выписывать» — так рассуждали кяхтинцы. И выписывали обувь, костюмы, обстановку и пр. из столиц, а дамские



туалеты нередко от самого Ворта из Парижа. Известный портной в Петербурге Новотня находил выгодным для себя раз в год приезжать в Кяхту и брать заказы. Сняв мерки, он получал заказы и по телефону. Артисты, концертанты не боялись трястись от Иркутска и мерзнуть несколько сот верст — они знали, что гастроль с лихвой окупится».

Давайте переведем дух. Я позволил себе эту длинную выписку не только для того, чтобы показать, в какой роскоши купалась кяхтинская верхушка. Чего и ждать от удачливого прыща, за каковой можно принять Кяхту, где миллионер сидел на миллионере и погонял миллионером! Разумеется, хвастались друг перед другом, не без этого, богатство требовало демонстрации и шума. Но бешеное богатство могло являть себя бешеным безобразием и дурным вкусом, нередко так оно и случалось, за примерами и в России и в Сибири далеко ходить не надо. В Кяхте же в продолжение прошлого столетия постепенно создалось в среде купцов независимое, образованное, с передовыми для своего круга взглядами общество, о чем у нас еще будет возможность поговорить. Общество, разумеется, не-

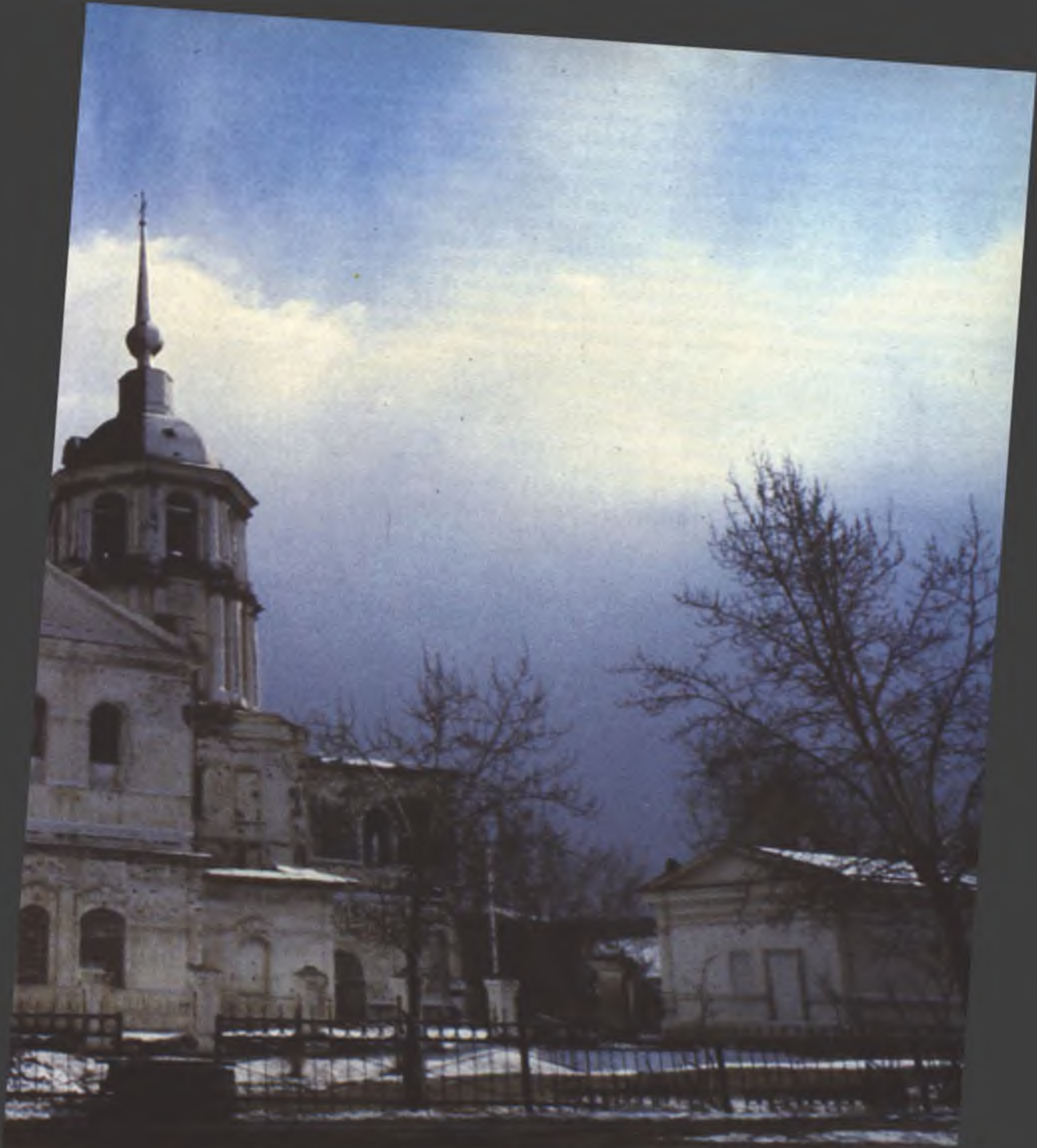
Деревянные — бедность...

...и богатство.

Троицкий собор — памятник архитектуры XVIII века, «охраняется государством».







большое, но влиятельное, к которому прислушивались и подражали. Соревнуясь во внешней демонстрации богатства, в нем принято было соревноваться и в его благом употреблении. Со всем плохим и хорошим, замечательным, исключительным и непонятым это была все та же Россия, но — протащенная через Сибирь, порастрясшая по ее дорогам часть старых качеств и натершая часть новых, оставившаяся там, откуда по морям до Европы было ближе, чем до собственной столицы. Так или иначе это сказывалось на взглядах кяхтинского промышленника.

Вести выгодное дело — первая заповедь всякого торговца. От сибирского купца сама эта огромная и невозделанная земля потребовала расторопности, живого ума и образования, без которых еще можно было обходиться в XVIII веке, но не в XIX. В XIX, чтобы соперничать со своим братом-соотечественником и европейцем, приходилось присматриваться, как хозяйничает европеец, что имеет он в своем обзаведенье, какие машины и приемы, угадывать, куда он в торговле метит. Случались среди сибиряка, разумеется, всякие экземпляры, но экземпляры случаются во все времена, и речь не о них. На фигуру кяхтинского купца повлияло, кроме того, пограничное положение города, в котором он жил, его даже и не отдаленность, а заброшенность, обрекшая его на духовное нищенство и на влияние сильной соседней культуры. Одиночными и судорожными усилиями противостоять этому было нельзя, потребовались для поддержания порядка и духа постоянные общественные мероприятия и сборы. Так введены были акциденции — местный налог за чайное место, дававший немалые деньги. В кяхтинце по всей логике вещей должно было вызреть самолюбие, подогреваемое богатством, и оно, разумеется, выиграло. Московское купечество ставит новый собор краше старых, давайте и мы не покусимся, а Боткину поручим договориться с итальянцами, чтоб ехали и постарались затмить Москву. Петербург одевается у Новотни, а мы чем хуже? Далеко, говорите, от Петербурга, неудобно ездить на примерку? Ничего, Новотня сам к нам приедет, не пожалеет. Княгиня К. заказала в Париж платье Ворту? Ну и мы закажем Клавдии Христофоровне — что за оказия! Если моя дочь показывает способности, отчего бы ей не брать уроки скульптуры у Родена? И верно, дочь А. М. Лушниковой Екатерина у него их и брала, и Роден считал ее лучшей своей ученицей. В Кяхту приезжали на жительство из Германии и уезжали в Швейцарию, никого это не удивляло.

«Показать товар лицом» имело здесь широкий смысл. Это значило, во-первых, показать себя, свое твердое положение и европейские вкусы одновременно с демократичностью и широкостью натуры. Дочь могли выдать замуж за французского коммерсанта, сына женить на горничной. Американец Кеннан, написавший хорошо известную у нас книгу «Сибирь и ссылка», побывав в Кяхте, заметил, что земля мала, — он встретил там и европейцев, и европейскую культуру, и продающиеся в лавке предметы из Нового Света. С. И. Черепанов, оставивший воспоминания о Кяхте 20 — 30-х годов прошлого века, уже в то время называет тамошних купцов «высокообразованными людьми, каких среди русского купечества не было». Едва ли верно, что «не было», решительные противопоставления в таких случаях чаще всего несправедливы, но и на кяхтинских весах, составивших это мнение, лежал, стало быть, не случайный груз местной культуры.

«Показать товар лицом» значило также показать свой город, который являлся здесь лицом России. Ясно, что кяхтинцы украшали и благоустраивали его прежде всего для себя, для сносного и даже красивого житья, чтобы меньше чувствовалась отдаленность, однако имел место и «показ». Рядом стоял китайский Маймачен, невольное соревнование с ним происходило постоянно и во всем. Кяхта не только не должна была ударить в грязь лицом, но и по многим статьям, не зависящим от традиций и нравов разных народов, превзойти. О том, как живут в Кяхте и как работают, судили вообще о русских. Почти на всех путешественников, переступавших границу, в Маймачене производили впечатление чистота и восточная нарядность города, а больше всего — тучные и диковинные обеды из сорокашести блюд. Мартос: «Не требуйте, чтобы я со всею подробностью описывал кухню китайскую, и многосложную до невероятности и совершенно новую для европейца — ибо это есть вещь едва ли возможная». Кеннан: «Если они устраивают ежедневно подобные обеды, то остается только удивляться, как эта раса еще не вымерла. Человек, пообедавший подобным образом поздней осенью, может проспать, как медведь в своем логовище, без всякого питания всю зиму до следующей весны, если предположить, что он еще раньше не умрет вследствие

несварения желудка». Кеннан имел решительное право на подобную оговорку: отобедавши в Маймачене раз, он провалялся в постели две недели и был болен три месяца.

В Кяхте тоже любили угощать и нередко утомляли чаями, в которых не было недостатка, а возле ведерных самоваров не пустовали и столы, но не это главным образом оставалось в памяти после Троицкосавска и Кяхты, не меню заставляло вспоминать «песчаную Венецию», а нечто иное, что касалось образа жизни и мыслей, в некотором роде даже образа богатства, который имел здесь заметные отличительные черты.

Но «товар лицом» — это и в прямом смысле товар, умение торговать и отказ от нечистых средств в торговле. Вот это, пожалуй, оказалось труднее всего. В первое столетие торговли обе стороны соревновались в искусстве надувательства друг друга, не стесняясь в самых грубых и безобразных способах и оправдываясь детской логикой: «он первый начал». Отдать предпочтение кому-либо в этом старинном искусстве было невозможно, хороши, что называется, были те и другие.



КІАКТА.

Китайцы прятали в куски материи, которую не позволялось разворачивать, деревянные поленья, наши мастаки зашивали в лапки пушного зверя, продававшегося на вес, свинец. Китайцы серебро подменяли латунью, русские за песцов выдавали мангазейских зайцев. Китайцы чурку заворачивали в свиную шкуру, зашивали и продавали за ветчину, русские укорачивали аршин. Дело докатывалось до прямого разбоя, что не однажды приводило к длительным перерывам в торговле. Нравы меняются не так скоро, как хотелось бы, и тем не менее при желании они все-таки меняются, и Кяхта тому доказательство. Шли годы, вместо вороватого и тороватого комиссионера со стороны появлялся купец, заинтересованный в долгосрочных прибылях, которые не могли постоянно держаться на обмане. Торговая община выработывала свои законы и заставляла соблюдать их всякого, кто рассчитывал быть жалемым. Во второй половине прошлого века ко всему подозрительные китайцы полностью доверяли кяхтинцам. Сделки на огромные суммы обычно совершались под слово, и так же, как прежде обман, это стало в порядке вещей. Из последних десятилетий до нас дошел только один случай, когда слово

кяхтинца чуть было не лопнуло, но купечество, прознав об этом, выложило все свои наличные и спасло себя и своего собрата от позора.

Помню, меня приятно удивило, когда я узнал, что до революции Иркутск по числу учащихся на тысячу жителей был далеко впереди Москвы и Петербурга. Но с Кяхтой Иркутску не сравниться, она по этой части сто очков могла дать любому городу. В 90-х годах в ней насчитывалось 8 — 9 тысяч жителей, всего ничего, а работали городское училище, реальное училище, женская гимназия, ремесленная школа, четыре приходских училища, сиропитательная школа и т. д. И все они помещались в прекрасных зданиях и содержались в основном на общественные средства.

Из Кяхты вышли фамилии Боткиных, Сабашниковых, Белоголового, Прянишников, послуживших России отнюдь не карманом. Первая издательница сочинений Ленина в России Водовозова — дочь кяхтинского купца Токмакова. В реальном училище преподавал И. В. Щеглов, известный сибирский историк. В войсковой русско-монгольской школе учился будущий знаменитый бурятский ученый Доржи Банзаров. Здесь жил и работал автор песни «Славное море, священный Байкал» Д. П. Давыдов. Сын декабриста Николая Бестужева А. Д. Старцев (он воспитывался в семье селенгинского купца Старцева и носил его фамилию) собрал лучшую в Европе библиотеку китайских манускриптов. В Кяхте снаряжали свои экспедиции исследователи Азии Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, Н. М. Пржевальский и Г. Е. Грум-Гржимайло, П. К. Лозлов и В. А. Обручев, тут они подолгу живали и выступали перед кяхтинцами с лекциями, помогли открыть краеведческий музей и отделение Географического общества.

Размышляя о судьбе этого маленького городка с громкой славой, поневоле задаешься вопросом: а что было бы, не пойдя направление кяхтинского купечества вот так, как оно пошло, когда богатство не впало в чванство и самодурство, не отворотилось от наук и искусств и умело даже и сквозь толстую мошну видеть российское благополучие. Разумеется, взгляд сквозь мошну был несколько смещенный, однако смелость, самостоятельность, критический прищур отнять у него нельзя. Выручали образованность, знакомство с европейскими порядками, общение со многими передовыми людьми того времени. Кяхтинцы не раз без всякой опаски собирали деньги и высылали их Герцену на издание «Колокола». Через Кяхту переправлялась корреспонденция в Лондон, а из Лондона через Китай доставлялись номера журнала. Здесь не боялись открыто их обсуждать и передавать друг другу. Крепкое положение и отдаленность, независимость от властей и вызываемая сама собой особый общественный климат с откровенно высказываемыми мнениями и взглядами, при котором высокомерие смешивалось с демократичностью, а здравый смысл с упрямством. Все было. Было, что один из самых больших воротил Кяхты, Н. Л. Молчанов, отправив ругательную телеграмму издателю «Московских ведомостей» Каткову за помещенную там какую-то глупость, шел после этого на репетицию самодеятельного театра разучивать роль рядом с учителем и конторским служащим. И было, что другой воротила, поговорив о Герцене, скупал билеты на представление приезжей труппы и раздавал их своей дворне, отнюдь не из образовательных целей, а чтобы досадить «торгующему на Кяхте купечеству». Без всего этого и Кяхта была бы не Кяхта, а одна только вывеска. Но и при этом, при всем своем многоцветье и многотиье, при правилах и сопутствующих им исключениях из правил, она имела определенное лицо, и лицо это при толстых щеках выглядело значительным и культурным.

Но могла или не могла Кяхта при ином направлении и порядке местных вещей стать другим городом — темным, сытым и неповоротливым, каковых по матушке-России водилось не так уж мало? Отчего происходит, что неприметный по всем статьям, далеко отстоящий от больших дорог Минусинск издавна питается культурой, заводит богатые библиотеки и музей, выписывает лучшие издания, организует духовную жизнь, а город неподалеку, более богатый, выгодно стоящий и удачливый, тешится полусонным существованием, заглушая живую мысль тяжелой одышкой? Отчего? Не оттого ли, что в одних случаях единственным делом считается «дело», капитал, любым способом обогащение и материальное утверждение, а в других побеждает разумное мнение, что капитал не может существовать ради капитала, иначе человек при капитале грозит перерождение в зверя. Логика настолько простая и верная, что на практике чаще всего оказывалась недостижимой.

Меняются времена, меняются и нравы. Но даже и при самых больших социальных переменах человеческие нравы обладают способностью держаться основных своих законов и правил. Нынешние молодые города тоже имеют хозяев и обязаны появлением на свет одному или нескольким министерствам, осевшим в них со своим «делом». Между «торгующим на Кяхте купечеством» и «хозяйничающим на Ангаре наместничеством» та связь, что от них почти в одинаковой степени зависит судьба вверенных им городов. И тут не лучше, чем в старину: кому как повезет. Оказались в Ангарске среди «купцов» культурные люди, с самого начала радевшие за его духовную доблесть, и не во вред, а лишь в пользу «делу» отмечен, как божьей печатью, Ангарск этой благородной славой. В Братске таких людей не оказалось — и романтическое еще недавно звучание города покрылось окалиной бесчувственного молоха. Во всякое время «дело», не сдерживаемое душой, не умеющее оглянуться на красоту и художественную выразительность мира, какими бы благими намерениями оно ни огораживалось, неизбежно придет к собственному выносу.

О Кяхте написано много, в течение почти двух веков она притягивала к себе запахом экзотики и богатства. Деньги не пахнут, пахнет употребление денег. Если человеку отдается вина первородности, то богатство тем более повинно в том, что оно богатство. Если бы не было бедности, оно, быть может, и не заметило бы себя, а при противоположном знаке нельзя не заметить. Отмалывая грехи, богатый человек обращается к Богу и дает деньги на храмы, платит тем самым налог. Явно, однако, недостаточный, чтобы успокоить душу. Требуется что-то еще, что-то земное. Всех бедных не оделить, на это не хватит никаких барышей. И тогда в поисках примирения с действительностью, тщетных, конечно, поисках, богатый человек платит налог за свое мирское благополучие благополучию духовному — как он его понимает. Он строит школу или больницу, назначает стипендии ученикам, покровительствует людям не от мира сего — художникам, поэтам и актерам, видя в них какой-то смутный и непроявившийся, не доведенный до конца знак от всевышнего, находящийся на пути к отчетливому изображению, когда на нем выступят имена благодетелей. Это психология вины за богатство, если она есть, психология откупа. Тут важно — «если она есть». Ее могло и не быть, чаще всего ее и не бывало. Это зависело как от «спелости» души собственника, так и от принятых в его обществе правил. Но если уж «есть», зачем же подозревать такую вину обязательно в дурных намерениях, коли она сослужила добрую службу?

Из многих и многих отзывов о старой Кяхте, в большей части восторженных или деловых, посвященных торговле, впечатления и статьи уже упоминавшегося здесь Д. И. Стахеева отличаются сдержанностью и сарказмом. Мало что нравится в Кяхте будущему редактору «Нивы» и «Русского вестника», в начале 60-х годов пробовавшему перо в «Кяхтинском листке». Купцы у него ленивы и бездельны, нравы дикие, собрания купечества и выборы старшины достойны комедии, акциденции, взимаемые с каждого чайного места якобы для улучшения торговли, идут неизвестно на что, чиновники покупаются, общественные деньги тратятся на приобретение в Иркутске библиотеки — на что кяхтинцам библиотека? Вот здесь-то и зарыта собака: край земли должен быть краем во всем — в морали, во взглядах, организации дела и быта, всяческих общественных движениях к культуре, достойных лишь того, чтобы приезжему образованному человеку над ними потешаться. Надо же, библиотеку покупают, рвутся в образованность!

В наблюдениях Стахеева, вероятно, немало верного, он в Кяхте жил и судит о ней не понаслышке, но вот с этим и теперь, спустя сто с лишним лет, трудно согласиться: знай сверчок свой шесток. Гяушь, выходит, на то и глушь, чтобы оставаться там навсегда, географическая отдаленность означает отдаленность и заброшенность во всем, разница со столичным уровнем есть разница непреодолимая, налагаемая самой природой на развитие человека. Сибиряк, получивший образование в Петербурге, способен, вероятно, достичь в умственных и деловых занятиях не меньшего, чем европеец, если своей деятельностью он изберет удобренную почву, но у себя дома вся обстановка вокруг действует оцепеневающе и подчиняет себе.

Обстановка действует оцепеневающе, а всякие попытки изменить обстановку вызывают насмешку. И этот взгляд на Сибирь и сибирских просветителей держался долго, Сибири даровалась одна роль — быть проездной территорией для общения с другими землями и содержать в себе богатства для удовлетворения на-

стоящих и будущих высочайших потребностей. И заводить культуру, украшать города, подвигать местных жителей к духовному обзаведению означало примерно то же, что от извлеченного из вечной мерзлоты мамонта ждать соловоиных трелей. Приобретение Сибиряковым для Томского университета библиотеки Жуковского вызвало позднее в определенной элитарной среде ту же реакцию: зачем Томску библиотека Жуковского, национальное российское достояние?

Уж в чем, в чем, а в безынициативности и неповоротливости кяхтинское купечество обвинить невозможно. В конце 60-х — начале 70-х годов, когда чай в Россию пошел через моря по открытому Суэцкому каналу, оно выдержало страшный удар. Перевозка по воде обходилась в десять раз дешевле, чем через всю матушку-Сибирь по дождям и морозам. Вот тут, когда грянула беда, и обозначилось, чем была Кяхта для Сибири: извоз по всему пути от китайской границы за Урал, мануфактурные фабрики и кожевенные заводы, работающие только на Кяхту, многочисленные ремесла среди населения, заготовка пушнины от Оби до Камчатки. Кяхтинцы сделали все, чтобы их прошение дошло до царя и было рассмотрено к удовлетворению спасительных предложений: пошлину за фунт чая снизили с сорока копеек до пятнадцати, цветочного — с шестидесяти до сорока, таможню перенесли в Иркутск, позволив беспошлинную торговлю в ближних районах. Европу как рынок сбыта Кяхта потеряла, но Сибирь и часть России остались за ней. И тридцать лет после того, до следующего, еще более мощного удара, Кяхта продолжала процветать и благополучно конкурировать с морскими перевозками. Кяхтинский купец пользовался уважением во всей промышленной и торгующей России, кяхтинский купец первой гильдии — это было особое, высшее звание и огромный авторитет. Он проникал в Монголию и Китай и становился компаньоном чайных фирм, открывал фабрики в Пекине, добывал золото на Лене и бил бобров на Камчатке, участвовал в проникновении на Аляску и занимался хлопком в Туркестане. И даже чуть было не погубивший Кяхту Суэцкий канал умудрился использовать в свою выгоду, провоза чай вокруг Европы через Ледовитый океан в устье Енисея, где не существовало пошлины. Он провел к Байкалу собственный, намного короче почтового, чайный тракт со станциями, ямщиками и рабочими, имел на Байкале и Амуре свои пароходы, приводя их опасными и дальними путями не откуда-нибудь, а с лондонских верфей.

Тут, вероятно, вернее было бы говорить о новом типе русского человека, своей деятельностью сокрушившего сказку о тяжелой русской созерцательности и симпатичной лени. После поразительного по своему упорству и устремленности броска казаков через Сибирь к Тихому океану в первой половине XVII века, после мангазейского торгово-промыслового чуда, вызывающего удивление до сих пор, после шелиховской кампании в Америку — Кяхта была следующим «пружинным» действием на просторах Сибири русского характера, показавшего способности не только накапливать, но и мощно проявлять энергию.

На рубеже двух столетий Кяхту ждал новый удар. И тут Д. И. Стахеев прав, когда он пишет:

«Обстоятельства, вызвавшие упадок кяхтинской торговли, наступили не вдруг и вырастали в продолжение многих лет, но торговый люд не замечал этого; начальство тоже не отличалось достаточной прозорливостью относительно предстоявшей для Кяхты опасности. Враг, покушавшийся на интересы Кяхты, был сильнее всякого начальства, он роковым, неотразимым образом разрушал все преграды, встречавшиеся на пути его победоносного шествия. Враг этот — пар. Он убил Кяхту».

Пар этот — Транссибирская магистраль, взявшая на себя перевозки. Кяхтинское купечество еще пытается сопротивляться, отыскивая новые дела, готово строить на концессионных началах Трансмонгольскую железную дорогу, участвует в изысканиях, но начинается мировая война, затем революция и гражданская война... Кяхту занимают войска интервентов. Ей предстояло сыграть еще одну важную роль — стать центром по подготовке монгольской революции. Кяхтинские тузы, совсем недавно уверенные в том, что среди местных рабочих не может быть недовольных, с удивлением и страхом взирают на уличные процессы с красными флагами, выступившие против иноземцев и старых порядков. И, наконец, проснувшись однажды, Кяхта видит, как догорает Маймачен, партнер ее по торговле с китайской стороны, бок о бок с которым было прожито почти

Напрашивается слово, что история рванулась вперед, теряя по пути своих любимцев, однако история к своим любимцам возвращается редко, а так хочется, чтобы Кяхта когда-нибудь снова обрела и величие, и достоинство, и славу.

* * *

Уже и «бабье лето» отгорело, наступил октябрь, а все такая гуляла по Забайкалью благодать с ненастужным теплом и солнцем, что впору было проверять календари. Люди раздевались до рубашек, дали стояли в чистых и отчетливых картинах, в бестощном воздухе висел горклый запах отстрадавших трав, от деревянных домов доносило нагретостью и стариной. Мы ходили по Кяхте и день, и второй, и третий, расспрашивая, сравнивая и раздумывая, то радуясь, то огорчаясь и недоумевая, поднимались на невысокие горы, одну и другую, вставшие по бокам города, и всматривались в рисунок улиц с таким вниманием, будто в нем могло явиться хоть тенью какое-то скрытое очертание.

Время, двигаясь одним могучим общим течением, для каждого из нас подробно и имеет вид своей родины. Если бы оно не склонялось, задерживаясь, над нашими городами и селениями — откуда взяться в них следам непоправимых остановок для даров и возмездия, как объяснить тогда, почему город то со вкусом и тщанием отстраивается, то разоряет себя, то теряет память, то начинает судорожно искать и восстаивать материальные и духовные ее знаки, на которые бы сошло и поселилось рядом неотчаявшееся разумие.

При взгляде на Кяхту невольно являются мысли о властной усталости Времени, оканчивающего свое второе тысячелетие, со случайными установлениями и пугаными, исключаящими одно другое, распоряжениями. На полуразрушенном Троицком соборе в парке крепится доска «Охраняется государством», рядом с отреставрированным и отданным под музей Успенским собором на месте городского кладбища разбит стадион, часть выковырнутых и оттащенных в сторону могильных плит валяется тут же, рядом со скамьями для зрителей, а нынешние юноши гоняют мяч на костях своих бабушек и дедушек. Памятники в честь борцов революции и жертв белогвардейских застенков (в начале 1920 года в Кяхте в течение двух недель продолжалась расправа над свезенными сюда со всей Сибири и Урала 1500 видными революционерами) имеют холодный, безликий, неоконченный, далекий от скульптуры вид, говорящий о недолгом казенном внимании, на последнем из них, поставленном только что в память 40-летия победы в Отечественной войне, неприличные надписи. Инструктивная, по инструкции память — что может быть безотрадней и печальней, и увеселительное благоустройство на месте погребений — что может быть святотатственней и разрушительней для народной нравственности?!

Нет, гордость темного незнания изжить не так просто, как накопить ее.

Но кто объяснит, отчего нас притягивают развалины былого величия? Дело тут, вероятно, не в тайне, в том, что должно быть ближе тайны, в роковой справедливости обратного действия: за амплитудой могущества амплитуда запустения и небрежения. Или природа мирового порядка, которая властной государств и экономики, не дает никому надежд на постоянство, или что-то еще? Во имя чего творится возмездие, которое здесь, в слободе, служит еще одним подтверждением какого-то всеильного закона, распоряжающегося по всей земле?

«Всего усадеб в Кяхте, считая в том числе Гостиный двор, собор, пожарное депо, ветеринарную станцию, аптеку, дома двух врачей и пограничного комиссара, общественное собрание, два-три дома служащих, было 35 — 40. Все они были расположены по широкой улице, посредине которой проходил бульвар, упирающийся в общественный сад. На площади перед садом на горе возвышался собор, построенный в 20-х годах итальянцами, специально выписанными в Кяхту, а за собором — обширный Гостиный двор. Но в этом Гостином дворе не было ни лавок, ни торговли. Там хранились разные товары, стояли таборы чая, производились разные работы по чистке кирпичного чая, пересыпки байхового; чаи зашивались (ширились) в кожи и т. д. Рядом с Гостиным двором стояло пожарное депо с пожарной командой, которую содержало кяхтинское купечество, а команда должна была охранять Кяхту от пожаров».

Такой увидел Кяхту в ноябре 1885 года И. И. Попов, воспоминания которого 211

здесь уже приводились. Мы были в Кяхте в октябре 1985-го, без одного месяца спустя ровно сто лет.

В Гостином дворе расположилась прядильно-трикотажная фабрика. Воскресенский собор, когда-то сказочно богатый и красивый, красоту которого подновлял после итальянцев Николай Бестужев, пострадал больше всего — точно по тому же самому закону за степень красоты и богатства. Теперь собор в лесах реставрации, которая затянулась на пятнадцать лет, после чего решено устроить в нем музей географических открытий в Центральной Азии. Дело хорошее, и в Кяхте самое место такому музею, только когда это еще будет! А пока слепо и безучастно, то ли оживленный, да потерявший интерес к жизни, то ли в рост заму-ми-фицированный, стоит собор в двадцати шагах от пограничного шлагбаума, и так и кажется, что жметя к нему, отжимаясь от той стороны, где за папертью проходила улица с бульваром и общественным садом.

Ни сада, ни бульвара, ни, добавим, пруда нет и в помине. И быльем, и травой поросло, давно занялось пустырем, по которому фабрика начинает ставить одноэтажные жилые строения. От улицы миллионеров осталось три дома: один, вблизи границы, принадлежал, вероятно, Швецову, образованному человеку, знавшему языки и европейскую культуру и державшему для детей в этом доме гувернантку, что в Кяхте не было принято; второй дом на противоположном конце и в памяти людской потерял хозяина, третий на середине улицы... вот тут, когда разбирали на дрова или перевозили за границу непролетарские усадьбы, кто-то, чей-то охранительный промысел удержал решительную руку... этот дом принадлежал А. М. Лушникову.

И в смерти не скупилась судьба на широкие жесты кяхтинцам: А. В. Швецов похоронен в Швейцарии, а А. М. Лушников на своей даче в Усть-Киране, в тридцати верстах от Кяхты. Купол Троицкой церкви, главного храма в городе, выстроен был в свое время купцами в форме глобуса — как напоминание о возможном поле деятельности для торговли. Но купол-глобус лет тридцать назад сгорел, а могилы кяхтинцев и действительно рассеяны по всему белу свету.

Лушниковский дом под теперешним номером пятнадцать редко оставался без гостей. Здесь жилали братья Бестужевы, Николай и Михаил, сюда они привозили из Селенгинска своего товарища по каторге и ссылке Ивана Горбачевского. А. М. Лушников сохранил известные ныне всем рисунки и портреты Николая Бестужева, в доме свято относились ко многим декабристским вещам, подаренным и приобретенным, часть их сейчас в кяхтинском краеведческом музее. Приезжая в Кяхту, сюда наверняка заходил Сергей Трубецкой. Здесь останавливались во время экспедиций Г. Н. и А. В. Потанины, Александру Викторовну привезли сюда из Китая последней дорогой, чтобы предать родной земле. Н. М. Пржевальский считал себя другом Лушникова — и его дух живет в этом доме, проклиная, должно быть, неудобства, которые он вынужден ныне терпеть. Здесь американец Кеннан удивлялся вольным речам хозяина, оглядываясь на окружающую того роскошь, в этих стенах родился Д. И. Прянишников, знаменитый ученый-агрохимик. Ядринцев и Козлов, Обручев и Клеменц, Легра и писатель Максимов — многих и многих принимали, угощали, слушали и поздравляли в просторной гостиной на втором этаже этого дома.

Об Алексее Михайловиче Лушникове, о меценате, покровителе и попечителе учебных и культурных заведений в Кяхте и окрестных селах, о недоужинном его уме и приятных наклонностях к наукам и искусствам, заставлявшим его наклонять к ним и свой капитал и располагавшим к нему передовых людей того времени, можно было бы рассказывать немало. О нем сохранились теплые воспоминания Михаила Бестужева и отзывы известных его сибирских современников. Это был внешне удачливый и внутренне удачный тип русского человека, который до всего, до знаний и почестей, доходит сам и который в отличие от европейца, оставшегося бы этим счастливым, всю жизнь мучается от неудовлетворенности и взыскательности своей души, не успокаивающейся ни благотворительностью, ни образованием. Интересно, что «попечительство» сына Алексея Михайловича — И. А. Лушникова пошло дальше: в 1905 — 1907 годах он издавал в Кяхте газеты «Байкал» и «Наш голос» явно революционного содержания.

Через кучи мусора мы подходим к дому и долго стоим возле него. Первый этаж, как обычно и строились богачи, каменный, с небольшими скромными окнами, второй — деревянный, высокий и светлый, глядящий вокруг далеко и открыто. Сейчас он никуда не смотрит или смотрит только в себя, в свое запустение и

старость. Два окна в верхнем этаже выхлестаны, в них с крапивным торжеством расквашиваются лохмотья бумаги и тряпок, резные украшения по карнизу обломаны, деревянная лестница со двора в лоджию с обвисшими перилами едва держится. Величественная каменная кладка ворот, оставшихся без стены, торчит мавзолеем сооружением. Летний дом в китайском стиле во дворе не сохранился, а дом для челяди и хозяйственные постройки в глубине частью уцелели и выглядят теперь значительней и уместней, чем главный дом, являющийся памятником республиканского значения и взятый, стало быть, под государственную охрану. В нем собираются открыть музей замечательных кяхтинцев, хочется верить, что он и будет открыт, если дом до того не сторит или не развалится: не торопится российская улита за своей национальной памятью, ой не торопится.

И это, вероятно, в нашем характере: нам надо, чтобы развалился или дошел до последнего края разорения, а уж затем во всю прыть проявить энтузиазм восстановления, мы ни в чем не признаем экономной половины.

Высоко в небе над пограничной полосой парит ястреб, высматривая добычу с той и другой стороны, за ним с земли следит парень с карабином, щурясь от солнца и бездонного неба. Сухой воздух, отдающий песком, легонько отдыхивается от переспевших запахов кружным шевелением; дальние сосняки на горах клубятся светлой зеленью; в желтом дыму от догорающих лиственниц плавает город. В такие минуты, заморочив теплом, время как бы оставляет землю, воспаряя в свои небесные высоты, и не остается у нас ни прошлого, ни настоящего, только следы того и другого.

Нет, надо в город, там все на своих местах.

По главной городской улице бредут коровы, как сто, как двести лет назад, греются на лавочках старики. Где-то во дворе восторженно голосит петух. Под арки торговых рядов негусто и неторопливо втягивается народ, три молодые, в меру и со вкусом упакованные в одежды женщины, офицерские жены, со скукающим разговором стоят возле новых красных «Жигулей». От высокого крыльца булочной, в которой в боевые времена жил Нестор Каландаришвили, за офицерскими женами наблюдает местный отрок, ставя в уме плюсы и минусы своей отроковице. На дверях Дома культуры, за амбарную архитектуру которого рядом с Троицким собором раньше пороли бы розгами, висит на прилепленной скромной бумажке объявление:

Кто не робкого десятка,
Кто душой всегда игрив,
Всех задорных приглашаем
В театральный коллектив!

Если слобода за богатство свое была наказана жестоко, то город, живший скромнее, в большей части сохранился и до сего дня донес свой патриархальный вид, тут и там помеченный, правда, новостройками, но по-прежнему крепкий и молодеватый. Воспоминания по былому, по прожитому и пройденному — это еще не воспоминания, а припоминания, восстановление того, что было, не содержащее открытий. Полное и глубокое воспоминание — отыскивание того, чего не было, но должно было быть, чувствительный и радостный отзыв на запоздавшую картину, встреча с заблудившейся родственностью. Так мы и ходили по Кяхте, бывшему Троицкосавску, почти угадывая, что будет за углом и в следующем дворе, безошибочно выходя туда, где нельзя было не постоять и что нельзя было не увидеть для какого-то берегающего воспоминания.

Словно тут, в этих улицах, ты и должен был родиться, но отчего-то не получилось, перенеслось в другое место.

Кяхте повезло, ее миновали опустошительные пожары, а в последние десятилетия ей не хватало денег, чтобы устроить повальный снос и явиться в новом облике. То, что такое могло произойти, видно по некоторым оглушительным попыткам. В этом месте кяхтинские отцы города могут возмутиться: ничего себе «повезло!» — а квартирная проблема, а десятки мелких котельных, а благоустройство, а современность! Неверно понятая современность в виде стандартных многоэтажек стала эпидемической болезнью наших маленьких городов, утвердительной ценностью их благополучия, превратилась в высоту положения. Нет, пока не научимся мы строить вровень с прежней архитектурой, не уничтожая, а развивая и дополняя ее в сложившемся издавна облике, пока не исчезнет дурнострой, лучше не торопиться. Лучше подождать, пока придут люди, способные ухватить про-

шлое и не относиться к городам только как к поселению собственных жизнью. Речь тут не об одной лишь Кяхте; Кяхте, повторим, повезло. И не всегда, к несчастью, звание исторического города может служить защитой от разрушительного передела. Иркутск и в ранге исторического города, в облечении охранных прав и законов не уберег свой старинный центр, перечеркнув его чужеродной геометрией самозванного модернизма.

А кто подхватывает, во что превращает благие наши намерения с мемориалами, которые, за малыми исключениями, везде и всюду на сибирских просторах, отведенных под духовные поля, выглядят как памятники памятникам, как захоронения юбилеев. Мемориалы стали способом благоустройства, в котором тяжелый, щедро уложенный бетон замуровывает и замораживает, а не пробуждает чувствительные токи между настоящим и прошлым, между человеком и исто-



*Памятник
А. В. Потаниной
жены сибирского
писателя
Г. И. Потанина*

рийей. Только ли вкус отказывает нам или прежде того оказались перекрытыми памятнопроводящие каналы? Культура памяти говорит о культуре жизни и культуре поколений; примитивность городской архитектуры мы способны оправдать неотложными нуждами, требующими квартир в каких угодно стенах, богатые, но холодные знаки памяти свидетельствуют о расточительстве бедности.

В Новоселенгинске, на месте захоронения Николая Бестужева, жены и сына Михаила Бестужева и детей Торсона, теперь тоже мемориал, являющийся таким же площадно-бетонным торжеством, из которого неловко, как сорняки в протравленном чистом засеве, выглядывают скромные старые надгробия. На могучем бетонном опоясе агитация наглядная в виде высеченных сцен из жизни декабристов и рядом агитация письменная. Все это щедро, широко, не жалея трудов, денег и метров, кроме необходимого здесь клочка земли, куда ушел и чем стал Николай Бестужев, одна из самых ярких и благородных декабристских фигур, так много сделавший и для блага этого края. Кроме клочка земли, куда бы могла упасть слеза чувствительного потомка и откуда ответным благодарствованием могло донестись ожидаемое дуновение. Теперь не упадет и не донесется, зато, не опасаясь замочить в непогоду ног на твердом, ходи и рассматривай перелицованные хрестоматийные картинки, читай известные слова о том, что «на обломках самовластия напишут наши имена».

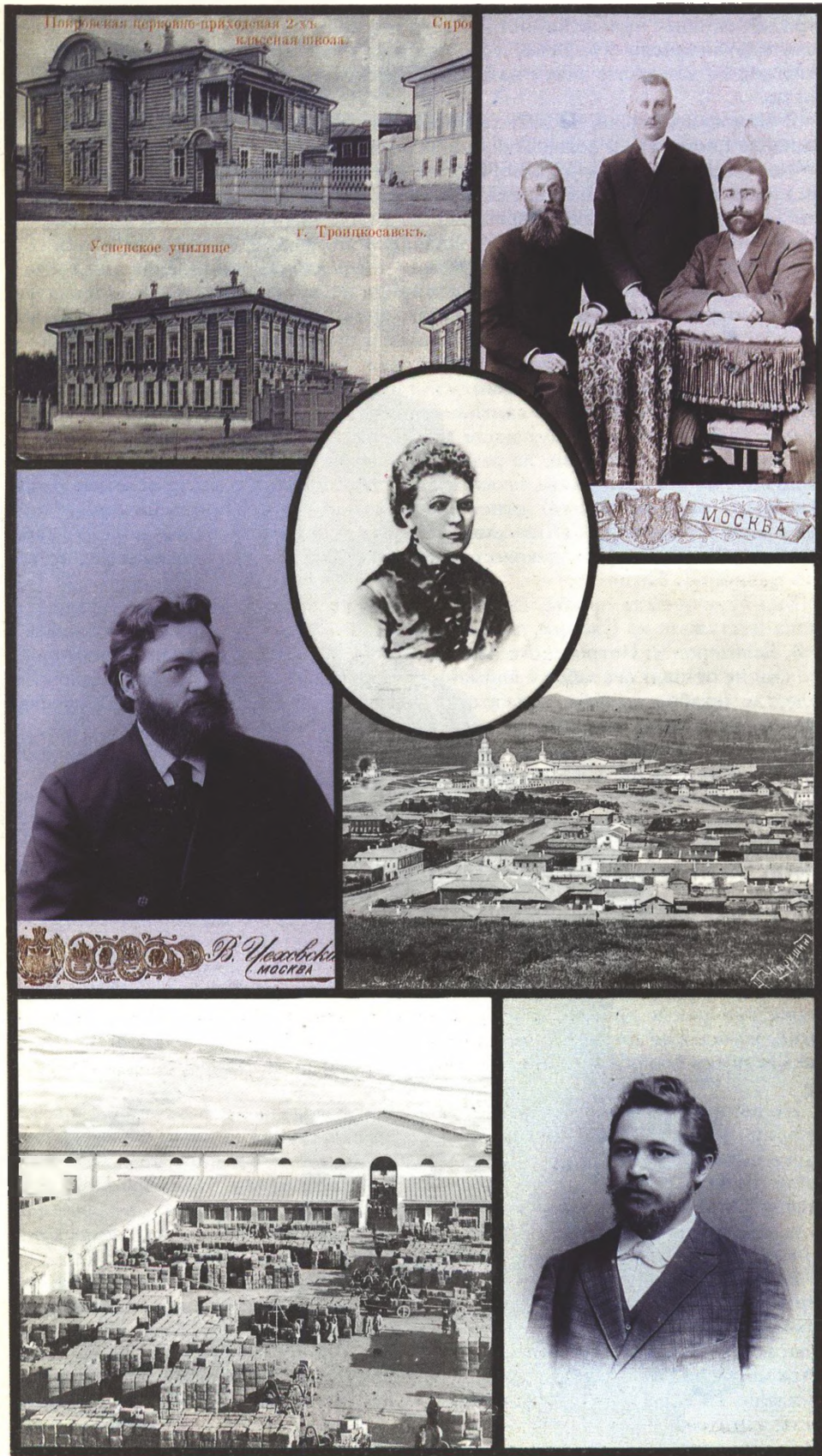
Имена, верно, написали, да разве это все? На могилы к великим гражданам люди идут не для знакомства и восполнения образования, а для просветительства духовного, ради нескольких мгновений чувствительного прикосновения, бывания в мире человеческой вознесенности. Ради ощущения себя в нем и его в себе, угадывания не имеющих знакового выражения пособий, для постижения истинных ценностей бытия.

Было тут прежде просто, скромно и близко к отошедшим. При отъезде Михаила Бестужева из Сибири, после смерти брата и жены, друзья Бестужевых — Б. В. Белозеров из Петровского Завода и А. М. Лушников из Кяхты пообещали, что они не оставят без забот и внимания родные ему могилы. На Петровском Заводе, где декабристы отбывали каторгу, отлиты были памятники и металлическая дверца для ограды, которую решили выложить камнем. Рядом поставили часовенку. Надо сказать, что захоронения эти не в самом Новоселенгинске, а в пяти верстах от него, ныне в безлюдном месте, а тогда неподалеку от бестужевской заимки, где жили декабристы. Сейчас там свалка и заросли лебеды на месте избищ. Из неглубокой пади хорошо видна Селенга, текущая среди голых берегов, на противоположной стороне белеет церковь — единственное, что напоминает о старом Селенгинске, знаменитом граде по дороге в Китай, и хранит его вечный покой.

Да и все вокруг здесь дышит покоем и настраивает на дальние раздумья. При вносе и выносе Селенги высятся сторожами скалы, дремотно лежат под солнцем безлесые курганные горы, молчаливые свидетели походов чингизидов на запад, сухо пахнет чебрецом и полынью. Это уже восточная картина, существующая в древних очертаниях и как бы надземная, строение иных богов, начальные письмена великих азиатских философий. Эту землю Николай Бестужев полюбил и много размышлял о ней в письмах и беседах с друзьями.

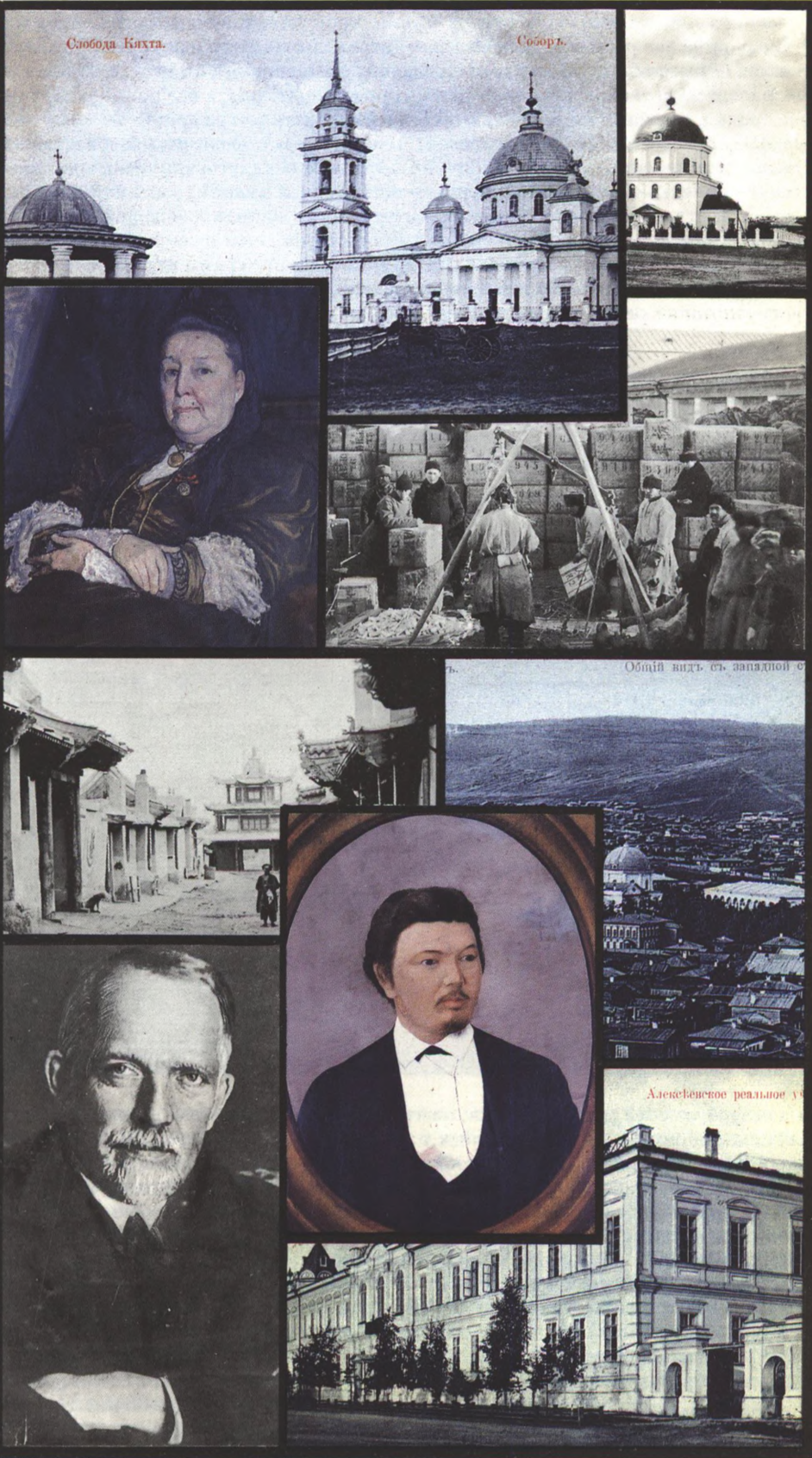
Но вернемся в Кяхту, в старую часть города, уцелевшую от переделок. Если природа говорит о вечности, то людские поселения должны говорить не о тщете человека, ненадолго приходящего в мир, а об остающемся после него тепле. Память — это и есть тепло от человеческой жизни, без тепла памяти не бывает. По тому, как и в каких стенах жили люди, можно судить, чем они жили, была ли их жизнь продолжением народной направленности или ее искривлением.

Идешь по Кяхте (по Троицкосавску) и только смотри. То вдруг явится не сказочное, нет, а былинное видение — толстостенное, как крепость, с эконоными, словно бойницы, окнами и тяжелой замшелой крышей. Вровень с избой глухой заплот, ворота и калитка с витым чугунным кольцом под навесом, со двора выносятся могучая лиственница, как бы не выросшая, а выстроенная под стать общему плану. То в двадцати шагах от крепости такая выплывает навстречу форсисиста, что только ахай: теремная, высокая, многооконая и многотрубная, сияющая, разукрашенная резьбой, с боковой террасой в верхнем этаже, с затейливыми



Из кяхтинских фотографий и портретов прошлого века:

1. Церковноприходская двухклассная школа.
2. Успенское училище.
3. С. С. Сабашникова — мать известных издателей М. В. и С. В. Сабашниковых.
5. Чайный двор.
7. Общий вид Кяхты прошлого века.
- 4, 6, 8. Из старых кяхтинских фотографий.



9. Город Троицко-савск в прошлом веке.
10. К. Х. Лушникова.
11. Город Маймачен.
12. Издатель М. В. Сабашников.
- 13, 15. Троицкий и Воскресенский соборы в пору расцвета Кяхты.
14. Торговля чаем.
16. Портрет кяхтинского купца И. И. Першина. Художник П. Н. Рязанцев. 1876 год.
17. Троицкосавское реальное училище.

и фигурными, будто наскакивающие по углам на крышу змеи-горынычи, водостоками. Так и чудится: растворится сейчас наверху окно и капризный голос, перепутав времена, чего-то потребует или прокричит что-нибудь восторженное. Конечно, в кружеве резьбы там и сям дыры, дерево потемнело и потрескалось, одно из окон, обрывая бодрую музыкальную фразу, за ненадобностью заделано, в другом фальшивым звуком заменена рама, терраса подгнила, а все равно — картина, да и только, стоишь и не можешь отвести глаз. Рядом дом попроще, но тоже не из рядовых, какой-то весь из себя живой, молодеватый, задиристый, по виду — из разбогатевших приказчиков. Следуешь дальше — и вдруг торцом выходящая в улицу величественная стена, аккуратно выложенная камнем, раз и навсегда ухоженная, ступами понижающаяся ко двору, сооруженная для защиты от огня и ветров. Дома, который она защищала, уже нет, а она стоит и все ждет и ждет, когда он появится на прежнем месте. На другой стороне улицы купеческая мелочная лавка, под что-то хозяйственное, как не под дровяник, приспособленная, обратит внимание резным затвором, поверх нее на четырехскатной крыше, выгля-



дывающей из соседнего порядка, на трубах, как диковинные птицы, ажурные дымники, сбоку на высоких конных навершиях такая карусель из резьбы, что поневоле потянет рассмотреть поближе. И так всюду. А во дворах, едва не в каждом дворе, и вовсе старина: вросшие по окна в землю избушки, почерневшие и подряхлевшие амбары, завозни, сараи, мастерские — начала и задворки именитых и неименитых трицкосавских родов, до сих пор вместе с подручностью, которой пользовались в работе, хранящие строй миновавшей навсегда жизни.

Иволгинский дацан.

В 60-х годах пограничники разбирали одно из старых строений и наткнулись на холст. Оказалось, М. В. Нестеров. Теперь картина в местном краеведческом музее. Там же еще одна находка неизвестного автора итальянского письма. В Кяхте надо удивляться не находкам, а тому, что их мало; вероятно, самое ценное, что могло бы стать собственностью музея, погибло вместе со слободой. Сколько здесь должно было сохраниться картин, рисунков и изделий одного лишь Николая Бестужева, которого купцы не однажды приглашали писать портреты и обра-

за; вещи, сделанные руками братьев-декабристов, среди кяхтинцев были в необычайном ходу именно потому, что они бестужевские, сразу становящиеся реликвией и гордостью от авторства. Одним из их изобретений — сидейкой (так называлась двухколесная рессорная коляска) пользовались повсюду в Сибири, особенно она была незаменима по разбитым и горным дорогам, каковые у нас в большинстве.

Ныне в сидейке, для которой требовалась лошадка, уже не ездят, в качестве экспоната стоит она, возбуждая любопытство, в музее. Из лушниковского дома еще при организации музея сюда перешло бюро-конторка Михаила Бестужева, тогда же, очевидно, собраны были другие декабристские вещи, в том числе пистолет Николая Бестужева и несколько его акварельных работ. Говоря о музее, надо признать, что краеведческий музей по-кяхтински обширен и богат, это единственное, что осталось в сохранности от былого величия города. Минуло сто лет со дня его открытия — столько прошло времени, как с появлением здесь группы политических ссыльных (И. Попов, супруги Чарушины и др.) началась новая вол-



*Мемориал декабристам, город
° Ново-Селенгинск.*

на общественного и просветительского движения в Кяхте, результатом которого были и музей, и Географическое общество, и публичная библиотека. Зайдя в нынепешнюю библиотеку, мы не нашли в ней совсем ничего из собранного среди кяхтинцев в ту пору — куда-то увезли, хорошо, если не на свалку, пренебрегли радением и трудами энтузиастов, и в старые времена бескорыстно работавших в пользу города.

Тогда это было, кажется, последнее культурное возбуждение, в котором главную роль играла уже политическая интеллигенция. Затем, разрастаясь, возбуждение стало революционным, и для Кяхты, как и для всей страны, наступили иные сроки. Кяхта полностью потеряла свое торговое значение, звучание ее, все больше заглушаясь, превратилось с годами в местный звук. Теперь Кяхта — город всего лишь районного подчинения со всем тем неизбежным, что заключено в этом ранге, с отношением к городу извне и настроениями внутри. Она не попала в список исторических названий, и необходимые реставрационные работы потянулись в ней под ту степную восточную песню, которая не имеет конца.

По Кяхте ходишь с противоречивыми, то с горьким, то с радостным, чувствами. Словно в ней давно поселились два хозяина, непрерывно, в течение многих лет, воюющие друг с другом. Один хлопчет, чтобы Кяхта с достоинством стояла в полный и славный свой исторический рост, другой склоняет ее к слепому раболепству перед сегодняшним днем. Один открывает филиалы музея, второй, разбросав остатки надгробий, выравнивает на могилах стадион и наслаждается звуками несущихся с него матов. Один караулит, чтоб не сожгли до конца Троицкую церковь, второй с усмешкой ставит впритык к ней общественный туалет и рассчитанным попустительством превращает в оное место весь парк. Один понимает, что нравственность не может возрасти на одном лишь верхнем слое, второй и его портит примитивными, казенными сооружениями.

Эти недоумения нужно адресовать не только Кяхте, это беда многих наших городов. Но Кяхта — город маленький, и потому ее противоречия заметней. Они соседствуют столь явно, заявляя свои права на гражданство с переменным успехом, что невольно начинаешь размышлять: а где большинство наше — на стороне отеческой памяти, от коей в немалой степени зависит народное благоденствие, или на стороне никак не изживаемого воинствующего небрежения к своим святыням? С кем мы, против кого мы, когда наконец наступит очистительное отрезвление?



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Русское Устье

ДОСЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Я услышал о Русском Устье поздно. Узнай я о нем лет на десять раньше, многое из того, что осталось теперь в воспоминаниях, удалось бы тогда захватить еще в жизни и действии. С тем же самолетом, с которым я прилетел в первый раз в Полярный, уезжал в больницу последний замечательный русскоустыинский сказочник Михаил Иванович Чикачев. Из больницы он не вернулся. За десять лет сюда добралось телевидение, понаехали с материка посторонние люди, поумирали досельные, ведавшие старину, попадали и покосились кресты на многочисленных кладбищах по Индигирке, и все больше стали говорить «по-гамосному», по-нашему, теряя архаику и чуднозвучие собственного языка.

Я застал Русское Устье, как мне кажется, на самом перевале, когда старина превращалась в отголоски старины, в тот момент, когда с нею навсегда прощались. Настоящее, так долго отстававшее здесь от общего движения времени, сравнялось наконец с ним и по приметам и по ходу. И тут стали дробить суточные круги на часы и минуты, глядя прежде на отсчитывающие их приборы, а уж потом за окно или за плечо. И сюда проникло вселенское поспешание. По-прежнему полярный день сменяется полярной ночью, следуя древним инстинктам, прилетает и отлетает птица, закрывается и раскрывается в свою пору ото льда Индигирка, вслед за белым безмолвием тундры

наступает пятнистое и волнистое бурозеленое и таинственное ее молвие, но во всем этом есть нечто отличительное и приобретенное — будто природа принуждена была признать власть человека и, следуя извечному распорядку, делает повороты не сама по себе, а в соответствии с установленным им календарем. Ныне уже нельзя, как в начале века, сказать о русскоустыинцах: «За эти 300 — 350 лет они подверглись здесь, в царстве норд-оста, снега и льдов, своего рода анабиозу: застыли и всем укладом своей жизни, своей мысли и своего говора и оттаять пока не могут» (В. Богданов).

В последние два, много в три десятилетия они не только оттаяли, но вошли в единый градус человеческого бытия, которое при всех внешних различиях на юге и севере, на востоке и западе во внутренних отправлениях приближается к общей для всех норме. А норма есть норма, она умеряет и краски, и звуки, и все остальное. Единый стиль жизни — то же самое, что единый фронт, в который надобно становиться, чтобы соблюсти прямую линию. Он благоденствует стилю, но обедняет жизнь.

Мало что сохранилось нынче от Русского Устья, о прошлом которого остались два интересных свидетельства — в царское время книга политссыльного В. М. Зензинова «Старинные люди у Холодного океана» и книга А. Л. Биркенгофа, относящаяся к концу двадца-

тых годов, — «Потомки землепроходцев». Уже сами эти названия говорят о необычности, выделенности судьбы русских в низовьях Индигирки, о сконцентрированной потомственности по крови, по духу, вере и изначально. Что особенно ценно — оба автора сделали там фольклорные записи и составили словарь досельных людей. Были и другие свидетельства, и более ранние, и поздние, но походные, в общем ряду воспоминаний, впечатлений и научных записок, эти же два посвящены в основном Русскому Устью и являются наиболее полными. По ним нетрудно судить, что еще живо и доживает и что окончательно кануло в преисподнюю.

В Русском Устье говорят, как в дальней старине, не в двойном, а в тройном преувеличении: не преисподняя, а треисподняя, не пресветлое, а тресветлое. Помните, Ярославна в «Слове о полку Игореве» восклицает: «Светлое-гресветлое солнце!»

Из всех потерь, случившихся в Русском Устье, самая большая: чуть было не отставили навсегда Русское Устье. Сорок с лишним лет назад проводили на Севере поселкование (вон когда еще примеривались к «неперспективной» деревне), и все «дымы», разбросанные по Индигирке на десятки километров и составлявшие вместе Русское Устье, в том числе и селение под собственно этим названием, свезли в один табор и, чтоб не травить память историей, недолго думавши, нарекли его Полярным. Несть числа по побережью этим Полярным, Русское же Устье на весь белый свет одно-единственное, имевшее к тому же много чего такого, что следовало беречь как зеницу ока. И только совсем недавно название вернулось.

Но и без имени на карте оно оставалось тем не менее, вопреки заскорузлой чиновничьей логике, в живом употреблении. В Полярный брали билет на самолет, но жили в Русском Устье. В справках, распоряжениях, отчетах Полярный, а в памяти людской — по-прежнему Русское Устье. Полярный подымала Индигирка, обрушивая вместе с яром, выбранным наскоро, избу за избой в воду, а Русское Устье каждое лето, когда разъезжаются семьи по «пескам» (рыбачьи участки по реке), оживает по всем трем протокам Индигирки, потому что «пески» эти, как правило, там же, где стояли деды и прадеды и где во множестве остались их могилы. Полярный знали авиаторы и нави-

гаторы, пограничники и геологи, а охотники и рыбаки от Яны до Колымы знали и знают Русское Устье. И это не просто привычка к устоявшемуся названию, это неделимая часть прочно созданного местного мира, в котором человеческое срослось с природным и стало единым.

Сетуя, что лет на десять, по крайней мере, я опоздал приехать в Русское Устье, надо оговориться, что опоздание это не было совсем уж полным и окончательным. Конечно, многое в обычаях, верованиях, уставе жизни русскоустинцев ушло безвозвратно или из явного перешло в тайное, но многое при внимательном взгляде и сохранилось. Оно не осталось на месте, а отдалилось, но его еще можно было рассмотреть. Я опоздал встретить его там, где оно жило сотни лет, но различимо было, как, прощаясь, оно уходит. В тундре видно очень далеко: скорбную, ветхую, изработанную, но и со спины держащуюся благородно и прямо, фигуру старичка, отступающего в полярную ночь, еще не составляло труда углядеть.

Она отступала, но не все свое забрала она разом, эта фигура, с собой. Разом накопленное и отселянное за века было не унести, и оставшегося хватит еще на годы и десятилетия. Я застал здесь язычество, и вообще где бы то ни было поразительно живучее в русском человеке, а тут и вовсе составляющее как бы природное произрастание, обновляющееся с каждой весной. Вероятно, я был готов к тому, чтобы почувствовать ее, но некую отдельную тайну Русского Устья я ощутил так скоро, словно она лежала на виду. Ощутил и в лицах индигирщиков, и в их рассказах о былом, в грудах, которые не меняются, и в междоусобных отношениях. И, наконец, я услышал язык... Господи, что за счастливый это вестник, что за улада и удача — в том слове и звуке, в которых он донесся до наших дней, — русский язык в Русском Устье!

ПРИЛОГ

Мы любим тайну, нам хочется, чтобы существовала и лох-несская незнакомка, и снежный человек на Памире, и таинственный чучуна в сибирской тундре, и «летающие тарелки». Без этого нам неуютно и холодно в проскоженном и объясненном мире. Всякое известие о чем-либо неизвестном возбуждает наше воображение и подает

надежду, что у природы все-таки остались в запасе силы, чтобы сопротивляться безжалостному скальпирующему уму. В большинстве из нас как бы живут два человека — один дитя своего века и образования, согласившийся с механическим устройством мира, и второй — радующийся всякий раз, когда логика первого оказывается под сомнением. Это одновременно едущий и толкающий, чувствующий и высчитывающий, слабый до какого-то неопределенного могущества и сильный до опасного, перетирающегося натружения. Человек сопротивляется сам себе, его мироощутительные функции не укладываются в одну стройную систему.

Ученый ум назовет тайной только то, что еще не открыто. То, что не может быть открыто, для него не существует, если бы даже на этом, не могущем быть открытым, стояла вся природа живого. А что забыто, утеряно, выпало из своего времени и не согласуется с принятыми сегодня объяснительными знаками, для него и вовсе рептилия. Не странно ли: все больше и больше познавая новое, углубляясь в этом познании на немислимые прежде глубины и высоту, человечество между тем за свою историю не однажды теряло материки, цивилизации, могущественные города и законы, а когда они случайно находились, не могло отыскать им в своих построениях места — движущая цепь соединена во всех звеньях накрепко, втиснута в нее негде. Все науки любят прямые устремительные движения — параллельные или кривые, с возвратными кругами, пути им ни к чему.

У русскоустыинцев есть прилог (легенда, предание), по которому их предки прибыли сюда не с юга, как повсеместно шло заселение Сибири по рекам и волокам, а ступили на эту землю значительно раньше с моря, уйдя на кочках от губительных притеснений Ивана Грозного. Прародина их — Русский Север, старые новгородские владения. В 1570 году, как известно, Грозный zelo свирепо расправился с новгородской вольницей, массовые казни прокатились валом по всем ее землям, заставляя уцелевших бежать куда глаза глядят. Глаза поморов глядели на восток, куда издавна плавали они за промыслом и где, отрезаемые льдинами, провели не одну зимовку, ведая тамошние условия и земли. Вероятней всего, не сразу, не за один переход и не за один

год достигли они Индигирки, быть может, в начале исхода и не знали они о ней, но, двигаясь от реки к реке, пользуясь слухами о более прибыльных землях и решив вовсе скрыться от государева надзора, вышли они наконец к этой реке, по западной протоке, названной потом ими Русской, углубились внутрь и верстах в восьмидесяти от моря основали Русское Жило.

В пользу достоверности этой легенды говорит одна излишне русская подробность: остановившись в устье реки Елони, притока Индигирки, пришельцы в первую зиму перепились и, сочтя это место неудачным, впоследствии оставили его и перебрались неподалеку на другое. Первоначальное так с тех пор и называется — Гулянка. Зензинов, проводивший в Русском Устье почти весь 1912 год, застал еще в устье Елони остатки старого кладбища, которое могли расчистить мореходы.

В первый раз я был на Индигирке весной, в конце марта — начале апреля, когда тундра лежала в снегу и зима даже и не поежилась от появляющегося солнца. Держались под сорок морозы, ожидалась пурга, весь свет бел был от снега днем и ночью, тяжелый и бесконечный его навал не давал никакой надежды на то, что когда-нибудь он может истаять. Для второй поездки я выбрал лето, на катере рыбоохраны мы спустились от Чокурдаха, районного центра, в низовья, во владения старорусских поселений. К Гулянке, рядом с которой летник Павла Черемкина, моего знакомого по первой поездке, мы подплыли поздним вечером. Подвизанные собаки молча смотрели, как подчаливает катер, но, как только сошли мы на берег, подняли лай. Из балка выскочил Черемкин, это одна из коренных фамилий Русского Устья, молодой крепкий мужик, известный на весь край охотник, запомнившийся мне тем, что он являл собой решительное исключение из мнения, будто на севере живут молчуны. Вот и сейчас, едва разглядев нас, он быстро и заводисто принялся рассказывать о случившемся, еще не остав от него, еще не решив, как поступить. Уезжал с сыном и племянником на четыре дня ремонтировать пасты (насторожи на песцов), а жена с детьми оставалась здесь — возвращается сегодня, никого нет, а на столе записка: какой-то зверь задрал собаку. А у него их здесь упряжка, пятнадцать сил, теперь и в поселок надо плыть за





15 В. Распутин

семьей, напугавшейся неизвестного зверя, и собак оставлять опасно.

Собаки, лохматые, крепколапые, сытые, умолкшие сразу же, как только заговорил хозяин, смотрели на нас с той мерой любопытства и равнодушия, которая у всякого рабочего существа составляет достоинство.

Здесь уверяют, что индигирская ездовая собака — лучшая в мире, и, кажется, так оно и есть. Не напрасно река эта в первых донесениях звалась Собачьей. Гибель хорошей собаки — потеря немаленькая, а теперь, когда охотники больше пользуются «Буранами», такая потеря не всегда и восполнима. Черемкин один из немногих сохранил упряжку, для него это не просто расчет, выгодно или невыгодно, выгодней как раз «Буран», на который не надо запасать рыбу, для самолюбивого, утвердившегося в коренниках среди местных промысловиков Павла Черемкина упряжка — это знак и отличие коренного русскоустыинца и потомственного охотника, верность традиции и благодарность ей за прокормление многих поколений своего рода.

Я спросил у него о старом кладбище на Гулянке. Черемкин слышал о нем, но на своей памяти ни могил, ни крестов не встречал. Скорей всего унесла Индигирка. Каждое лето, меняя нажим течения, река с ржавой тундровой водой набрасывается на свои берега и поглощает все, что стоит или лежит там живое и мертвое. Чуть выше Гулянки в местечке, называемом Юртушки, где летник Константина, старшего брата Павла Черемкина, старый рубленый дом, видели мы, проплывая, уже навис над водой, и хозяин, не дожидаясь, когда он обвалится, ставит в отдалении новый.

Стоял еще полярный день, солнце заходило ненадолго, и в слабых, бесплотных сумерках видно было далеко. От Гулянки Индигирка забирает круто вправо, затем разворачивается и идет проведать левую сторону: текущая по плоскотине, где все пути ей без всякой преграды открыты, она во все и тычется, выделявая такие кренделя, с протоками, проточками и загогулинами, что кажется, здесь не одна, а клубок рек, как клубок змей, собрались и все не расплзутся, измывая бескрайнюю тундру.

Рядом с Ледовитым океаном.

Основное русло, приняв Елонь, поворачивает вправо, и там крестами и бескрышей постройкой, последним, что от него осталось, появляется наконец Русское Устье, древнее пристанище досельных, где они, если верить преданию, оставались лет триста с гаком...

Если верить преданию... А какие основания верить ему? Или напротив: какие основания ему не верить?

«Индигирская река в юкагирской землице» была обнаружена государственными людьми (отряды Постника Ивана, Ивана Реброва) в конце 30-х годов XVII столетия. Сообщая об юкагирах и о том, чем можно служивым людям пропитаться в том краю и чем поживиться для государя, они не упоминают о поселениях русских. Или их тогда еще не было, или сыграла свою роль заинтересованная фигура умолчания, или проплыли другим рукавом. Все могло быть. Не надо забывать, что, убегая из России от притеснений, русские, если они даже к тому времени осели здесь, едва ли торопились показаться на глаза государевым слугам. Для того они и забирались в такую даль и гибель, чтобы их не сыскали. Решив посмотреть по Колымской протоке старое селение Станчик, где сохранилась часовня, мы на обратном пути заблудились в бесчисленных водных рукавах и отворотах и проплутали несколько часов, хотя вожами нашими были местные люди, знавшие все здесь наперечет. Что говорить о пришлых, появившихся впервые, могли ли они, будучи даже самыми опытными сведателями, в широко разошедшихся и донельзя запутанных разливах Индигиры снять полную и безупречную карту местности? Это не значит, разумеется, что русские непременно здесь были, но они могли быть, такую вероятность не следует исключать.

В. Зензинов приводит в своей книге слова одного русскоустынского старика: «Слышал я от старых, совсем старых людей, что ране река была вовсе юкагирская. Собрались люди из разных губерний и поплыли на лодках морем — от удущья спасались, болезнь такая. А в России их вовсе потеряли». Это, возможно, больше всего их грело, утверждало и общило на неприютной, голой и мерзлой земле — что «в России их вовсе потеряли» и на краю света не сыщут и не согнут до физического и духовного горба тяжелой и дурной властью.

В 1831 году, когда якуты, заявляя свои права на низовья Индигиры, решили добиться выселения оттуда русских, те защищали свое наследственное владение среди прочих и таким аргументом: «река сия найдена первоначально русскими кочами».

То, что такое путешествие могло состояться, подтверждают археологические раскопки на восточном берегу полуострова Таймыр, где в 1940 году найдены были следы зимовки русских поморов, относящиеся к самому началу XVII века. Плавали в начале XVII — как не предположить, что плавали и раньше? Некоторые ученые на это указывают с определенностью. Известны слова Б. О. Долгих из его статьи «Новые данные о плавании русских Северным морским путем в XVII веке», «что еще до присоединения побережья восточной Сибири к Российскому государству русские мореходы плавали в восточную Сибирь Северным морским путем, огибая Таймыр. Вероятно, многие пункты северного побережья восточной Сибири в это время уже были местом деятельности русских торговых и промышленных людей из северных поморских областей Европейской России».

Кстати, предание о прибытии в эти места первопоселенцев на кочах бытовало и на Яне, в бывшем русском селе Казачьем. Как знать, не шли ли они в свое время на восток одним отрядом, да часть мореходов осталась на Яне, а часть двинулась дальше и доплыла до Индигиры.

Но почему Индигира, неужели нельзя было, минуя по пути реку за рекой, выбрать менее суровую и более благоприятную для проживания даже и на Крайнем Севере, какие они могли искать выгоды? Отдаленность отдаленностью, если они видели в ней спасение, но и в отдаленности без всякого примана они не стали бы переходить через край, а тогда это было именно «через край», глубже на восток никем еще пути не торились. Что действительно потянуло сюда русских, что такого нашли они, что хоть как-то способно было восполнить оставленную родину?

Не станем, однако, преувеличивать бездыханности и полной вымороженности этих мест, они и без того преувеличены. Русский Север по своей суровости несравним, конечно, с азиатским, но и он не очень-то расслаблял местную рабочую кость, а дальние по-

ходы, без которых поморы никогда не обходились, закаляли ее еще больше. Если Индигирка их не испугала, значит, в долгих зимовках и тесном товариществе привычны были они не бояться, только и всего. Чтоб знали вы: понизовщики, живущие возле океана, считают, что у них тепло, и это в сравнении с материковой Якутией, где находятся полюса холода, действительно так и есть. Летами же здесь больше всего боятся жары, способной из каждой капли воды выводить комара, от которого не бывает спасения ни человеку, ни зверю.

А приманы, вероятно, заранее разведанные, чтобы завести и остановить тут русских, само собой были. Во-первых, рыбное, оленье и птичье изобилие, которое не иссякло и по сей день. Если и сегодня не иссякло, попробуем представить, что в этих озерах и уловах, на этих едомах и калтусах водилось триста и четырехста лет до нас. Не выбили тут, слава Богу, песка, нечем пока было вытравить чира, нельму и муксуна. Бывший заведующий факторией в Полярном Юрий Караченцев рассказал, как года два назад кто-то из поселка, возможно, из озорства написал в Чокурдах жалобу, что в магазине нет мяса. Там удивились не тому, что его нет, а тому, зачем ему быть в магазине, но, отзываясь на жалобу, прислали оказавшуюся в Чокурдах говядину. Она пролежала несколько месяцев и, потеряв всякий вид и вкус, была убрана с глаз подальше, на нее не позарились бы даже собаки. Когда местным нужно мясо, охотник садится на «Буран» (у каждого из них по два-три «Бурана»), отъезжает недалеко в тундру и высматривает в бинокль, где покажутся олени. Показались — он включает скорость, направляет наперерез им свою железную упряжку и через полчаса уже со свежениной. Крупную рыбу (еду) в открытых холодильниках складывают в поленницы, мелкую (сельдьтку на броски собакам) сваливают кучей на лед.

У предка русскоустыинца не водилось, разумеется, ни бинокля, ни «Бурана», но как мы не страдаем без того, что заведется еще через триста лет, так и он спокойно орудовал имеющимися подручными средствами и пусть при больших физических затратах, но добывал прекрасно и рыбу, и мясо, и мех, теплил и живил ими семью и отражал в мир из своей новопочинной родины поколение за поколением.

Но прежде чем расчитать ее, эту новую родину, он должен был внимательно осмотреться и выведать, чем ему жить, с кем жить в соседстве. С кем жить в соседстве значило в его выборе очень и очень немало. Он хорошо понимал, что тем малым кругом людей, каким они пришли, потомство в добром здравии долго не протянуть и что так или иначе придется родниться с коренным народцем. В этих местах кочевали юкагиры и ламуты (эвены), доходили известия о чукчах, державших свои оленные стада за Колымой. Якуты тогда еще не спустились в низовья Индигирки, и русскоустыинцы впоследствии были правы, указывая на свое первопоселение. Земли, впрочем, хватало на всех, споры, кому где жить, вскоре затихли раз и навсегда.

Ближе всего по местоположению русские оказались к юкагирам, вольно воспитавшимся под могучим тундровым небом в народ бескорыстный, мягкий и опрятный. Про него можно сказать то же самое, что заметил в чукчах барон Майдель, объезжавший в 1868 — 1870 годах север-восток Якутской области:

«Замечательно, как может существовать народ безо всяких начальствующих лиц. Это можно объяснить себе только условиями жизни оленеводов, где каждый живет отдельно, сам по себе и на большом расстоянии от своего ближайшего соседа. Такая жизнь дает возможность избежать бесчисленных поводов для споров и недоразумений, столь часто встречающихся у оседлых народов, но бывающих много реже у кочевников. Тем не менее видим же мы, что и кочующие народы создают себе начальствующих лиц, и даже народы, которые принуждены вести столько же изолированный образ жизни, какой выпал и на долю чукчей. По этой причине объяснение такого странного явления должно заключаться не в одной изолированности. По моему мнению, следует обратить внимание на то, что чукчам с самого начала не приходилось защищать свою землю от враждебных соседей, да и сами они никогда не совершали завоевательных походов. В обыкновенных случаях для живущего в одиночкуномада вполне достаточно власти главы семьи, который существует, конечно, и у чукчей и умеет отлично держать в повиновении своих чад и домочадцев. Но как скоро кочевников теснит враг, им необходим начальник; из этой необходи-

мости, вероятно, и выработалось повсюду воззрение на необходимость начальства».

Майдель не отметил ту же самую особенность, что и у чукчей, у юкагиров только потому, что не изучал их и встречался с ними мало. В действительности же в этой черте разницы между двумя соседними кочующими народами не было никакой.

Не осталось свидетельств, сразу ли у русских произошло соприкосновение с произросшим здесь народом, или для этого потребовались сроки, но оно произошло, и со временем довольно тесное. Хорошо заметная в некоторых фамилиях азиатчина больше всего юкагирского происхождения. Но от этого не пострадали ни язык, ни обычаи, ни память; вероятно, с самого начала община постановила держать свою рускость в крепости и, несмотря на все испытания и лишения в веках, которые можно только подозревать, выдержала ее в такой сохранности, что ей нельзя не поражаться.

Первое известие о живущих в низовьях Индигирки русских получено от времен Большой Северной экспедиции Беринга. Участник этой экспедиции лейтенант Дмитрий Лаптев, продвигавшийся в 1739 году от Лены на восток, вынужден был напротив устья Индигирки покинуть свой вмерзший во льды бот «Иркутск» и перебраться на зимовку в Русское Жило. За зиму русскоустыинцы помогли Лаптеву перевезти на Колыму за восемьдесят верст триста пудов продовольствия, а весной 85 человек из местных жителей пешими вырубил «Иркутск» из льдов и вывели на чистую воду. Позднее русскоустыинцы подобрали возле речки Вшивой небольшой пеший отряд морехода Никиты Шалаурова и перевезли его на Яну.

В этих сообщениях нельзя не увидеть доказательства укорененности русских в северную землю: их немало, они чувствуют себя здесь уверенно, знают тундру далеко на восток и на запад и пользуются русскими и фамильными названиями в обозначении местности: река Елонь (елань), протока Гольженская, речка Вшивая и т. д. Для этого, бесспорно, требовалось время да время.

В книге знаменитого исследователя Арктики Ф. Врангеля «Путешествие по северным берегам Сибири к Ледовито-

му океану, совершенному в 1820 — 1824 годах», находим такие строки: «Жители сибирских тундр совершают большие путешествия по несколько тысяч верст по безлюдным однообразным пространствам, руководствуясь для направления своего пути единственно застругами. Я должен упомянуть об удивительном искусстве проводников сохранять и помнить данный курс». О том же с удивлением говорит М. Геденштром в «Записках о Сибири»: «Для отыскания мамонтовых костей промышленники ежегодно ездят на дальние острова. Путь свой они направляют по положению торосов льда и наметов снега. Долговременная опытность научила их, как распознавать надлежащее направление для достижения желаемых островов».

И тот и другой прошли через Русское Устье и говорят о русских поречьях. М. Геденштром в начале XIX века насчитал в трех селениях 108 мужчин. Через сто лет, во времена Зензинова, их было гораздо меньше. В русскоустыинском языке осталось выражение «зашиверская погань» — об оспе, дважды выкосившей город Зашиверск в среднем течении Индигирки, к которому были приписаны и понизовщики, и погулявшей, надо полагать, и среди них.

Все это, разумеется, не прямые, не документальные доказательства в пользу прилога — о русских, пришедших на Индигирку из России по морю. Это доказательства того, что «могло быть», перевешивающие «не могло». Прямые, вероятно, уже и не сыщутся, поскольку, повторю, тут проглядывается скрытая экспедиция горстки русских людей, явившихся не тогда и не оттуда, как это происходило позднее при колонизации массовой и узаконенной.

А теперь спросим себя: почему мы так подозрительны к преданию? Разве в большинстве случаев не доносит оно до нас подлинные события из времен самых древних, даже и ветхозаветных? Предание — не фольклор, не слух или красивая байка, это не художественная, а историческая память, почему-либо не записанная или не могшая быть записанной. Оно и вообще очень отборчиво к факту и берет факт значительный, переломный, подлежащий не украшательству, но передаче по цепочке, а тут, когда группа людей оцупилась в изоляции далеко от национального окружения, предание и вовсе

не должно было поддаваться на выдумку и, как крепезный канат, как первое по исходе слово, обращенное в будущее, в качестве самого прочного и выдержанного материала взять действительность. Наши предки легко различали голоса были и небыли; предание это, которое теперь представляется красивым, когда-то было по своему действию и звучанию прозаическим, сошедшим не с небес, а с кочей на землю и для художественного, как сказка и былина, сказыванья не подходящим. Это материал житейского, будничного покроя, отличающийся от праздничного рубищем и простошивом.

Но зачем непременно нужно искать, обманывает или не обманывает предание? Из любви к преданию? Из любви к истине? И то и другое очевидно, но прежде всего из желания понять уникальное, исключительное явление сохранившихся старобытности и староречия. Конечно, XX век не прошел бесследно и для русскоустьинца, и ныне далеко не то здесь, что было в начале столетия, когда писалось: «...Археолог считал бы для себя величайшим счастьем, если бы, раскопав могилу XVI или XVII века, он мог бы хоть сколько-нибудь правдиво облечь вырытый им древний скелет в надлежащие одежды жизни, дать ему душу, услышать его речь. Древних людей в Русском Устье ему откапывать не надо. Перед ним в Русском Устье эти древние люди как бы и не умирали». Сегодня так уже не скажешь, но и то, что осталось в «одеждах жизни» и особенно в языке русскоустьинца, кажется удивительным и заставляет спохватываться: какое нынче на дворе время?

Объяснение находилось простое: Крайний Север, тяжелые условия существования, отдаленность от цивилизации, жизнь в окружении инородцев, последняя степень изолированности (русскоустьинцев долго не брали даже и на военную службу) как нельзя лучше способствовали сбережению всего своего, вечная мерзлота и для этого случая оказалась прекрасной консервативной средой, веками оставляющей в собственном виде все, что в нее попадает. И с причинами этими надо считаться, они действительно значили много, но считаться с ними надо как с условиями, способствовавшими сохранению того, что имело невероятную силу сопротивления и с самого начала поставило себе целью сопротивление. Надо не забывать, что, в сущности, в

тех же природных и инородческих условиях находились русские всюду на Крайнем Севере, но большинство их рядом с сильным народом объякутилось и наполювину потеряло родной язык. Что там наполювину! Майдель в своей книге рассказывает, как в большой русской деревне в Олекминском округе, куда он заезжал, ни один человек не понимал по-русски. Прежние русские на Колыме называли себя колымчанами, в ста верстах от Русского Устья к югу на Индигирке — индигирщиками, понимая, что они и не русские и не якуты, а что-то среднее, перемешанное и перетолченное, ставшее принадлежностью местности, а не национальности.

Русскоустьинец не поддавался решительному влиянию окружавших его и превосходивших по численности якутов, юкагиров, эвенов и чукчей. Он усвоил лишь самое необходимое из промысловых и бытовых обозначений местных языков — из того, что в прежнем круге его жизни не было и потому не имело названий. Не удалось ему полностью сохранить и чистоту породы, примесь юкагирской и якутской крови в нем заметна, но без этого было нельзя, самовосполнение из одного и того же маленького круга грозило вырождением. И тем не менее примерно в одной части из четырех русскоустьинец остался в правильных очертаниях русского лица, как показалось мне, носящего следы жертвенности и аскетичности, как бы подсушенные, выжженные изнутри пронзительным взглядом. Такие лица можно еще встретить разве что в старинных раскольничьих селах. И этот чистокровный тип, а также тип лица, однажды подъякученного, но не объякутившегося многократно, наводит на мысль, что первые русские пришли в низовья Индигирки семьями, в отличие от спускавшихся с юга казаков и промышленников, которые почти сплошь должны были брать в жены инородок. Но они пришли семьями не в результате религиозного раскола, их исход мог произойти только до раскола, воспоминаний о нем у них не осталось вовсе.

Необъяснимая национальная устойчивость, замкнутая старобытность, обособленность языка и нравов, поразительная памятьливость — все это свидетельства хоть и косвенные, но совсем не пустые, вместе говорящие, что мы имеем тут дело не с правилом, а с исключением, с чем-то совершенно

особым и отдельным. Подумать только: едва ли не половина русскоустынского языка всюду в России утеряна, а здесь, быть может, бессознательно, слова, потерявшие в новых условиях собственную предметность, находили другое, не противное себе обозначение и все-таки жили. Не было скота — скотом называли собак, конуру называли стайкой — и не дали умереть словам. Кто из нас знает теперь, что такое вичь, вадига, голк, едома, нарва, свецы и т. д.? Не только мы не знаем, не знают и ближние к индигирским понизовщикам русские.

тье — точно оазис среди окружающей его поэтической засухи. Как мог не захиреть, не обезголосеть, не вымерзнуть этот оазис — тоже загадка, которую не разгадать, если сваливать русскоустынца в общую кучу. Еще Зензинов был удивлен, встретив здесь вариации записанной Пушкиным народной песни «Как во городе было во Астрахани». Разночтения как раз и говорят, что на Индигирке ее могли подхватить не от пушкинского текста, что она могла сюда прийти собственной дорогой. Зензинов записал здесь несколько исторических и плясовых песен и блюю (были-



Произношение здесь так сильно отличалось от общепринятого, что и теперь русскоустынца, когда он переходит на свой говор, понять почти невозможно. С трудом понимал его сосед-индигирщик и колымчанин и сто лет назад. Сравнить произношение русскоустынца не с чем, это какое-то неразделимое сочетание человеческих и природных интонаций, сливающихся в одно глухое, шепчущее звуковое движение.

И, наконец, фольклор. Русское Ус-

ну), воспроизвел также во всем ее обрядовом богатстве свадьбу, уже тогда сокрушаясь, что фольклор в Русском Устье доживает, по всей видимости, последние годы. К счастью, он ошибся, и спустя десятилетия фольклорные записи и находки в Русском Устье продолжались и продолжают. Одной лишь экспедицией Т. А. Шуба в 1946 году, в которой участвовал бывший тогда учителем в Чокурдахе и ставший затем известным якутским писателем Николай Алексеевич Габышев, привезе-

Матушка-Индигирка показывает характер.

но было 62 сказки, 11 былин и больше ста песен. Совсем недавно Пушкинский дом выпустил солидной отдельной книгой «Фольклор Русского Устья», большая часть которой и состоит из записей Габышева, но имеет изыскания и до и после экспедиции 46-го года, вплоть до последних лет. Фольклористы считают, что для них главная ценность Русского Устья как заповедного для народной поэзии места не столько в числе записей, сколько в уни-

ничать, а прежней общинной крепости, способной сделать правильный выбор, давно нет и в помине. Сейчас важно заметить другое: чтобы сохранить и донести до наших дней подобную кладезь, нужно было иметь ее не разрозненными страницами, а общей, хорошо сшитой книгой. Разумеется, она позднее дополнялась, об этом свидетельствуют прижившиеся здесь казачьи песни и городские романсы, занесенные, должно быть, купцами, людьми эк-



Из индигирских картинок.

кальности и первоисточности некоторых исторических песен и былин, не сохранившихся больше нигде или сохранившихся в позднейших редакциях.

Зензинов ошибся, но сегодня ошибиться нельзя: здесь ныне допеваются последняя народная песня и досказывается сказка, с телевидением, с Аллой Пугачевой и Леонтьевым им не сопер-

спедиторскими и ссыльными, в XIX веке дороги в Русское Устье были промечены, и сюда волей или неволей навдывались многие. Однако и до того еще кто-то из казаков или промышленников пристегивался к постоянному жительству, не без притока со стороны расширялось по индигирским рукам Русское Устье, принося с собой новобывшие напевы, словечки и привычки.

Оно расширялось и подновлялось со временем, но руководительную сердцевину оно должно было иметь прежнюю — из фамилий, пришедших первыми. Иначе досельное слово в песне и сказке едва ли удалось бы сохранить.

Язык, фольклор и традиция прежде всего помогли этим людям выдержать в краю, который давно назван пределом выживаемости, и явиться перед Россией вполне русскими, а в некоторых чертах русскими больше, чем все мы, содержащиеся в общем национальном теле. И вот теперь, когда они вышли почти из ниоткуда («а в России их вовсе потеряли») и присоединились к нам, мы вместо того, чтобы внимательно присмотреться к ним и узнать исток (узнать причину) их чудесного спасения, спрашиваем справку от Ивана Грозного или Алексея Михайловича, которой было бы удостоверено, как, каким путем, сухим или морским, и по чьему промыслению появились они здесь, дети иных краев и иной природы, и что означает их появление. «Чудна Русь!» — восклицали русскоустыинцы, когда доносилось до них что-либо непонятное с нашей стороны; так и теперь они вправе сказать с недоумением: «Чудна Русь!»

Разумеется, ничто в мире не изменится, когда удалось бы доказать правоту предания. Не будет выращиваться больше пшеницы и добываться угля, даже песка и рыбы на Индигирке не будет отлавливаться больше, материальные накопления нашего общества от этого не возрастут. И заполненная отдельной страницей в истории заселения пустопорожних сибирских земель ничего не прибавит к общему взгляду на историю этого края. Ничего в мире не изменится. Кроме одного. Кроме того, что предание, оставшись преданием, станет и фактом, а мы, склонившиеся поверить слову предка, быть может, ответственной отнесем и к своему слову.

Да и просто отчего-то приятно, когда предание, как обещание, становится былью. Представим себе: многие и многие десятилетия оно рисунчато и устало висело в воздухе, все утоньшааясь и утоньшааясь, только потому, что на земле некому было начертать его изображение, с которым бы оно совпало и ожило. Но вот наконец изображение проступает... Я говорю сейчас не о нашем предании, я говорю о предании вообще. Вот наконец изображение проступает, на него невесомо

опускается то, что держалось в воздухе, соединяется во всех своих частях, и происходит чудо: из ничего является внятный и убедительный голос, подтверждающий, что никакая правда и никакой поступок в мире не терятся окончательно.

Что касается нашего предания — у него достаточно много защитников и было, и есть, и будет. Вот и С. Н. Азбелев, один из собирателей и составителей «Фольклора Русского Устья», в своей статье в этой книге пишет:

«Вместе с тем в топонимике дельты Индигирки сохранились названия, входящие к именам некоторых предводителей проходивших здесь казачьих экспедиций середины и второй половины XVII века. Этот факт свидетельствует, что какое-то русское население тогда уже существовало. Больше некому было присвоить эти названия и сохранить их».

А ведь и верно. Как бы им иначе зацепиться?

В последние годы на Север и Северный полюс одна за другой снаряжаются экспедиции — то на собачьих упряжках, то на лыжах, то на своих двоих. О каждом шаге и каждом маленьком приключении пишут газеты, телевидение передает хронику как с театра боевых действий, голоса дикторов, перебивающих друг друга, заставляют нас с замиранием сердца следить за судьбой смельчаков. Эти экспедиции преследуют многие цели, но главная из них — проверить возможности человеческого организма в суровых условиях Севера и одновременно посоревноваться в приближенных обстоятельствах с первыми землепроходцами и льдопроходцами. Я не предлагаю вспомнить еще один способ передвижения и отправиться на кочах через старую Обонежскую пятину, Чудское Заволочье, Подвинье, затем вдоль берегов Белого и Карского морей все дальше и дальше на восток мимо устьев великих сибирских рек. Не предлагаю, потому что знаю, что значат для северян эти экспедиции. Не лучше стихийного бедствия. Пограничники, авиаторы, радисты, охотники, рыбаки, геологи, метеорологи — все отвлечено от своих дел и становится службой обеспечения безопасности, экстренной помощи, службой слежения, сопровождения, предупреждения и обслуживания

ния. В Полярном отдавали лучших собак и готовили нарты и одежду, у рыбоохраны в Чокурдах забрали «Буран» (деньги вернули, но на Севере проблема не деньги, а где взять за деньги), в Черском на Колыме отряд полярной авиации превратили в транспорт для перевозки оравы журналистов, писателей и дыхателей на льдину, куда подходила очередная экспедиция, чтобы успеть распространить для нее горячие объятия. Не только авиация — весь огромный Нижне-Колымский район отдался хлопотам встреч, торгов и гостеприимства, которое здесь, надо сказать, обходится недешево и сказывается потом на местном народе.

Никто не собирается отнимать у участников нынешних полярных экспедиций мужество: Север есть Север, в любых, даже самых идеальных условиях он требует огромного натяжения физических, психических и сверхчеловеческих сил. Но разве можно сравнить это с тем, что испытывали наши предки, уходя на собаках и кочах за многие тысячи верст, где никто их не ждал и не встречал, никому во всем свете нельзя было передать, что с ними случилось и о чем молчали даже могилы. Если нынче мужество — что было тогда? И это что-то, что по степени риска и напряжения нам не представить, называлось просто: терпение. Старинные люди поднимали не слово, а действие и умение.

Как нельзя повторить человека в другом человеке, так нельзя повторить и событие. Можно пройти тем же самым путем и с избытком хватить лиха, но мера этого лиха определяется сегодняшней, а не прежней шкалой. Терпеливый человек по своей физической крепости и духовной стойкости явно сдал по сравнению со своим предком. Он преуспел в другом, например, в футболе и хоккее, где и крепь и стоя тоже требуются, но в каких-то иных жилах, и в этом прежний человек нас бы не понял: он отдавал свою кулику (старинный хоккей) детство, чтобы нарастить, а не истрепать жилы.

Научные интересы современных походов по первоследам не способны, да они и не ставят такой задачи, проникнуть в святая святых и родная родных нашего предка — в его национальное чувство. Это должна была быть сила не меньшая, чем физическая выносливость и проходческая умелость, и особенно она требовалась по достиже-

нии цели — там, где расчинаясь новая родина. Посильно, вероятно, повторить маршрут на Индигирку, независимо от того, был он морским или сухим, но пройти здесь тем же самым путем выживания нашего предка нельзя. Это и представлению не поддается, тут житейские возможности раз за разом многожды переступали за пределы возможностей человеческих. Полярники знают, что значит только одна зимовка в условиях, которые и сегодня считаются экстремальными, а для первопоселенцев эти зимовки не имели ни конца и ни края.

И не в том ли и состоит секрет, не в том ли и кроется тайна необыкновенной судьбы этих людей, что с самого начала было обозначено названием — Русское Жило, Русское Устье. С первого дня определили они образ жизни и правило, единственно которые могли помочь им в сохранении своего состава. Надо догадываться, что они не просто говорили на русском, данном им от природы, языке, не замечая и не вкладывая чувство в обычный вопрос или ответ, а говорили с радостью, им было приятно слушать друг друга и своих предков в давних поэтических складываниях. И они не просто держались традиций и соблюдали обряды, исполняя положенное, но относились к ним почти с телесным удовольствием: то, что для жителя коренной России бывало обузой, здесь представляло такую же потребность, как еда и сон. Вот почему русскоустынец сохранил и разговорчивость и подвижность чувства. Длинной полярной ночью, зажегши чувал (камин), вспоминали они по очереди и все вместе сказку, песню и булю, и тогда старшие следили, чтобы не потеряли младшие ни одно слово, принесенное со старой родины. Фольклористы заметили, что в Русском Устье былины и баллады сказываются едва ли не первородным, каноническим текстом; на тех, кто отступал от него, взмахивали с неудовольствием руками: не умеешь, не умеешь. Не надо думать, что эта бережительная сила веками действовала сама собой — нет, действовала она, вероятно, по воле зрячей и направленной.

А это значит, что русский на Индигирке жил в дружбе и согласии и с якутом, и с юкагиром, и с эвеном, как и положено жить людям, делящим соседство на одной земле, но всегда чувствовал и во всем показывал он себя русским.

На Севере мало кто тундру называет тундрой. Зовут ее — сендуха, вкладывая в это древнее слово, выражаясь современным языком, авторитарный смысл. Тундра — это географическое и породное обозначение; сендуха — изначальная природная власть, всеохватная и всемогущая, карающая и жалующая, единое дыхание бесконечной простертости. В тундре работают с приборами геологи, ее, разбив на квадраты, стерегут пограничники, в сендухе, где водятся сендушный, чучуна и чандала, живут и кормятся от нее эвены, юкагиры, чукчи, родные дети этого неба и этой земли, а также якуты и русские, пришедшие позже, но полностью соединившиеся с сендухой. «Сендухаматушка, кормилица наипа!» — молят и благодарствуют все они, каждый на своем языке. Тундру вольно измерить, изучить и приспособить; сендуха никому не дается, в нее можно героем прилететь московским рейсом, а на другой день на неозначенной версте безвестно кануть в снега или трясины. Сендуха — это «стихия», как говорят местные, единый дух, владеющий землей и водой, тьмой и светом.

Нигде небо так близко не прикается к земле, как здесь. Над великой плоскотинной оно, как в обрывистом берегу Колымы или Индигирки, где на сломе слой земли чередуется со слоем чистого льда, не возвышается от краев к надголовью, а лежит ровной раскрытостью, по кольцу горизонта подныривающей под землю. Да и сам горизонт здесь — не огорожа, не преграда для глаза, а обессиливающая взгляд даль. Еще до средневековых астрономических и географических открытий человек в тундре должен был прийти к выводу, что Земля круглая, она без вычислений показывала свой покат.

И вот под этим низким небом текут в океан, называя своими именами и размечая тундру на ленскую, янскую, индигирскую и колымскую, сибирские реки, безлесые в этих местах и бескрайные, собирающие мутную тундровую воду. Между ними сотни и сотни верст (к сендухе как-то не ложится измерение в километрах), густо иззапаченных озерами, большими и малыми лайдами (высыхающие озера), лывинами и висками (протоки). Земля там — калтус, веретье да едома с падушками. Слова все русские, но русские-то больше всего ныне и приходится объяснять: кал-

тус — мокрая луговина, веретье — место повыше и посуше, едома — гора, ну а падушки меж ними зовутся разлогом. Кто жывал в деревне, кто застал жыве русский язык, не просеянный еще сквозь теле- и радиосито, тому эти слова переводить не надо.

Когда летишь над тундрой летом, не понять, чего больше — воды или земли. Куда ни глянь, все в кружеве воды, которое кажется измышленным и правильным: подсыхает вода в одном месте, проступает в другом, и рисунок от этого выглядит еще причудливей и замысловатей. Виски из лайд и озер —



Старое, но не вечное.

точно прорытые по линейке каналы, даже на поворотах они остаются в той же ширине межбрежья, а повернув, опять выпрямляются и двигаются без малейшего поталкивания из стороны в сторону, провешенные на них лайды подсыхают, и там, где подсохло, сразу проступает зелень. То ярко-зеленые пятна, то бурые, то блеклые, расположенные под шаг — будто, впечатывая следы, двигалось гигантское животное.

И до чего же красива тундра летом! Зимой иное дело, зимой она в изнуряюще белом снегу, в тяжелом и бесстрастном однообразии, в котором и возвышения, веретье с едомой кажутся лишь наметами. Зимой красота переходит в небо, яркое и яростное от звезд, да еще если в сполохах северного сияния. Но

летом... Невелико здесь лето — в мае еще лежит снег, а под буграми и до нового долежит, к середине июня раскрываются ото льда реки, а уж в августе опять выснежит — совсем оно коротко, и не дано ему тут расцвести садами да дубравами, весь древостой — карликовая, с хорошим брусничник, березка да тальник, все убывающий и убывающий к океану до безростого выключка. Среди мхов белоцветом напана куропаточья трава да валерьяна, много пушицы, сравнимой с одуванчиком, только липкой и в лохматых головках мятой; краснеет морошка. И мхи,

последние годы их заметно поменьше.

На границе моря и земли — огромные черные отмели. Границы как таковой и нет, то ли вода, то ли земля, то ли перемешаны они в вязкую няшу вместе. И вообще вода, земля, небо, берег, суша, время, расстояние, человек существует здесь в особых понятиях. Вода и земля без конца спорят, чему чем быть, время отмахивает свои меры не крупцами, как везде, а крупно — полярным днем и полярной ночью. Ветер задувает так: если через два дня не прекратится, значит на неделю. Мерой расстояния до недавних пор было или поморское «днище» — то, что проплывали на веслах за день, или якутское «кес» — то, что проезжали на собаках примерно за час. Мерой расстояния была мера времени, а мерой времени — какое-нибудь привычное действие. Говорили: проехал — чайнику вскипеть. И сразу становилось понятным, сколько за «чайник на костре» можно проехать, никаких уточнений не требовалось.

В этих условиях смешивающихся понятий и величин и человек должен был представлять из себя что-то особое. Не по нравственной шкале, об этом отдельный разговор, не по возрениям и занятиям, а как бы — по физическому содержанию. Ему ничего не оставалось, как впустить в себя тундру в той же мере, как земля здесь впустила воду. Он не только поился-кормился тундрой, жил в ней, поклонялся и подчинялся ее уставу, но содержал ее в себе как характер, вместе с зимней оцепенелостью, буранами и стужей и летней порывистостью и приветностью. Сколько знаю я, мало кто из уезжавших в другие края приживался там. И через пять, и через семь, и через десять лет, не смоги перестроить себя, переиначить свою природу, возвращался: его внутренний ритм не совпадал с внешним, приводил к опасному разнобою и расстройству. Я говорю сейчас о русских тундровиках, а уж что говорить об юкагирах или чукчах, родных детях этой земли. Предел выживаемости и скорби (у польского ссыльного В. Серошевского книга рассказов так и называется — «Предел скорби») стал обетованной землей. Тут есть над чем поразмыслить, когда мы говорим о родине и пытаемся объяснить это понятие.

Не нами сказано: кто где родился, там и пригодился.

Есть примеры и другого порядка. В



Рыбный хлеб.

мхи, мхи. Где посуше — ягель, в низинах — чистая ковровость зеленых молодых мхов. Сверху эта правильная пятнистость смотрится панцирем огромной черепахи, внизу не до сравнений, только смотри, чтоб не угодить в воду.

Чем ближе к океану, озер и лайд все больше и больше. На твердом белеют сброшенные олени рога, всюду нагромождения плавника, вынесенного реками и наваленного на берега леса, лежащего годами и десятилетиями, его навалы — как оборонительные от океана в несколько линий сооружения. Судя по плавнику, берег наступает, малопомалу подвигает океан. Подле озер колонии лебедей, красиво и важно вышагивающих парами, много гусей, хотя местные жители и наблюдают, что в

последнее время ледовитое побережье стало притягивать людей не одним лишь заработком и не только от жен, как от опричников Грозного сбегая, чтоб «в России их вовсе потеряли», а и на постоянное, добровольно избранное житье-бытье. Сравнить их с первоначальными нелзя, тут дистанция такого же размера, как от XVI века до XX, где-нибудь в Черском на Колыме или Чокурдахе на Индигирке теперь и электроплиты, и телевизор, и паровое отопление, сыщется и работа поблизости от дома. Хочешь поменять сочинскую квартиру на колымскую в Черском, придется еще и поколотиться, северяне не любят с великим трудом достающееся здесь жилье отдавать временным, а на стройках, в авиации и морском порту, на перевалке грузов большинству пока из них.

Но едут, едут и насовсем. В последний раз я зашел в Полярном к новопоселенцам, которых в первый мой приезд тут еще не было. Павел Николаевич Ковалев и жена его Нелли Николаевна люди уже немолодые, за пятьдесят, а за этим возрастным порогом ищут обычно пристанища для вечности. Лет десять назад Павел Николаевич строил тут школу, привык, как объясняет он, к малолюдству. После этого где ни жил, все казалось шумно и толкотно, все потягивало обратно. И вот списался, договорился о работе и оставил Большую землю. «Большая-то земля не там, а тут, там никакой уж земли не стало, глаза потянуть некуда, везде гром и копоть», — говорит он. «И успокоились?» — «Успокоился. Выйду в сендуху, сяду на что подвернется и сижу, гляжу, дышу. И не боюсь, что меня спихнут и обругают».

Юрий Караченцев в Полярном жил лет пятнадцать. Семь из них был кадровым охотником. На Севере доступно сделаться сантехником, электриком, учителем и врачом, особого сбоя с привычных копылков, с принятого жизненного хода при этом не происходит. Но стать охотником, иметь собственную тундру с сотнями пастей и капканов, держать собакою упряжку, промышленять неделями в одиночестве, ночевать в снегу в 40-градусную стужу — на это способен не каждый. Тут раскрывай ворота и впускай тундру в себя, признай сендушного, духа тундры и капризного покровителя охотников, помни о чучуне с луком, о диком существе из былей и небылиц, то ли не сподобившемся, то ли отказавшемся быть чело-

веком, присматривайся к небу, принимайся к ветру, прислушивайся к ломоте собственной кости. Иначе не сдюжишь. На себя надейся, да о «вере» не забывай, а под «верой» здесь кроется целый свод тундровых установлений и правил, тайных и явных, часть из которых никому не раскрывается, и проникнуть в нее можно лишь исключительным чутьем. «Вера наша такая», — туманно говорят русскоустыинцы, не давая и не сумев бы дать пояснения, что в ней, в «вере», относится к тундре и что к человеку, что к навыкам и предосторожностям и что к звездчатым мигам из иных миров догадок и предчувствий.

Караченцев стал хорошим охотником. И песца добывал в достатке, и рыбу в отведенных уловах, и понимал собак, и тундру научился читать не хуже других, и себя не жалел в промысле и признан был местными, коренными добытчиками за охотника без всяких скидок. Уроженец иных, теплых краев, не без труда, но перевел он в себе стрелку на полярное, а в полярном — на тундровое существование и освоился, кажется, со всем, что требуется от промышленника. Со всем освоился и все же не со всем. Это маленькое, чутельное что-то, что не далось, относится не к опыту и не к предчувствиям, когда мало опыта, а к чему-то, что связывалось с его инородностью и неукорененностью. Все, что нужно было перенять для промысла, он перенял, о чем следовало догадаться — догадался, где оставалось довериться чутью — доверялся, большего, чем он, вероятно, и нельзя было добиться. Только и не было в нем каких-то особых солей и частиц, какие лишь местная земля от рождения и закладывает. И, все зная, все умея, он ощущал в себе этот недосол.

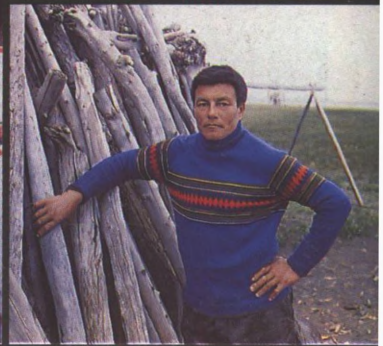
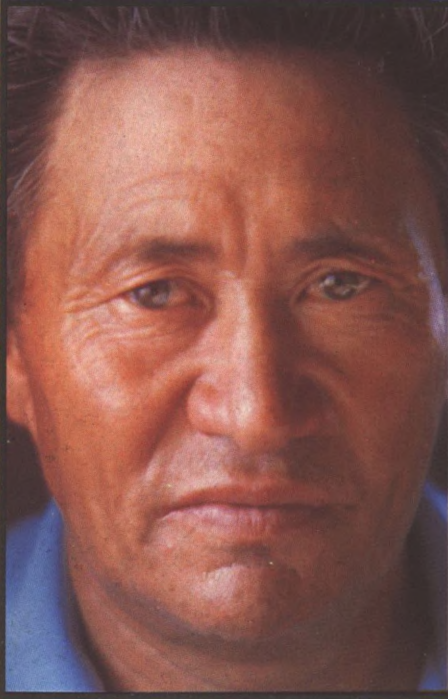
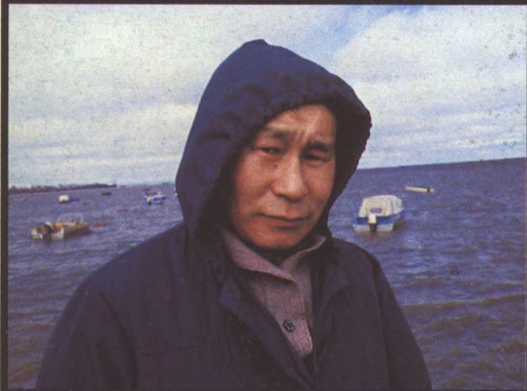
Случай, который едва не стоил Караченцеву жизни, произошел несколько лет назад в начале ноября. Под вечер он вернулся от пастей к охотизбушке, еще не отвязал собак, не добыл огня — вдруг мимо песец. Собаки заволновались; в чем был, в телогрейке и легких рукавицах, прыгнул в нарту и погонил песца. Рассказывая, он произносит, как все русскоустыинцы: погонил, а не погнал. Достать зверька оказалось не просто, в азарте сразу не повернул назад, а через полчаса налетел буран.

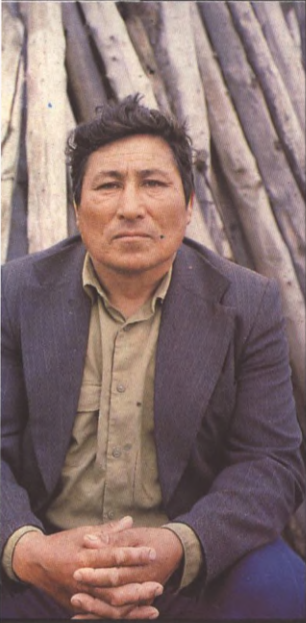
Семь дней провел он в снегу, закопавшись с собаками в сумет. Семь дней тундра ходила ходуном, как корабль в

Плавник на дрова.

→
*Сегодняшние лица
Заполярья.*







качку, под непрерывным воем и хлестом. Через каждые полчаса — срок минут надо было подниматься и встряхивать собак, чтобы не занесло так, что затем не выбраться. Не стану описывать, что может испытывать в такой ситуации человек, это знает только испытавший. На пятые сутки решил съезды щенка, который в упряжке не столько вез, сколько играл, вытащил его из-под снега и... пожалел. После этого приставлял к груди карабин. Удержал только что родившийся сын. К исходу недели увидел в небе зарницы, сориентировался по ним, растолкал упряжку и двинулся на север. Выехал на свою пасть, нашел дорогу к избушке. В печке все было приготовлено для огня, но не мог зажечь спичку, рукавицы примерзли к коже. Когда наконец все-таки разжег, вышел на улицу, чтобы не сойти с ума. Старика говорили: после такого переплета рехнешься, если смотреть на огонь.

До дому в упряжке он бы не добрался. До Полярной станции было ближе, он поехал еще дальше на север. Зимовщики вызвали самолет. Сном уснул только через три недели, по-прежнему все гудело и хлестало неминей (неминя — буря, ураган), по-прежнему надо было расталкивать собак. Зато уж уснул... во сне кормили. Через месяц после больницы нашел, где отсиживался, — на льду озера. Сокол, щенок, которого собирался съезды, стал вожаком. Однажды, вспомнив, что могло случиться (уверен: съел бы щенка, погиб бы и сам), расчувствовался, остановил упряжку, а Сокол лает, недоволен, что остановился до срока, до попердо. Попердо — отдых для упряжки.

Павел Черемкин, охотник из коренных русскоустыинцев, один из самых добычливых и фартовых в совхозе, потрещывая по заправку своего бывшего вожака, «пенсионера» Уголька, говорит: «Он мне несколько жизней спас». Про Юрия Караченцева отзывается: «Молодец, что не растерялся. Только зачем это за полчаса, как бурану упасть, в сендуху бежать?! Тут смотреть да смотреть надо». Иннокентий Иванович Солдатов, рассказывая об охотничьей науке, преподанной ему на всю жизнь отчимом, стариком Голыженским, гордится: «Я ни разу в снегу не ночевал». А про своего пасынка и ученика Иосифа Щелканова, который не может тем же похвалиться, уверенно: «Чутья нету».

Чутья ценится здесь как талант,

дающийся от Бога, а Бог рассматривается как сила, в которой издольно участвует и сендуха.

НА СНЕГ САДИТЬСЯ ДА НА ТРАВУШКУ УПАСТЬ

«Когда в январе 1866 года я въехал в Русское Устье, я никак не мог взять в толк — было, правда, довольно темно — где я находился и что вокруг меня делалось. Я, по-видимому, ехал по совершенно ровному месту, из которого не выдавалось не только дома, но даже куста, а между тем со всех сторон виднелись огненные столбы, выходившие из земли; на небольшом расстоянии от моей нарты я увидел даже крест, который, казалось, выдавался из земли и о котором мой каюр сказал мне, что это крест часовни, находящейся в Русском Устье. Но вот нарта остановилась, глубоко под нами отворилась дверь — как бы из подземелья вырвался мне навстречу луч света. Мне пришлось спуститься круто вниз, и я очутился перед дверью маленького жилого домика с плоскою крышею, в котором ярко горел камин и где было очень приятно и уютно после долгой езды по холоду. На следующий день загадка объяснилась: все местечко было занесено снегом, каждый домик был обнесен снеговой стеною точно такой же высоты, как он сам, которая отстояла от него фута на три и составляла таким образом лишь узкий проход. Каждый домохозяин поддерживает от своей двери очень крутую тропинку на снежную стену, по которой на последнюю и попадаешь и только тогда и поймешь, что имеешь дело не с отдельной стеной, а со сплошной снежной массой, которая, подобно плоскому холму, засыпала все селение. Перед собою видишь только бесконечную снеговую поверхность, в которой то там, то здесь находятся четырехугольные углубления — это дома с окружающими их проходами. Таково Русское Устье зимою; в теплое время года дома, конечно, высятся открыто, но окружены бесконечной однообразной тундрой побережья Ледовитого океана — нигде не видно ни одного дерева, ни одного куста: тоже достаточно печальная картина».

Таким было впечатление от Русского Устья барона Майделя, примерно таким в безотрадности и подавленности было оно и у многих других путешественников дальнего и ближнего прошлого, чьи дороги дотягивались до

низовьев Индигирки. За века снегу зимой и воды летом меньше не стало. Такой встретили самую первую русскоустынцы, и с тех пор «садиться на снег» означает расчистить новое, необжитое место. А «на травушку упасть» — родиться на белый свет, который тут и верно большей частью белый.

Пришли, сели на снег, а уж ребятишки принялись падать на травушку. Принесли с собой язык, веру, обычаи и дух — груз этот много не тянул, но пригодился не меньше, чем еда и лопоть (одежда). С собаками ли пришли, за дальностью лет разглядеть не удастся, но, кажется, до русских собак на Севере не было. Если русские не освоили оленюю пастьбу, значит, никогда ею не занимались, с самого начала передвигались на собаках.

Вся жизнь — охота да рыбалка. Весь свет — тундра да семья. На развезях (в сомнении) сидеть было недосуг, суровая земля требовала движения и движения, смекалки и смекалки, силы и силы. И когда тот же Майдель упрекнул в своей книге русскоустынцев в лениности, все, кто побывал после него, ответили в голос: неправда. И доказательств особых не требуется, чтобы понять, что для выживания в этих условиях нужно было ожогом ходить, крутиться зимой и летом как заведенному.

Божий (дикий) олень давал мясо и шкуры, псец шел сначала на обмен, потом на деньги. Когда появилось куда сбывать, стали ездить за мамонтовой костью и заезжали аж на Новосибирские острова. Индигирка вдоволь питала рыбой, она же приносила с верховьев плавник, который заготавливался на топливо и поделки. Но прежде чем топить, рубились из того же плавника избы, и, должно быть, не сразу отказался русский человек, любящий красоту и законченность, от скатной крыши, и только когда понял, что под убойными ветрами никакое навершие не держится, смирился с плоской, как коробка, «стыдкой» и невеселой избой. До стекла и слюды в окна вставляли налимью кожу, зимой намораживали лед. Не в казенных домах для тепла его намораживают до сих пор.

Завели свечи (деревянный календарь), чтоб не потерять, не перепутать будни и праздники, и, как в наших календарях, большие, опорные дни выделялись особо, под них и подстраивался рабочий ритм. Долгие десятилетия, а возможно, и столетия выпала доля об-

ходиться без хлеба, без соли и молока и — что делать? — привыкли, ученые люди делают их потом ихтиофагами. Чему удивляться, если, как пишет Зензинов, не знали, что такое колесо, спрашивали, как растет мука. Объясняя, что такое зерно, приходилось сравнивать его с рыбьей икрой. Вышло из обихода, потерялось и из представления. Когда хлеб вернулся, называли его не хлебом, а «черно-стряпано», в отличие от «тельно» — лепешек из мятой рыбы или «топтаников» — рыбной начинки в рыбном тесте. Ни овощей, ни круп, не богато и с ягодой — морошка да голубица. Соленое заменили кислым: квасили рыбу, птицу. Любители, и не только из стариков, и по сей день предпочитают гуся с душком, как двести и триста лет назад.

А цинга, авитаминоз и так далее? Куда ж они-то смотрели, немочи эти, отчего без зелени и соли, без молока и сахара не выбили из отбившихся и обделенных дух и тело? Если из нас сегодня с полным набором своих и чужих витаминов выбивают, если всего у нас в досталь, все расписано и известно, что в какой час следует потреблять, от чего отказаться и на что налегать, а здорового развития все меньше и меньше.

Есть, оказывается, в любой природе соки для полноценной жизни. Была бы природа. А она тут, на Севере, была и пока еще есть. Наша теперешняя сытость, наше заигрывание с витаминами есть не что иное, как благопристойная возня на собственных проводах. Убивая природу, уничтожая воду и воздух, леса и плоды лесов, вод и земли — как же нам не озаботиться хорошей миной при никудышной игре?! Мы — как тот врач, который не научился лечить, но научился успокаивать, и когда очередь дошла до него самого, он и к себе, забыв, что он не посторонний пациент, применил вместо снадобья ложь да с тем и отбыл на тот свет, не разобрав, что произошло.

Северяне всегда ели и едят сырую рыбу. Называют ее строганиной (на Байкале — расколотка, а строгают сырое мясо). Процедура приготовления строганины на первый взгляд даже и грубовата: зажал, как полено, меж колена мерзлую рыбку из чира или нельмы и полосуй ее тонкими стружками, затем соли, перчи и на язык. Но и в этой бесхитростной процедуре есть свои тонкости: северянин не свалит рыбные стружки на тарелку подряд,

как строгалось, а выложит так, что самые вкусные и жирные брюшковые кучки останутся напослед, чтоб все прибывало и прибывало удовольствие. И что это, верно, за удовольствие! Когда говорят: тает во рту — пытаются передать ощущение блаженства. Так и тут: льдистость исчезает сразу, только возьмешь в рот, рыба расплавляется, растаивает с пронизывающим все тело умаслением, впитывается без глотков и мягко, потребно растекается по всему организму. Человек, и никогда не слышавший о строганине, соглашается с

Для сравнения: фунт табака — до пяти рублей. И это не тот жир, с неприятным запахом, какой дают детям, он на Индигирке совсем как масло — белый, густой и вкусный.

Что строганина греет — не обмолвка. В конце марта в солнечный яркий день собрались мы с Юрием Караченцевым в тундру — себя показать и других посмотреть. Оделись в меховое, подцепили к «Бурану» две нарты и тронулись. И действительно часа за три встретили почти все население — и ушкана, и куропатку, и оленя. Объеха-



нею сразу, без всякого принуждения (как-никак рыба-то сырая) и притворства.

Строганина и греет, и сытит, и бодрит. Благодаря ей о цинге здесь не имеют понятия. Все остальное, что требовалось организму, добиралось мясом, птицей, щавелем, кореньями макариши, рыбьим жиром. И воздухом, водой. Пуд рыбьего жира в 1868 году в Русском Устье (по справке И. А. Худякова в книге «Краткое описание Верхоянского округа») стоил 30 копеек.

ли заодно часть караченцевского пастника, но песка в нем не оказалось, пришлось довольствоваться его следами, зато посмотрели, как устраивается и настораживается пасть — ловушка на песка, издревле принятая на всем сибирском побережье от Урала до Тихого океана.

Март мартом, и солнце солнцем, но мороз был за тридцать, да еще на скорости продирало ветерком. И мы довольно скоро продрогли до костей. А когда замерзнешь, не замечаешь ни

Из рода Чикачевых.



гребня едомы под снегом, ни озерных низин, ни заструг, перестаешь удивляться, что чудившийся за километры верстовой столб при подъезде превращается в полуметровый тычок, вся тундра сливается в бесконечную выстуженную и выбеленную пустоту. Караченцев по молчанию догадался о нашем настроении и остановил «Буран»:

— Сейчас будем греться.

«Греться» в таких условиях, как принято всюду,— открывать бутылку. К тому мы и приготавились. Но Караченцев вместо бутылки достал из мешка промерзшего до каменного стука чира и принялся его строгать. «Ешьте,— подавал он нам куски.— Ешьте, ешьте, грейтесь».

И без того едва живые от холода, да еще и лед в себя! Казалось, это смерти подобно.

Рыба жирная, калорийная — и как от подброшенного в угасший очаг топлива тело занимается теплом. Наверное, это нужно объяснять так. Но мне, едва я почувствовал себя бодрей, пришел почему-то на ум закон математики: минус на минус дает плюс. Уж очень скоро, как в математике или физике, это произошло, и, повеселев, поудивлявшись чудесной перемене, мы двинулись дальше.

Северянин до того привык к строганине, что не может без нее ни дня, ни зимой, ни летом. Как быть летом? Проще некуда: вся тундра — сплошной морозильник, чуть отрыл — и хоть веками держи в сохранности что угодно.

Зензинов наблюдал, что, кроме мерзлой рыбы, русскоустыинец без соли съедал ленточную вырезку из рыбы живой, только что выловленной. Сырими грызли гусиные лапки во время гусевания, сухожилия оленя в пору охоты — и делали это без всякого отвращения, напротив, с удовольствием. Не от озверения, надо полагать, как наскоро определит ученое существо, а от умения слышать позыв организма, не отслоившегося окончательно от природного тела. Сейчас есть все — и зелень завозится, и яблоки с тыблоками, и соленья-варенья, но по-прежнему, оглянувшись, нет ли поблизости «тамосного» глаза, припадает русскоустыинец к сырому мозгу в оленьей ноге, особенно мерзлomu, да и насладится во всю сласть, как это делал его дед, когда не водилось ни яблок, ни тыблок. Не оттого ли здесь, где, кажется, все силы

должны бы изводиться и измораживаться очень скоро, не редкость долгожители?

Представить жизнь русскоустыинца в те темные времена, о которых не осталось свидетельств, вероятно, можно, но это будут представления лишь о круге забот и хлопот, связанных с теплом и пищей. Можно по отголоскам традиций, «веры» воссоздать с некоторой вероятностью исполнение обрядов, что за чем следовало в них, что пелось и говорилось, как елось и пилось. Да и то: отвыкли от хлеба и соли, а просто ли русскому человеку, замешенному на хлебе и соли, было отвыкнуть? И привыкнуть к безлесью и легкой «божьей» скудости, к зимнему всесветному оцепенению, прерываемому дурью ли, карой, когда налетала и по неделям не оставляла «неминя»? И можно ли в воображении, обращенном назад, нарисовать хоть что-то приблизительное тому, как день за днем и год за годом природнялась чужая сторона и какие для этого выносились из тундры понятия и слова? Иль эти, что звучат и сегодня в заклинаниях: «Батюшко сарь-огонь! Матушка-сендуха! Матушка-Индигирка!» — иль были и другие, а затем с природнением за ненадобностью отпали? Тускнели ли чувства и мысли, занятые лишь выживанием, узким кругом забот и узким кругом людей? В чем состоял самый большой страх и самая большая радость? Как сохранили ласкательное отношение друг к другу, как убереглись от ругательств (чуть ли не самое страшное ругательство было: запрети тебя! — пусть, значит, случится у тебя запор для моего отщепеня) и почему спокойно и даже доброжелательно допускали в нравах «девьих», добрачных детей? Кто первый откололся и расчал новый «дым» в стороне от общего «жила»? И был ли этот отрыв добровольным или в наказание по решению стариков, правивших закон и совесть? Как поначалу без толмачей общались с юкагирами и чукчами? Считали ли свой исход окончательным?

Зимовщикам и промышленникам, садившимся на полярный снег временно, помогала надежда, что с переможением это кончится и они вернутся с добычей к нормальной жизни. Тут — навсегда. Тут нормальным становилось ненормальное и исключительное. И

процесс этого вживания, а не только выживания, по чувствам, воле, терпению и вере нынешнему человеку представить уже нельзя. Это — прошло с той же окончательной необратимостью, как эпоха Алексея Михайловича. Человек соответствует своей эпохе не только образом мыслей, но и физическим складом, а склад этот в те времена способен был молча выдерживать нагрузки, которые как-то и сравнению не поддаются.

«Только бы дал господь какую едешку, а то чего еще нам?..» — не привередничал русскоустыинец. Что сегодня зовется социальной инфраструктурой, не вылезало тогда из снега и воды и не выходило из рукоумелья. Если даже и были с собой ружьишки, без пороха и дроби они годились не дальше, чем для забавы. И — обходились. И. А. Худяков о второй половине прошлого века доносит: «Ружей на Русском Устье почти нету: стреляют из луков стрелами с железным наконечником», а что говорить о «захтре», «послезактре» и «натот-то» в обратном отсчете столетий. Оленя на плаву бьют копьём с веток (лодок), птицу стреляют из лука, ставят на нее силки из конского волоса, из него же вяжут сети на рыбу и линного гуся. С этого и начиналось и долго продолжалось, пока дошло до фабричных изделий, до доступного провианта. Дробь и порох почитались такой драгоценностью, что, когда стала появляться мука, и ее по недоступности зачисляли в провиант, в этом качестве у стариков она держится и по сей час.

Первой работой вместе с «едишкой» было и тепло. На вымороженной земле без единого дерева и кустарника, на земле с особым календарем, где весна, осень и зима — все зима, на топливе держалась сама жизнь. А оно было одно — плавник. Где-то в верховьях, где лес, уронит ли с берегом вместе или снесет в большую воду спиленное и понесет, за сотни верст понесет, ошкурит по пути и выбелит, а тут уж во все глаза смотрят, чтоб не пронесло мимо. Из плавника рубились избы, делались и ремонтировались пасти, обшивались ветки и дрова, дрова, дрова... В тундру, чтоб обогреться в избушке, и то вези с собой на нарте. Поклонение огню здесь долговечней. Подкормить огонь, бросить в него кусочки пищи и тем самым задобрить его не забывали ни стар, ни млад. И теперь, кстати, не забывают. Молодые делают это как бы из шутки, но делают, прибегая к поверью на тот

случай, когда откажет наука. Веками было: «батюшко сарь-огонь, погоду укрути!», «батюшко сарь-огонь, гуси дай!», «батюшко сарь-огонь, не скажывай ему» — когда требовалось утаить что-то от медведя или сендушного.

Исследователи связывают поклонение огню, Индигирке и сендухе с поверьями, взятыми у местных народов, у якутов и чукчей. Но и у славян оно было в не меньшей степени. Многие из того, что бытовало в Русском Устье, описано у А. Н. Афанасьева, которого мы знаем как собирателя сказок, в его великом по ценности труде «Поэтические воззрения славян на природу». Было и долго держалось рядом с православием. Русский человек в божествах запаслив: христианство — для спасения души, а старая вера — в поводу для поддержания живота («живот», кстати, у русскоустыинцев не потерял значения «жизни»). Тут, у Бога на куличках, и тем более одной веры считалось недостаточно, да и недосуг Христу опускаться до плавника или линного гуся, он как бы оберегался индигирщиками от подобных мелочей.

Для русскоустыинца это были отнюдь не мелочи. С первого дня, как вскрыется Индигирка, до последнего «колупал» он по берегам и озерам принос. «Колупал» — не подставленное слово, оно с плавником срослось так же, как в таежной стороне «рубить лес» — потому что и верно из няши и изпод яров его приходилось выколупывать во всю дюженьку. Полено тут — колупок. Так что Индигирка давала не только рыбу, но и тепло, от нее же зависела добыча песка и оленя. И когда выносило лед — с поклоном выходили на берег «православные христиане», чтобы приветствовать открывающуюся жизнь и работу. В первый раз садились после зимы на ветку — обязательно: «Матушка-Индигирка, кормилица наша, прими подарочек» — и бросали в воду разноцветные лоскутки, «комочки».

Рыба здесь была и остается главной пищей. И какая рыба! — все царская, отменная — чир, муксун, нельма, омуль. Это — еда, остальная — щука, сельдь и много чего еще — едишка, годная для собак. С трудом верится: из икры варили кашу, называлась икраница, хлебали ее ложками, стряпали из нее лепешки. Чего только из рыбы не делали! Начать перечислять можно, но меню будет далеко не полным: не все упомянул да не все и пробовал. Щерба, строганина, 24

тельно, юкола, икрянка (щерба с икрой), пироженники, кавардак рыбный (есть еще гусиный), толкуша, барабан (блины из толченой икры), борча (копченое толченые вроде кашки), варка (вареная толченая рыба) и т. д. и т. д.

Но рыба требовалась не только для семьи. Без собак в тундре никуда, их держали мало по одной, чаще по две, а то и по несколько упряжек. Кормить приходилось рыбой. Конь в Русском Устье мог пробавляться на подножном корму, выживет — хорошо, не выживет — без него удастся выжить, но за собаками смотрели как за детьми. Благодаря им, в русскоустыинском языке жива «броска» — разовая норма на собаку, но удивительно, что сохранилась и «вичь», что в древности означало дневную пищу богатыря, судя по былинам, а здесь — для упряжки. Если в хозяйстве была лишь одна упряжка, да семья в четыре человека, считай так: на собак 10—12 тысяч штук ряпушки и для себя 1000—1200 «едомых» рыбин. Да тонны четыре на приманку песцам. Для нового времени поправка: в совхоз сдать две тонны. Правда, в июне при ходе рыбы и поймать можно за день до тонны, рыбака еще есть. И тогда уж еще одна поправка для сегодня: упряжку мало кто кормит, а для «Бурана» другая требуется «вичь», которую сейчас в тундре ищут пуще жизни. Ну а как найдут — несладко придется и рыбе, и оленю, и песцу, да и всей матушке-сендухе.

Песца добывают как же, как триста лет назад. Пробуют, правда, и капканом, но делают их у нас тяп-ляп, и толку от них мало. Павел Черемкин, во всем горячий, «ожигной», в голос взвился, когда речь зашла о капканах:

— Возьмешь ящик, шестьдесят штук — хоть все выбрасывай. Ни отжать, ни... — Черемкин в армии служил на Сахалине, а там не было запрета на крепкие слова, кое-что привез. — В местах сварки подряд отстают, всю тундру замусорили.

Надежней пасти — те, что были и при царе Горохе. Что такое пасть? Столь же нехитрое сооружение, сколь и верное: над деревянным помостом на «симке» (конский волос или тонкая нить) настораживается бревно, рядом разбрасывается приманка. Подбирая ее, песец задевает «симку» — пуск срабатывает, и бревно прихлопывает зверька. Шкурка при этом не страдает — если ее вовремя взять. Промед-

ли — свой же браг, песец, оставит от нее одни лохмотья.

От трех до пяти раз за зиму осматривал промысловик свой пастиник. Если он далеко — каждый выезд чуть не по месяцу. Хоть песни пой, хоть волком вой в эти недели, никто не окликнет, ни в слове, ни во вздохе не поддержит. Только собаки рядом, а за ними глаз да глаз нужен, чтоб не разгорячились и не припустили за промелькнувшим зверьком, оставив на погибель. Сколько такое случалось! Тот же Павел Черемкин рассказывал, как упустил однажды упряжку и восемьдесят километров шел — не шел, а бежал в «полярку» в легком свитерке до поселка. Упряжку потом искали на самолете, едва нашли.

Но у досельного русского самолета под рукой не было, и потеря собак имела для него другие последствия, чем для Павла Черемкина, у которого сегодня есть еще на всякий случай и «Буран». А потеря кормильца? Если сейчас охотник не вернется в свои сроки, на поиски его будет брошено все с воздуха и земли, а триста, двести, сто лет назад промысловик рассчитывать было не на кого. Проводит его мать или жена, осенив крестным знамением, соберет с улицы щепки, сложит их возле камелька, ворожа песцов или оленей числом побольше, и к тундре: «Матушка-сендуха, обереги кормильца». Вот и вся помощь. Худьба ли (болезнь) пристигнет, на собак ли чах нападет, в кутерьгу ли (пургу) заедешь — надежда только на себя.

Вот так и проходили годы, десятилетия и столетия. Где-то у тамосных менялись цари, объявлялись войны, проводились реформы, открывались академии и думы, менялись взгляды на происхождение человека, делались величайшие открытия, а сюда все это доходило, если доходило, с тем же пригасом и опозданием, с каким достает до нас свет далеких звезд. Здесь жизнь без изменений подчинялась все так же миграционным путям песца и оленя, срокам прилета и отлета птицы, ледостава и ледохода на Индигирке. Пасти и «пески» от отца переходили к сыну, и от него к сыну, и от него... Немереная сендуха издавна была поделена на семейные тундры, пустопорожных, ничейных земель в ней не осталось, необъятность оказалась объята, наделы возрастали только за счет потеснения. У тамосных утверждались последние философии, а здесь при рождении ребенка все также давалось ему два име-

ни: крестили Семеном, а звали Иваном. «Порча» будет искать Ивана, а он Семен. А то, чтобы запутать нечистую силу, и собачью кличку давали, которая затем к собаке и переходила, когда ребенок подрастал и выкармливал собственного щенка, с которым, как с братом, не расставался.

Верили, что умершие с того света возвращаются в образе младенца. В крышке гроба, чтоб легче выбраться, высверливалось отверстие. Называлось это, возвращение — «прийти вявви». Но если не хотели, чтоб воротился и повторился в своих недобрых качествах, без стеснения заколачивали в могилу осиновый кол. Мы теперь, пожалуй, и растеряемся перед подобной смелостью, соплемя с нашей стертой моралью, не дающей ни осудить, ни защитить по заслугам, на то, что человек не вправе подводить окончательный итог чужой прожити. Русскоустыинец, слепленный, казалось, из одних предрассудков, тут бывал откровенен: прими, пока не стерлась память, чего достоин, и не взыщи — таким ты был. Размышляя о деяниях сегодняшних отцов — «переворотчиков», с поспешностью оккупантов уничтожающих наши национальные святыни по городам и долам, поневоле подвернешь к этому опыту: а не худо бы знать им, что не все прощается и со смертью. В «прощается», кстати, соединилось два смысла — и как последние проводы, и как освобождение от вины, которую живые принимают на себя. А что нельзя принять, то и не простится.

До чего жаль, что не осталось от донных, первопосельных дней никаких «завертушек» (весточек) о том, что делали и что бояли русскоустыинцы по приходе. Или за тяжкими трудами не до того было, а вероятней всего — было, да со временем сплыло. Поморы, как правило, знали грамоте, к тому же предание разъясняет, что основателями Русского Устья явились люди именитые. И это-то как раз и не следует торопиться отнести к приукрасу, свойственному местным преданиям, а не забыть, что уж если спасались от притеснений великогневногo государя, то спастись прежде всего приходилось не простым людям. Простые могли и отсидеться, а громким фамилиям лучше было уносить ноги подальше.

Зензинов, сделавший первые записи, лет на сто опоздал, чтобы предание было ближе к свидетельству. Но и у него есть приметы именно свидетельства,

чуть позже их бы уже не сыскать. В наше время наудачу среди русскоустыинцев нашелся человек, который, многое помня, многое видев собственными глазами, о многом спросив стариков, во многом участвовав, собрал огромный материал по истории, этнографии, образу жизни, веры и мысли своих земляков. Это Алексей Гаврилович Чикачев из старинной русскоустыинской фамилии, бывший партийный работник. У Чикачева вышла недавно в Новосибирске о Русском Устье книга, что называется, из первых уст. И, ссылаясь на старые источники, которые представляют собой впечатления, наблюдения и отзывы людей, оказавшихся в этом углу временно, а то и случайно, приятно сослаться и на прозвучавшее наконец в полный голос свидетельство самого русскоустыинца, которому приходилось, вероятно, удерживать свое перо, отбирая, что может быть интересно и что неинтересно из жизни его земляков для читателя. Но интересно в этой книге (называется она «Русские на Индигирке») всё — и как работали, и как верили, как говорили и чувствовали.

Да, работали, много работали, но это тягловое понятие тоже важно оживить подробностями. И умели не только работать, а и отдыхать тоже, а отдыхая, «за ходы заходиться» — смеяться до упаду. Старики и ныне помнят, как, отгусевав, закончив загонную охоту на линного гуся в морской губе, любили устраивать смотрины в другом деле. Вот как об этом записано у А. Г. Чикачева:

«Сразу после завершения промысла устраивались соревнования («хвасня») на ветках на расстоянии восемь-десять километров. Устанавливались обычно три приза («веса»), в каждом определенное количество гусей, к которым какой-нибудь состоятельный хозяин добавлял от себя осьмушку чая или пару листов табака. Победителя называли гребцом.

Гребцы в Русском Устье были двух видов.

«Пертужие» гребцы — на длинные расстояния — могли за день пройти против течения 70—80 километров. «Хлесткие» гребцы — на короткие расстояния. Рассказывали, что в старину были люди, которые на двух-трех километрах не отставали от чайки».

А ведь точно так развлекался в молодечестве и этими обозначениями

пользовался русский человек в средневековье. То, что не могли сказать нам летописи и предания, оказалось в живых «досельных» обычаях. И кулика (старинный хоккей) была в ходу, и лапта, и «поклоны» (тряпочки, которыми известие передавалось цветом, длиной и узелками), и многое-многое другое, что почти повсюду забылось окончательно.

А приметы! Да куда ж при любой науке без примет, если они, проверенные-перепроверенные, не обманывали! Конь зевает — к ненастью. Собака зарывается в снег, ищи пристанища, — быть пурге. Гусь высоко летит — к теплой погоде, низко — к холодной. И еще тысячу лет будут жить здесь люди и тысячу лет не отставят приметы — были бы только кони, сабаки да гуси. А их не столь дивно, как водилось прежде. У северянина, правда, и комар шел в приметы, который не поредел, и не похоже, что поредеет, но одного комара для предсказания все-таки маловато.

Так вот, надо полагать, и жил русскоустыинец сначала в полных для нас потемках, затем в редких выглядах, все ближе и неминуемей придвигаясь к ясным дням. Но прежде чем выйти на свет окончательно, еще одно свидетельство его сумеречности. Принадлежит оно все тому же Зензинову и относится к 1912 году, когда он только что прибыл в Русское Устье:

«В первые дни дверь моей юрты хлопала поминутно, и гости с жадным любопытством следили за тем, как я вынимал из ящичков одну незнакомую вещь за другой. Весть о каждой новинке быстро облетала все избы. Наибольший эффект произвела керосиновая лампа — первая в Русском Устье. «Достал, — рассказывали наблюдатели, — чайник какой-то блестящий и на него стеклянную тарелку надел» Вечером разнеслась новая весть: зажег, зажег! — и долго еще потом ко мне ходили посмотреть нарочно на лампу (даже приезжали по соседству) и расспрашивали: «Что это в ней горит?» Лампа эта произвела такое впечатление на умы индигирцев, что, я уверен, с нее будут считать здесь начало новой эры».

Так бы оно и было, по всей вероятности, если бы, уже не аллегорически, не грянула новая эра. Слух о революции и гражданской войне дотянулся до низовьев Индигирки не скоро, а когда дотянулся, мало что на первых порах изменил. Индигирщик не знал, что это такое, революция, с чем ее едят, и про-

должал тянуть свою неизносную лямку жизни без всяких перемен еще несколько лет.

Надобно пояснить, что при царе «досельные» были приписаны к мещанскому званию. Ни образом трудов, ни образом жизни на мещан они не походили, но точно так же не подходили они ни к какому другому сословию. Поэтому им было все равно — хоть горшком назови, только в печь не толкай. Безотказно платились подати, общество управлялось старостой и старшиной, основные дела решались на собраниях — съездах. Раз в год, а то и реже, из Верхоянска наезжал исправник, раз же в году, справляя все требы единочасно, появлялся священник. Купцы, привозя товар, одинаково грабили как якутов с юкагирами, так и русских. У Геденштрома описан случай (относится он еще к 1810 году, но с тех пор за век мало что изменилось), как «индигирский мещанин» заказал купцу серебряную ризу на икону Николая Чудотворца. Оценена она была в 70 рублей. Мещанин уплатил 56 пеццов, из расчета рубль за шкуру, и остался должен 14. Затем в течение семи лет он отдал купцу в погашение долга еще 86 пеццов, однако по хитроумной купеческой прогрессии долг возрос до 1200 рублей. Если б не вмешательство властей, хоть в полон иди мещанину. И такое водилось сплошь и рядом.

Когда-то кто-то, должно быть, из должностных лиц завез в Русское Устье слово «республика» и растолковал его как беспорядок, неразбериха. Русскоустынцу, восприимчивому ко всему, что могло пригодиться, слово понравилось. «Республика» перенесена была на всякий беспорядок — в собачьей ли упряжке, в кухне ли среди баб, или на общем сходе. Чуть что не так — «республика».

Новая эра для Русского Устья началась не в 1917-м, а в 1930-м, когда проводилась коллективизация. Для названия того, что произошло, не хватило даже и «республики». Это была «великая битва», как обозначено собрание в книге А. Л. Биркенгофа, который на нем присутствовал и поневоле принял участие. До того как привести отрывок из книги Биркенгофа «Потомки землепроходцев», стоит еще раз напомнить, что русскоустыинец только-только взглянул из тьмы досельности и не успел

еще протереть глаза, как был замечен и призван на это великое, судьбоносной силы собрание.

«Уполномоченный огласил повестку дня. «Экспроприация имущества феодалов» — один из вопросов повестки дня — разумеется, прозвучал для собравшихся русскоустыинцев как вышшая и непонятная мудрость «тамосных» людей. И тут мне, достаточно к тому времени овладевшему русскоустыинской речью, пришлось приступить к исполнению обязанностей «толмача» и разъяснить собранию значение непонятных и чуждых слов.

Итак, собрание было открыто, президиум избран и занял свои места, «переводчик» приступил к исполнению своих обязанностей.

«Товарищ председатель, прошу прекратить дым!» — строго оглядывая собрание, говорит агент Якутгосторга, колымчанин Афанасий Сивцов. Президиум предлагает прекратить курение. В этом тоже есть что-то новое, подчеркивающее предстоящие перемены в привычном, устоявшемся, подчеркивающее важность наступающих событий и торжественность собрания. И собравшиеся не без сожаления, но беспрекословно тушат пальцами и прячут раскуренные было трубки.

Затем зачитывается список избирателей, разбитый «избиркомом на специальные группы». Взоры присутствующих снова устремляются ко мне — ждут разъяснений.

После моих разъяснений некоторые негодуют и неожиданно протестуют — не желают быть «назначенными» в бедняки, видя в этом назначении какое-то оскорбление.

«Сидячий инородец» (так в Русском Устье еще иногда продолжают называть обрусевших ламутов и юкагиров) С. Варакин опоздал на собрание и, услышав слова «бедняк», «средняк», заявляет, низко кланяясь собранию: «Пришли послушать, как нас (то есть его) записали, и сказать, что у нас есть».

Его стараются унять. Но дошла наконец и до него очередь, и Варакин старательно доказывает свою принадлежность к группе середняков. «У меня четыре дома, 300 пастей, 24 сети, я не бедняк, не бедняк я!» — говорит Варакин.

И он действительно не бедняк. Но

почему он так не хочет быть «назначенным» в бедняки? Кто-то из присутствующих, кому надоели возражения Варакина, предлагает: «Ну пусть середняк... раз напират-да».

Исступленно протестует и Семен Шульговатый: «У меня 150 пастей, сети, лодки, карбас. Я не хочу с имя (то есть с бедняками)».

Воистину русскоустыинцы жили плохо, но об этом не знали.

Что делать? Вихорь налетел. Обобществили собак, сети, пасти, приняли «спущенный» план и в первый же год с треском его провалили. Куда-то надо было высылать кулаков, а куда? Дальше на Север житься не только в России, но и во всем свете не принялось, а русскоустыинца хоть на Медвежьи острова отправь, он и там не растеряется. И все же куда-то отправляли, рассуждая правильно: важно вырвать из родной обстановки, а там хоть где, хоть у Черного моря зачухнет. У Черного-то моря скорей зачухнет. Немало надиковали поначалу с этими колхозами. Старики, вспоминая о 30-х годах, и теперь, прикрывая от неловкости глаза, качают головами: за лишек зашли, да наизъянили так, как за триста лет до того не случилось.

Году в 36-м, кажется, объявлена была русскоустыинскому колхозу «Пионер» директива срочно заняться оленеводством. Русские здесь никогда оленей не держали, но директива есть директива, ее надо выполнять. В соседнем юкагирском хозяйстве кушили сорок оленей, нашли в тундре эвена по имени Кабахча и поставили его пастухом. Кабахча, как полагается, увел оленей в тундру.

В конце августа, как раз в ту пору, когда дикого оленя бьют на плаву, вдруг с противоберега появляется стадо и бросается в воду. Мужики, излишне не катаясь умом (не рассуждая), быстро в ветки и стадо то до последней головы перебили. Дней через десять появляется Кабахча и заявляет, что олени потерялись. Собравшееся правление принялось судить пастуха, грозить ему тюрьмой. Кабахча вышел из конторы с твердым намерением, пока жив, бежать в тундру. За деревней он наткнулся на спиленные оленьи рога и по своей метке признал колхозное стадо. Когда с рогами он вернулся в правление, правленец-русскоустыинец, для





которого мир, перевернувшись, еще не успел установиться, никак не мог понять, почему колхозное стадо не показало ничем, что оно колхозное, а не божье, когда двинулись на него с оружием.

Но мир тогда еще не доперевернулся. Он кувыркнулся заболь (вправду), когда председателем сельсовета избрали бабу — Ларису Чикачеву. Это был конец света. Дальше, по представлениям индигирщика, тарамгаться (двигаться) не осталось куда. Баба здесь истари должна была знать, где бог и где порог. Вскоре, не давая опомниться, загребли «дымы» со всех проток и запоселковали в одну кучу. Назвали Полярным.

И было в Полярном отделение Аллаиховского совхоза.

Э-Э, БРА, ПОШУХУМА БАЕШЬ

Я и сам из тех мест, которые расчаты были по Сибири выходцами с Русского Севера, и потому многие слова, которые Зензинов находил нужным расшифровывать еще в начале века, для меня родные и составляют живое и незаменное языковое имущество. У нас в среднем течении Ангары в моем детстве если кто вместо «баять» подставлял «говорить», тот поддался, значит, «тамосной» городской причуде. В Русском Устье мне не требовалось объяснять, что такое лыва (лужа), мизгирь или ситник (паук), галиться (издеваться, глумиться), лонись (в прошлом году), лопоть (одежда), доспеть (сделать), дивля (хорошо), кружать (плутать, заблудиться), лихоматом (быстро, громко), околеть (озябнуть, замерзнуть), улово, урос, щерба, шметье и многое-многое другое. И, переводя сейчас с русского на русский, я чувствую невольную вину перед языком за то, что приходится это делать. А как не делать? Образование не к языку ведет, а от языка уводит, и естественное обновление и приращение лексики переросло у нас в страсть новоречия.

Мои предки и предки русскоустыинцев вышли из одного гнезда, но вышли в разное время и осели на разных почвах. Когда будущие ангарчане отселились с прежней родины (самые распространенные у нас фамилии — Пинегины да Воложины), от исхода будущих русскоустыинцев миновали немалые сроки. Лучшее доказательство тому — язык. За сто с лишним лет

произошли изменения в языке и на кондово-русских землях, на Русском Севере — там, где теперь Новгородская, Вологодская, Архангельская и краем Вятская губернии. И то, что выпало там из языка к началу XVIII века, к нам на Ангару уже не попало, а что было до того — просматривается по Русскому Устью.

Это не научный труд, занимающийся доказательствами. Это скорее слуховое сравнение. Еще до поездки в Русское Устье, читая о нем, я удивлялся совпадению многих диалектных особенностей наших говоров. Про-



сматривалось явное родство, которое показалось мне близким. Побывав на Индигирке и раз, и два, я увидел, что преувеличивал это родство. Оно, разумеется, было, но не в том соединении, в каком старший брат отстоит от младшего, а гораздо дальше — как дед или прадед отстоит от своего потомка. Если же сравнивать по говору, по произношению — еще дальше. Но о говоре отдельно.

Главное отличие: в языке русскоустыинца гораздо больше архаики, досельности. Скажи моему земляку: «Э-э, бра, пошухума баешь!» — не поймет. Ему знакомо здесь лишь одно слово — баять. Откуда взялось «пошухума» и «шухума» (зря, напрасно), сколько ни рылся я в словарях, — не нашел. Не могло оно, судя по всему, пристать и из местных языков. «Бра» — обрезанная форма от «брат», наш брат на укорачи-

вания тоже был мастак, но проглатывал, как правило, гласные или экономил в скоплениях согласных, а тут не пожалел бы языка, договорил до конца — и даже с упором.

У русскоустыинца сохранилось в самом живом и здоровом виде то, что почти повсюду источилось до полного глена, оставшись лишь в письменных памятниках. Тут по-прежнему говорят: перст (палец), заглумка (улыбка), озойно (громоздко), бердить (бояться), вадига (глубокое место на реке), гузно (зад), голк (гул, раскат), изурочье (редкость, неви-

исток (восток), в болгарском — и з с т о к. И живот на Индигирке сохранился в значении жизнь, имущество.

В наших краях говорить лишнее, болтать выражалось словом «травить», в Русском Устье более старым — д р е в и т ь. «Инде» у нас доживало в значении усилительной частицы; а здесь, как и всюду в древних летописях, — «в другом месте».

Непросто было доискаться, почему шустрые дети называются в Русском Устье облачными. Какая тут, казалось бы, связь? — это так далеко: шустрые и облачные. И только обороты к языческим временам славян, извлекешь оттуда: облачные дети, облачные девы — проказливые, устраивающие игрища. У А. Н. Афанасьева в его «Поэтических воззрениях славян на природу» читаем: «...Игрища, происходившие на русальную неделю, сопровождались плясками, музыкой и ряженьем, что служило символическим знаменем восстающих с весной и празднующих обновление жизни грозových и дожденосных духов. Принадлежа к разряду этих духов, русалки сами облакались в облачные шкуры и смешивались с косматыми лешими и чертями».

Или вот: гнилое дерево у индигирщиков — г л и н ч и н а. На первый взгляд звуковая подмена: гли н — гнил. И так оно и есть, только не случайная, не для удобства произношения, перестановка: в древнерусском гнила и писалось и произносилось как г л и н а.

И так далее. Примеры живой (еще недавно живой, сейчас отживающей) языковой древности можно продолжать и продолжать. В Ожогоино, русском же селе верстах в ста выше по Индигирке, куда первоначальники, бесспорно, спустились из Якутска и где их потомки впоследствии сильно объякутились, язык столь глубокими приметами, такими отковыринами от древности уже похвалиться не может. Ну что, казалось бы, сто верст для тамошних размахов, а разнице в говоре, в обычаях удивлялись еще в прошлом веке. Не есть ли это в первую очередь доказательством особого и отдельного отслоения русских, заселивших последние низовья Индигирки?

И природный мир, и хозяйственный уклад был здесь во многом иной, чем на старом Севере. Лучше всего лег на новообитель и обогатился язык, относящийся к «стихеям» воды и ветра. Шелоник (юго-западный ветер) и здесь



Картинки тундры.

даль), куржевина (иней), могун (живот), патри (полки), покрот (пояс для пеленания ребенка), шигири (стружки дерева), шархали (сосульки), коржевина (ржавчина), иссельной (натуральный, настоящий), карга (гряда, полуостров), клевки (черви) и т. д., и т. д.

И уж вовсе забыли и потеряли мы из старославянского иверень (часть, кусок, осколок); в болгарском — и в е р, в чешском — и в е р а, означающих щепу, стружку. Обращаться к болгарскому, чешскому и словацкому приходится потому, что в них лучше всего сохранилось славянское корневище языка — и вот какие перемахи из Европы на крайний азиатский север надо делать, чтобы из живых уст услышать драгоценную однозвучность. В болгарском «до повиданья» так и осталось, есть оно и в Русском Устье. Как и

остался шелоником; как и всюду по рекам; низовка — оттуда, куда уходит течение, верховик — откуда приходит. Северо-западный ветер называется ниже западу, восточный — сток, северо-восточный, холодный и резкий, — худой сток, юго-восточный — теплый сток или обедник. Но посмотрите, как разросся в названиях ветер по отношению к реке: по течению — понизной, против течения — по плесу, от своего берега — отдерный, с противоположно — прибор. По отношению к движению человека: противной, пособой, боковой.

Вадига, ямарина (яма на реке), шивер (подводный камень), курья (залив на реке), осинец (глыба льда), мичик (мелкий лед), карга (полуостров), кулига (залив), ердань (прорубь), антиях, огибень, улово, быстрая, кибас (грузило на сетях), няша и т. д. — все это сразу приставилось к Индигирке, к ее берегам и водам. Как и калтус (мокрое место), веретье, лайда, зановолочье (зарастающее озеро), едома, виска, тайбола (необжитая глушь), разлог — легло на тундру. Легло даже больше, чем было в ней «кости» на языковую одежду: елонь или елань — значит расчистка в лесу, однако чистить здесь было нечего, и тем не менее елонь каким-то совпадением прижилась. Прижилась даже «дубравушка», ставшая обозначением любой растительности.

Не было, как упоминалось, скота — скотом стали называть собак. Тогда уж и конура для собаки — стайка. Мести пол — пахать. Медвежата, волчата превратились в цыплят. Зензинов упоминает о бедности языка русскоустинца, но, уже судя по тому, какие усилия и извороты употреблял язык, чтобы не потерять в отрыве ни красоту свою и гибкость, ни трудовую и обрядовую основу, ни точность, нужно считать за чудо меру его сохранности. Едва ли не половина предметного и природного мира в новых условиях исчезла из жизни русскоустинца и должна была без употребления отмереть, в свою очередь, новая предметность, явленность и видимость, имеющие названия в местных языках, должны были влиться в язык и занять в нем законное место, как это произошло всюду, где русский человек оседал рядом с инородцем. Заимствования в говоре русскоустинца есть, десятка три-четыре якутских и юкагирских слов вошли в плоть собственного языка неотрывно, прежде всего прижились в первоначальном, как

бы поданные голосом самой северной природы, промысловые предметы и действия, некоторая одежда и утварь. Еще три-четыре десятка слов русскоустинца может вернуть в разговоре, но без особого веса, имея им наготове замену. Вообще же надо только поражаться, до чего памятьным, выносливым и сильным показал себя здесь русский язык, без крайней нужды не взяв ничего постороннего и до последнего звука держась и воюя за свое. У А. Г. Чикачева, русскоустинца, о котором уже упоминалось в записках: «Русские, заимствовав у местных меховую и промысловую одежду, давали ей свои чисто русские названия: малахай, шаровары, дундук, бродни, шаткаря. В то же время сохранили севернорусский костюм: сарафан с передником, форма повязки головного платка, шапка-ермолка, мужская рубаха с жилетом». И так во всем.

Зензинову, вероятно, язык показался бедным с точки зрения образованного и книжного человека XX века. У русскоустинца, вровень с ним в одном времени очутившегося как бы и не по своей воле, не могло быть той простоты и гибкости мысли, какой жаждал политссылный для общения. Индигирщик, привыкнув подолгу оставаться один на один с сендухой, и чувства свои выражал односложно. Но в этой звуковой односложности накапливалась и емкость, и радужность, и речивость, но понятны они были лишь человеку из этого же круга. Если в каждой нашей семье на родном языке выступают «родимые пятна», никому, кроме своих, недоступные, всякие там «художества» в словах и образованиях, то без них не обошлось и в замкнутой общности. И что из того, если постороннему они могли показаться назойливыми и бессмысленными?!

Всех, кто прежде следовал в Русское Устье через Ожогоино на Индигирке, через Походск на Колыме или Казачий на Яне, все русские же села, предупреждали: вы их там, в низовьях Индигирки, не поимете. В каждом из этих сел вырабатывался свой выговор — например, в Походске сладкозвучие, в котором обходились без «р», а «л» выпевалось как «й»: «игойка» вместо «иголки». Всюду разговаривали на свой манер, но в Русском Устье это было что-то совсем особое, ни на что не похожее. Тот же язык, со старинным запасом и новым припасом, но инструмент выговаривания устроен как бы

иначе. В Чокурдахе я попросил, чтобы русскоустыинцы собрались «побаять». И в первые полчаса почти ничего не слышал (не разбирал), только отдельные слова, затем стал слышать с пятое на десятое и только к концу вечера мало-помалу приноровился к речи. И то — как приноровился — будто рыба на песке, которую поливают водичкой: что-то попадает для продыха, а больше соскальзывает. Или как поплавок, подныривающий от легкого зацепа и обрыва мысли.

Не знаю, с чем лучше сравнить русскоустыинское произношение. Сами русскоустыинцы, почти все теперь знающие и «тамосный», общепринятый язык, называют его — шебарчеть. В нем действительно много шипящего, свистящие «с» и «з» перестроились в глухие «ш» и «щ», но не везде, а с каким-то вольным выбором, не признающим законов. Закономерности, вероятно, есть, но это дело специальных работ, которые писаны и пишутся (в том числе у А. Г. Чикачева); нам же, коль осмелимся мы забраться в эти дебри, по добру-поздорову из них не выдраться.

Так на что же похож говор русскоустыинца? Он говорит быстро, очень быстро, почти без пауз. Взяв первое слово, тут же пускает речь в галоп. К шипящим я прикоснулся из удивления: много шипящих, речь и действительно шебарчащая и при этом резкая, дробно-отрывистая — как если бы пустить колесо по мелкой брусчатке. Обрывистая и при этом ровная, без эмоциональных повышений и понижений, стертая в окончаниях. Впечатление такое, что слово не допекается, не успевает дозвучать и под напором следующего вытаскивается. Когда говорят несколько человек сразу — будто гогочут возбужденные чем-то гуси. Изменилось ли так произношение под природным звуковым магнетизмом, принесено ли было из древности — как знать! — но вот при тех же тундровых голосах нигде на Крайнем Севере оно больше не повторилось — стало быть, для результата потребовался все-таки исходный материал.

В языковые дебри забираться не будем, но еще одну любопытную деталь, кажется, всюду изжитую, упомянуть стоит: частица «то» продолжает здесь указывать на род. Сендуха-та, изба-та, море-то, а в мужском принимает обратную форму: мужик-от, ветер-от. Это тоже из глубокой древности.

Кое-что из неправильностей согласования перенялось из якутского.

Но и многие собственно русские слова, сдвигаясь и сдвигаясь без поправок в искаженную звуковую форму, со временем так и затвердели в ней. А уж если русскоустыинец что вбил себе в голову, на том он и будет стоять. А. Г. Чикачев считает упрямым, консерватизм главной чертой своих земляков, но без них, вероятно, индигирщику было бы и не выжить; то, что в других случаях является неприятным качеством, в этом смысле сыграло положительную и усилительную роль. Но сейчас речь о корявинах, об искажениях в языке.

«Омоложиваться» постепенно превратилось в «омолахтываться», «позавочку говорить» — не вдруг разберешь, что это «говорить за глаза, за очи», «авидень» — «в один день», одеяло — аджало, медлить — меледить, лента — ленда, пробка — тробка. Особенно пострадали слова-переселенцы чужого происхождения, занесенные позднее купцами, администрацией или экспедициями. По своим местам знаю, что они, слова эти, стоящие как бы поперек горла, неизменно разворачивались в подволь — чтобы не драло горло. Пиджак — финзак, адъютант — утитант, обсерватория — червотория, тут русскоустыинец не церемонился, излаживая из перелетного слова что-то такое, что здесь и застревало. И когда в речи все это перемешано со старорусским, в речи-то уже и не подозреваемым, когда выговаривается слово на свой лад и стоит в непривычной подчиненности да выстреливается скоренько — не вдруг, даже и выструнившись весь в одно внимание, поймешь правильно русскоустыинца.

Но уж когда начинаешь понимать, когда научишься отличать семенную насыпь языка от пустовесу, когда и на слуху вызванивается родovitость слова, так бы слушал его и слушал, пил и пил, как при жажде, его драгоценную сытость. И тогда хочется, чтобы слушали и наслаждались другие, пока не совсем поздно. Ведь немного еще — и отзвучит досельность, и прекроется в русском человеке навсегда клапан, приподнимавшийся время от времени над узким нечувствительным отверстием, сквозь которое доносился связанный шепот нашего предка, знающего, что его поймут. А как только некому будет понимать — уже и не скажется.

И как бы не отмерло в нас еще одно

чувство, за которым мы и без того плохо следим, да не все и ведаем о его существовании, хотя и составлено оно из всех основных человеческих чувств — видеть, слышать, обонять и осязать дальше собственной жизни.

Послушаем еще русскоустыинца, пока не умолк он. Так не хочется расставаться с его речью. Идти ступью — идти медленно; облай — грубый, скандальный человек; делать назгал, делать в конец рук — делать плохо; заглумки давать — улыбаться; за лишек зайти — перестараться; исток знать — знать причину; наперепучье — наперерез; найдущка — находка; на ушую посадить — обмануть; не дай не вынеси — о беспомощном человеке; оптопок — изношенная обувь; огонь угасить — остаться без хозяйки; хозяйство по навильникам пошло — разорилось; папоротки отбить — избить (Чикачев считает, что это от папорозь — в древнерусском наплечник, но есть еще папороток — сустав в птичьем крыле); семилу бить — суетиться; упалой — слабый; ухульничать — клеветать; через говорить — говорить без уважения; сидеть до чуки — сидеть до конца; перещекалдывать — спорить, мешать разговору; басница — сплетница; вара — заварка чая; ересь — сора; жалеть — любить; зарность — жадность (как оно и было в старину и с жалеть, и с зарностью).

Здесь, в краю вечной мерзлоты, где все еще находят туши мамонтов и стволы берез неподалеку от океана — свидетельство иных климатических эпох, на счастье и удивление до последних дней сохранился и старорусский язык. И когда встречаешь его не в летописях и случайных отзвуках, когда слышишь его наяву, открывается с особенной ясностью, как много вместе с естественным отмиранием случилось в русском языке потерь неоправданных и непоправимых — то, что в Русском Устье было последним отголоском русской языковой и бытовой стародавности. И то чудо, что она донеслась, а нам припомнился слух, чтобы ее понять.

ЧТО БЫЛЕМ ПОРОСЛО, ЧТО ВОДОЙ УНЕСЛО

Русскоустыинец, принеся с собой библейские сказания о сотворении мира, без замешки распространил их на тундру. Его легенды о происхождении сендухи и сендушных обитателей, о появлении духов и привидений возле, грехов и пороков в самом человеке,

предания о зарождении Русского Устья и пофамильном пристрое к нему, поэтические подробности о животных и птицах, о промыслах и занятиях, записанные фольклористами (а сколько их избыло до записей!) — мудрые, красивые, сложенные миром, с подслухом от тех же зверей и птиц, зачитывал бы да зачитывал одну за другой — так много в них, в легендах этих, быличках и сказаниях души, науки и лада.

Вот одна, пригодная для нашего слова, — «Про мамонта» (из книги «Фольклор Русского Устья»), рассказанная Н. М. Алексееву и Т. А. Шубу в Станчике на Колымской протоке П. В. Кочевщиковым еще в 1946 году:

«Была потопа, значит. Ще стоило — така вода була. Христос шказал: «Се погибает». «От каждой животной, — сказал Христос, — сохраню по паре и Ной со вшей семьей — достальное се пропадет». Ше животные согласились — один звэр не согласился: этот звэр — мамонт. «Я, — говорит, — могу три года воде проплавать». Его шилой не приглашали — не хотел пойти в пару. Ной построил ковчег: там спасал он свою семью и от каждой животной по женочке, по мужичку — и так три года плавал. А этот мамонт сам шебе плавал по воде. Стал третий год доходить — мамонт и пропал: не мог он проплавать три года. Охто у Ноя ковчеги были, те расплодились, а этот звэр пропал шавшем, только рога находим маминта-то: бог его проклял, что не шоглашился в паре у Ноя быть».

Мораль — проше и точней некуда: будь ты хоть семи паедей во лбу, будь ты хоть самый-рассамый могучий «звэр», а в одиночку пропадешь. И только по костям твоим, спустя великие сроки, станут догадываться, какую носил ты силушку. И не выносил потому лишь, что не знал ей меры, а кто знал, даже совсем малую, да берегал — того ни потопа, ни пожары не погребли.

Так было с народами, с цивилизациями, с событиями, которые пренебрегали истиной, что опасность в величии, погибель — в немереной силе, если разбрасывается она без визору и памяти.

Но и эта истина безгорда — и обходится человеком.

В прохладный, полосисто освещенный день в начале августа подплыли мы к Станчику — к тому самому поселению на Колымской протоке, где сказывалась легенда о мамонте. О Станчике я наслышан был из-за часовни. О ней упоминал А. П. Окладников, собирав-

шийся перевезти ее, как и зашиверскую церковь, в Новосибирск, чтобы спасти от непригляда и разорения, о ней же вздыхал А. Г. Чикачев: «Надо, надо спасать, пока не сожгли, но как — это не мой теперь район» — он тогда работал на Колыме. Издали-далеко, крутятся в лодке по крутым излучинам, видели мы ее — согнуто-теремчатую под крестом, а как вывернули из-за последнего мыса, то и вся показалась она на невысоком яру, крайняя к северной стороне среди нескольких протянутых по берегу построек.

А постройки эти были — три избы да два амбара, тоже не жильцы на белом свете. Часовенка же хоть и возвышалась еще над ними, но, покосившись, стояла как бы коленопреклоненно перед рекой, мертво уставившись в пространства в воде и зелени, куда она сеяла молитвы.

Надо ли удивляться, что брошенное до яви, до озноба и оцепенения способно показать себя мертвым. Тут же оставлено было давно. И оставлено так, будто Мамай налетел. На берегу до дыр разошлись ветки и карбасы, осыпавшаяся яма едва выдавала остатки ледника, возле одной из изб приткнута заржавленная пила, на «козлы» для пилки накинута бревешко. В стенах разваленная обиходь, промокшие под сквозящими крышами и окнами одеяла, матрацы, шкуры, в амбарах — изопревшая лопоть. Все, чем жили, кормились, обогревались, оставлено почему-то по великому спеху — и словно ни одна нога не ступала с той поры.

Здесь я почувствовал осязаемую, как разрушающее давление с неба, тоску. К тому располагала еще и погода. Небо было сырое, волнами нахлестывающее на низкие темные края, солнце изредка прожеживалось холодными высветами. И раз за разом налетал, приняв нас за рыбаков, и кричал поморник. Оборванный строй покосившихся крестов над могилами грядой отворачивал от реки и в отдалении шел вдоль нее. Вымочив в болотине ноги, я добрался до кладбища — хоронили и верно по узкому сухому взгорью в строй, но ни голбосов не осталось уже над втянутыми в землю бугорками, ни имен на крестах, ни в спину поглядеть, ни быльем помануть. Как в лагере. За неделю до того были мы на месте огромного лагеря в устье Колымы, оставившего после себя рядом с развалинами барачков и обрывками колючей проволоки вот так же покосившиеся

столбики над безымянными костями. Но там хоть прийти некому, те, пригнанные с виной и без вины, и в землю сваливались под номерами, а для этих тут родина, и их хоронили со слезами. Но и еще, как на ступеньку, спустимся на одно оправдательное «хоть»: тут хоть живых подле похороненных нет, но и там, где есть они по Колыме и Индигирке, всюду одно и то же: оставленность, остуженность, разрыв.

И что уж после этого о часовенке, которой бы место в музее: и срубленная беззатейно, но красиво и вдохновенно, она без затей и умирает — и сама покосилась, и крест повело, и потолок в приделе провис. В пазухе подгнившего угла устроила себе гнездо отлетная малая птичка, успела вывести птенцов и ставила их где-то неподалеку на крыло — до первого спаса, когда начинают трогаться в путь плишечки (птичья мелочь собрана в одно слово — плишечки), оставались считанные дни. Пусть для этого пригодились еще часовенка — и то служба.

Горьким бы показался здесь чай, мы переплыли напротив на левый берег — и еще лучше обозначилось, до чего же удобно, до чего на месте стоял Станчик, жалуемый и самой Индигиркой, которая не напирала здесь на правое плечо и не подмывала берег.

...На катере рыбоохраны мы спускались в низовья — к Русскому Устью, Полярному и последним русскоустыинским летникам вблизи океана. Вместе с нами из Чокурдаха плыли братья Алексей Гавриловича Чикачева — Вениамин и Иван, в широких темных лицах которых давняя подмесь в русскую кровь дала на зависть кость крепкую и общий постав ядреный. Предки Чикачевых по фамилии ходили за песцом и мамонтовой костью на Новосибирские острова (упоминаются как искусные промысловики в начале XIX века русскоустыинцы Иван Портнягин, Фаддей Чихачев, Роман Котовщиков, Иван Рожин), сопровождали туда же, на Новосибирские острова, экспедицию М. Геденшторма, еще раньше вырубали из льдов судно Дм. Лаптева. В экспедиции Э. Толля снова Чихачев с инициалами Е. Н., три года он ходил в ней проводником, отличился в отыскании кратчайших путей к океанским стрелкам и пожалован был высочайшей наградой. В этой же экспедиции вместе с Толлем плавал Петр Стрижов, прадед Чикачевых по материнской линии, и плавал столь полезно, что его именем

названы два острова. Егор Чикачев рубил церковь в Станчике, ту самую, над которой мы только что вздыхали. Дед Чикачевых Николай Гаврилович, по прозвищу «Гавриленок», не однажды поминаемый у Биркенгофа за крепкую хозяйственную справу, знал грамоте, в те времена это было у индигирщиков редкостью. Отец — Гаврила Николаевич — в 30-е годы руководил колхозом «Пионер». Родословная не бедная, и складывалась она по делам в местной истории едва ли не вершинным, заглядывая порой и в российскую историю.

И начиналась издали: Чукичев (так погуляла фамилия — Чукичев, Чихачев, Чикачев) упоминается среди самых заметных отрядников Дм. Зыряна, спустившегося по Индигирке в 1641—1642 годах. И сегодня протягивается без урону: Алексей Гаврилович в то лето работал первым секретарем Нижне-Колымского райкома партии, Вениамин Гаврилович — зам. председателя Аллаиховского райисполкома, Иван Гаврилович — председателем профкома Индигирского торго. В лице братьев Чикачевых не могло быть для нас попутчиков вожистей, ведающих, где, что, когда и зачем по индигирской тундре происходило прежде и происходит теперь.

Плыл с нами и «хозяин» Индигирки Иван Лукьянович Лещенко, работник рыбоохраны, не раз и не два по пути заглядывавший в ледники и сети — нет ли запретной рыбки и ячеи. Не северянин, он как тут и был, будто и место это подготавливалось под его плечи и характер. На Индигирке местный народ «варягов» не шибко жалует; к той поре, когда мы познакомились с Иваном Лукьяновичем, он без унижительного и всегда в таких случаях заметного подлада был полностью свой, это виделось и по отношению к нему, и по прямым словам и по прямым взглядам его самого на индигирскую жизнь. И когда размышляешь, как, каким гражданином может прирастать со стороны Сибирь, — да вот таким, который не развлек бы пустопорожностью местное утро, а добавлял к нему крепости и хозяйственности.

В Станчике, копаясь в брошенной рухляди, Иван Лукьянович отыскал малахай и старинную лампу — для краеведческого музея в Чокурдахе.

В Станчик на Колымскую протоку мы отвернули на моторной лодке, оставив катер на стрелке. И к вечеру того же дня, вернувшись на катер, вышли на

Русскую протоку. Плавание по нижней Индигирке, в отличие от внутрисибирских вод, требует как бы и глаз иных, привыкших к голоземью, умеющих и в нем находить радость.

Вблизи Чокурдаха по левому низкому берегу еще держался гальник, справа горбились холмы, которые здесь приподнимают в языке до гор, и взгляд не проваливался, не сквозил, как было потом. Рыбачьи избушки, то рубленая, то урасой... Не исчезает из виду одна, наплывает, как присаживается с неба, другая. По правому же берегу приткнулись мы в Семиручье к водопаду: обрывистый яр, каменная россыпь, прорезь стекающей и обрывающейся воды, ягодник, грибы — и не поверить, что совсем близко океан. И опять разлил мутной, собранной с тундры воды, слева уже и не низина, а плоскотина вровень с рекой, горы справа отступают внутрь, и в широком речном растворе кажется, что выходим в море. Над головой висят низкие тучи с опущенными лохмами, лениво, но холодно обдувает встречный ветер, упадь земли все заметней, все больше воды вокруг, и катер наш в этом безбрежье, должно быть, выглядит не сильнее жука, которого сносит течением.

По времени ночью, но при свете, даже при продравшемся ненадолго, чтоб приветить нас, солнце подошли мы к Русскому Устью. Уютно стояло оно — Индигирка здесь выкручивает полуостров. Заметно подмытый берег, но две постройки, как и зимой, когда я тут был, держатся: изба и амбар давешнего Гавриила Шелоховского. Давно уже нет его, нет и последнего квартиранта по фамилии Связов, который долго поддерживал здесь жилой дух в полном одиночестве и, по рассказам, от тоски ни днем, ни ночью не выключал громкоголосое радио. Та же металлическая пластина на стене, обращенной к Индигирке, с фамилиями знаменитых ученых и путешественников, проезжавших через Русское Устье. Но зимой изба была крепче, мы влезали тогда внутрь через окно, чтоб не потревожить в сенцах хлопотавшего там в тряпье горносталя, теперь потолок обвалился и дерн с него травенеет на полу, сильно бьет изнутри прелью и гнилью. Так же, как зимой, валяются на берегу перевернутые карбас и ветка, так же разбросанно чернеют бочки. Плавник кем-то из братьев Черемкиных аккуратно собран, чтобы увезти на противоположный берег.

Три мира, если верить «Влесовой

книге», было у древних славян: Явь — мир видимый, Навь — потусторонний и Правь — мир справедливости. Явью от Русского Устья остались вот эти две заваливающиеся постройки из хозяйства Шелоховского, наполовину погружившиеся в Навь, откуда она и начинается и продолжается полноправно неподалеку сухоступом кладбища. Для глаза на нем мало что осталось: чугунный памятник русскоустыинскому потомственному жителю Алексею Киселеву, привезенный еще в начале века из-за далее с далями его разбогатевшими сыновьями, да остатки крестов и голбо-сов, которые надстраивались над могилами. Кладбище уходило в глубь огибень-полуострова, а «жило» тянулось метрах в ста вдоль берега. Печища от изб хорошо заметны еще и сегодня, и по ним, показывающим достаток, даже мне, постороннему человеку, начитавшемуся и наслушавшемуся о Русском Устье, нетрудно угадать, где стоял дом богача Ивана Щелканова и где — «Гавриленка», дедушки братьев Чикачевых. Рядом с ним, с чикачевским родовым теплом, как возданная Правь, одиноко торчит памятник Русскому Устью — сварной металлический лист в виде паруса на коче. Надпись говорит: «Здесь находилось старинное селение Русское Устье, основанное Иваном Ребровым в 1638 году», указанием для которой А. Г. Чикачеву послужила сохранившаяся запись, что в том году тем Иваном Ребровым, шедшим от Яны-реки, срублено было на Индигирке ясачное зимовье с острожком.

И опять давящая тоска, чувство бренности и тщеты: вот прожили они здесь самым малым счетом три века и еще полвека — и только-то и осталось от них! Мы привыкли видеть смысл человеческого существования в делах рук человека — в построенных городах, распаханых полях, вычерченных и собранных машинах. И все это в заслугу старинному поставителю затруднительно: и сами кормились, и для других заготавливали «божье» — песка, рыбу, мясо, даже ездили по «божьем» дорогам, которые с каждой весной или зимой надо торить заново. Все, чем жили триста с лишним лет на этом берегу, изошло, рассеялось, иссякло. И во что, кроме тлена, обратилось? Есть ли в свете справедливый счет, отмеряющий пользу и тщету нашего бытия, и кто настраивает его? Неужели только того в конце концов и заслужило Русское Устье, что скорбного погос-

та да поднятого над ним, как над возвращающимся в отчие пределы кочем, застывшего паруса?

Тут есть несправедливость выше человеческой... И все же время безжалостно и чутко подхватывает и свершает те действия, к которым склонны живущие в нем.

Повторяя по всякому поводу слова Ломоносова о Сибири, мы не потрудимся дочитать их до конца. А до конца — это: «Российское могущество прирастает будет Сибирью и Северным океаном...» И ударение уже сейчас следует переносить на Северный океан. При этом не надо забывать нам, что к приходу промышленного века побережье худо-бедно, но обхожено и разверстано было веками промысловыми, обозначившими освоение этого края. Сотни лет русские поселения по берегам приокеанских рек несли воинскую и трудовую сторожу, это были совсем маленькие островки русской культуры, точечные «родимые пятна» на полотне тундры, но они выстояли, выжили в непривычных для себя условиях и показали достоинство и мудрость в отношениях с аборигенами — то, что прежде всего говорит о характере и сердце большого народа, делаю его великим. Мало того — они и древнее свое нутро во всей его поэзии и прозе уберегли в такой сохранности, что только диву даваться.

И после этого — кланяться приходится одним лишь могилам.

Казалось, оставленный этот берег натянулся, напрягся от воспоминания о людях и готов был каждую кочку подставить, чтобы через заболотившиеся без жителей тропы походили мы тут еще да поговорили, называя могильные кости по именам. Казалось, и солнце отыскало и не отпускало единственное окошечко в плотине облаков, чтоб посветить нам... Все, что стояло еще, склонилось — как приспустилось. От печищ, к которым подходили мы, доносило запахом горечи; сорок лет прошло от переезда, а все не источится в глинистом отгаре жилой дух, все что-то хранит и ищет.

И долго, как отплыли, молчали виновато и удрученно братья Чикачевы, пока не сгношили на катере чай и не зашел разговор, что нигде, ни в каком краю, невиновных нынче не осталось. Это какая-то вселенская наша вина за Землю единую и за каждую в отдельности, поруганную дурной цивилизацией и не оплаканную из упрямства, 259

что тот и бог, у кого длиннее рог. Со страстью совлекаемы, без покаяния отпущаемы. И у лучших из нас не исчез соблазн, закрывшись торопливым «аминь», кинуться вслед за теми, кто умеет смотреть только за горизонты, не видя ничего под собственными ногами.

Но вот и с Индигирки дошел слух, и я с радостью поспешил вписать его в готовый уже текст, что недавним летом братья Чикачевы числом в четыре пары рук свезли на барже в Станчик кой-какой строительный материал и поправили, почти подхватили в упаве тамошнюю часовенку, привели ее если не в божий, то в мало-мальски пригожий вид. Много ли надо для надежды — сразу поверилось, что и на дальнем Севере отыскалось и выстроилось в действие сознание не поддаваться переворотчикам родной земли и совести.

И еще в том слухе с Индигирки было: русскоустинцы готовятся отметить 350 лет от основания своего села. Что ж, и 350 немало. А если к ним добавится остаточек чет в 50, про запас выглядывающий за означенным сроком и притягательный, как самый лакомый кусок, так и того лучше. Разве не соблазнительно представить, что примерно в ту же пору, когда Ермак отбивал на Иртыше, с западного опоясья, у татар город Искер, на крайнем восточном конце уже держал русский человек в своих руках противоположный прихват — и только оставалось то опоясье прошнуровать. Это звучит почти иронически: «только и оставалось, что пройти из конца в конце огромный материк». Но и верно звучит: если бы действительно так оно и было и оба конца держались одними руками, то вырвать их едва ли представлялось возможным.

Русскоустинец, надо сказать, верит в свою исключительность. Помогли ему в том фольклорные и диалектные экспедиции, зачавшие до последнего времени на Индигирку, написанные о нем книги и снятые фильмы. Он относится к себе с непоказным, но и заметным достоинством: слагает песни о Русском Устье и Заполярном, склонен среди таинственной сендужи поэтизировать и свои занятия. Приезжие говорят, что он относится к себе с излишним достоинством, порой корыстным и упрямым, не желая, к примеру, поделиться с новопоселенцами частью тундры и «песков», которыми владел когда-то его предок. За ним это

и верно водится: фамильное — значит мое, при любой власти моим и останется. Не думая оправдывать этот взгляд, можно его и понять: столетиями его фамилия обогревала и страдовала в тяжелых трудах на этих тундрах и «песках», совхоз в последнее время тоже молчаливо соглашался с наследственностью, делая лишь небольшие и необходимые перемеры, и промысловик привык к владительности. Но это не правило: и прежде приходилось тесниться, а ныне, когда все больше принимается бригадный промысел, и вовсе понадобится считаться не со своим, а общим.

Но пора наконец подчаливать наш катер и к Полярному. Под утро, когда отяжелел свет и с одинаковой свинцовостью выстоялся по воде и по небу, подплывали мы к нему и, подплывая, услышали глухой угрозный звук — будто осела земля. Через десять минут причина была перед нами — огромная, как острок, земляная отвалина лежала с задранной боковиной в воде, а волна принималась хлестать в отступившую стену берега, в которой голубел понизу лед. Неподалеку прилепленным косо птичьим гнездом нависла над рекой избенка.

Это и был Полярный, так он начинался с воды. Здесь же начинался он для меня и зимой, когда от самолета, садившегося на Индигирку, приходилось подниматься на крутой яр. За одно полное лето и одно пол-лета от обжитого яра почти ничего не осталось, между Индигиркой и речкой Шамановкой, делающей перед впадом размашистые «восьмерки», уступчато держалась еще узкая полоска земли — только чтобы пройти. Затем и ее слизнуло, укоротив Шамановку и довернув напор течения прямо на берег Полярного.

В динамике существует понятие Кориолиса силы (по имени французского механика), по которому речные стоки, движущиеся в Северном полушарии, отклоняются вправо — оттого и происходит подмыв правых берегов, а поймы намываются слева. Полярный стоит на левом берегу, но вопреки закону все-таки выгрызается Индигиркой. До нового поселка, если почему-либо не умерится аппетит, еще годы, но вот этот отшиб со старыми домишками на взгорье, откуда с одной стороны открывалась суровая и величественная картина Индигирки, а с другой — мягкость пойменного огляда за Шама-

новкой, оказался обреченным в первую очередь.

Не стало и избушки Егора Семеновича Чикачева.

Помню, зимой он сам прислал за мной, чтобы показать русскоустыинский словарик. Вот и еще одно доказательство того, что русскоустыинец знает цену и себе, и своему языку, свечаем и обычаям. Досельные слова были вписаны нетвердой рукой в тетрадку, откуда Егор Семенович и выуживал их слог за слогом в несколько прихватов и, выудив, хитро взглядывал на меня: знаю или нет? Если не знал — на удивление чистое в русских чертах и безморщинное лицо его, несмотря на стариковский возраст, бралось радостью. Это был увлекательный урок-соревнование. Потрескивал огонь в печи, на градках за печкой сушилась стирка, в избенке, экономно обставленной вдоль стенок только самым необходимым, было тепло, чисто и просторно. Мы сидели друг против друга за столом, представленным к оконцу, в котором ничего, кроме снега, не было видно, и Егор Семенович, цепко ухватившись за начало записи, не без труда перебирал по ее хребтовине до хвоста, ухватывал наконец полностью, вытаскивал, встряхивал, повторяя, и представлял мне с гордостью и азартом охотника.

— Лыва! — объявлял он.

— Лужа, — переводил я на ближний русский.

Он откачивался на табуретке, взвешивая, можно ли лыву назвать лужой, потому что и действительно другое слово имеет и оттенок другого смысла, любой синоним не есть двойник своему собрату. Подумав, экзаменатор мой допущал, что я угадал почти правильно. Я как бы выигрывал очко. «У ругу пена!» — шел он в новое наступление. По написанию, конечно, можно и ухватить, что это значит, но в произношении Егора Семеновича, которое нельзя назвать не только русским, но и не каковским, напоминающим, быть может, лишь вскрик давно исчезнувшей птицы, где мне было сообразить, что это «урта пена». Но и сообразив, я бы с тем и остался, а оно означало — «самому некогда». Я сдавался. То же самое произошло с «бахтуром». И близко оно не лежало со «сторожем», как победно объявил мне Егор Семенович. «Якутское, наверное?» — пытался я докопаться. Нет. Юкагирское? Тоже нет. Выяснилось в конце концов, что искать надо не в местных краях, а в Европе. «Бах-

тур» — искалеченное от «вахтера», тут никакой диплом с филологической выправкой не поможет, тут вся надежда на языковое чутье, которое, как лошадь в заблуде, надо пускать без поводов.

И вот теперь, не найдя ни избушки Егора Семеновича, ни земли под избушкой, я не надеялся и его самого разыскать в Полярном. Известно ведь, что всякая тронь, вольная или невольная, отзывается далеко. Но нет, Егор Семенович жил здесь, в другой избе, побогаче. Девочка лет двенадцати «пахала мост» — мела пол, когда я вошел. Хозяин поднялся от какого-то мелкого рукоделья и, узнавая меня, улыбнулся той простовато-хитровой улыбкой, которую только словом «заглумка» и выразить. Я спросил про старую «хоромину». «Матушка-Индибирка отляжила», — пояснил без упрека, как тому неминуемо и быть. «Когда?» — «Лонись». Он говорил по обыкновению тем языком, какой в нем был, не подставляя мне слова для разгада, а выговаривая то, что просилось. Не скрывал, что тоскует по прежней «хоромине», которую в иных краях определили бы конурой. «Хлебосолка», — несколько раз приласкал он ее в разговоре.

Досельность Егор Семенович больше не записывал. С той поры, как я понял, и оставил, когда «отляжило» стариковский выселок. В Полярном немало тамосного народа, у них свой толк, к ним прибывает и местную молодежь. Экспедиторские, вызнав старину, потстали, свои и чужие, срастаясь, все меньше дивятся друг другу, «мудрена Русь» прибрала к своим понятиям и разнотудьям и этот кусок окраинной земли. Все ныне выкраивается на одну колодку и устраивается на один манер, и будь ты хоть чучуна, которого изловили в сендухе, а будь добр оставить свои чучунские замашки, сидеть по вечерам перед телевизором и выговаривать «интенсификация», «протуберанцы» и «уик-энд». Досельность превратилась в воспоминание, в причуду, в хранящийся в сендуке свадебный наряд глубокой старухи: можно достать и погладить, под тихий огляд вспомнить обряд, но вспоминать придется под перебой других песен и голосов.

Вот и на «омуканчик», на древний танец, который когда-то возили показывать Москве, собираются все реже.

Я смотрел «омуканчик» в полупустом и ненагаретом клубе. Нескладно, надо думать, вышло то, что устраивали

его для показа нескольким посторонним, у исполнителей это не вызвало подъема ни в каком смысле. Кто пришел, кто нет. Кажется, и Омукан был не тот. Но музыкальное сопровождение — не сопровождение, а наваждение, звуковое волхование, шаманство — пристроилось в лице маленькой сухонькой старушки на передней лавке без всякого инструмента, приподняло к лицу руки и тронуло пальцами губы. Тронула пальцами губы Матрена Ивановна Портнягина, вздохнула, скосив глаза на сцену, — и вдруг ни на что не похожая, дикая, живородная и призывная зазвучала музыка, зазвучала сначала неторопливо и улаисто, под которую и вышел юноша по имени Омук и принялся скрадывать зверя, потом заторопила охотника, сделалась сильней, тревожней, вострубней, будто и не маленькая старушка привстала с лавки, а тундровые духи на бегу взокали победы. И когда случилась победа и закурил охотник вокруг добычи, голос, ненадолго опав, вместе с ним порадовался, но запаздывая, задерживая, укрощая страсть юноши, призывая к страсти другой. Уже нежно и в легких переборах волнисто звучал он, как бы отодвигаясь и возвращаясь, что-то внушая раз за разом — и услышал Омук этот голос, внял ему порывисто и счастливо и кинулся к любимой, которая уже выходила...

То, что выделявала голосом старушка, наигрывая пальцами на губах, то перебирая их, то прищипывая, то прихлопывая, называлось «припувать». Долго еще звучало во мне ее «припувание» — будто из-под земли, от сошедших доносящееся, и отсюда ищущих родства и радости.

Неужели и это быльем порастет?

У меня была возможность сравнить: зимой Полярный выглядит ухожистей и экзотичней. К вескам на улице подвязаны собаки — лохматые, спокойные, полузанесенные снегом, время от времени подымающиеся, чтобы отряхнуться и согреться; защитными от ветра и мороза ставнями на окнах снаружи служат олени шкуры; возле жилых стен поленницей сложены глызы льда — бери в беремья и заноси в тепло, чтобы быть с водой; высокой урасой составлены для просушки дрова, а нутро урасы приспособлено под холодную кладовку. Видеть все это впервые

и необычно и приятно, ожидание новизны сбывается с лихвой. Если заглянуть в эту пору в совхозные мастерские — там идет тяжелая ручная и по традиции женская работа по выделке песцовых шкурок, затем, выделанные, они сортируются и зашиваются в мешки — по 25 хвостов в каждый мешок для отправки в Иркутск на пушно-меховую базу. По весу пусто, по деньгам — густо. Немногим больше двадцати кадровых охотников (есть еще и некадровые) да два-три ученика добывают за сезон в удачный год за три тысячи шкурки. Можно понять, почему русскоустийцев даже и на фронт не брали — только доставляя этого пушистого белозвонного зверька, он многое окупит. При трудности промысла зарабатывает охотник хорошо. Грех жаловаться. Обзагод держит, пожалуй, даже и избыточный: по пять-семь лодочных моторов да по два-три «Бурана». Старое правило: запас карман не ломит — никак не изнашивается.

Но это — к слову.

И еще одна невидаль в поселке в придачу к меховым ставням и ледяным поленницам, она торчит и зимой и летом: поднятые над землей, обернутые в тряповину и меховину, обшитые в деревянную рубашку трубы парового отопления. По ним, как по провешенным тропам, и двигается народ, возносясь над грязью и снегом и умея при встрече разойтись. На краю поселка, оттягиваясь от Индигирки, неторопко, но строятся и прибывают восьмиквартирные двухэтажные дома. В Полярном живет под 300 человек; бывали времена, когда Русское Устье со всеми его «дымами» насчитывало больше. Часть местных оседает по районным конторам в Чокурдахе, часть искательствует в удаче по другим северным весям.

Зимой снег в Полярном закрывает неприят, который с теплом обнажается и с каждым годом только прибывает. Летом разверзаются все хляби земные, повсюду от мерзлоты просачивается наверх вода, в ней плавают и торчит щена, мусор, отходы. Даже собаки ступают осторожно, чтобы не наколоться. Это какая-то общая и неизлечимая российская болезнь на всех наших параллелях и меридианах — разбрасывать вокруг себя, вокруг жилья что только не попадает в руки, не думать, что завтра ты же и пострадаешь от своего вымахиванья. В поселках и вокруг, возле летников, ночевков, стоянок, а то и вовсе в



никогда не обитаемых углах по всему славному Северу тысячи и тысячи бочек от горючего — хватило б, чтобы установить печи металлургического комбината. И ни прибору им, ни укору. Только и утешение, что когда-нибудь от великой бедности, до которой при нынешнем мотовстве недалеко, человек станет чувствительной техникой искать и выкапывать из мерзлоты эти бочки, как выкапывает сейчас мамонтову кость.

По виду, по духу, по настроению летом Полярный закисает. Те, кто знает иные края, торопятся в отпуск; как птицы перелетные, собираются люди в стаи, становятся на крыло и под ревущими моторами отбывают, всякий раз тяготясь думой: а надо ли возвращаться? Другие, для кого вся земля и все сердце здесь, переключиваются в летники — там чище, там рыба и родные духи, ветер отдувает комара и продувает жару. Иным летом такая навалит жара, что из вод вытапливаются новые воды, а из тех нарождаются полчища комаров. Худо тогда и человеку и зверю. Если навигация прошла успешно и грузы для зимовки в складах — ждут, как облегчения, заморозков и снега. В полярную ночь будут ждать солнца, с первым солнцем вспомнят о тепле, от тепла — полую воду в Индигирке и снова — снега и заморозков.

Так было, так будет. Много что меняется в тутошном мире близ самой макушки Земли, а это — нет. Это ожидание переходов по извечному природному кругу неизменно, в нем вместе и смысл и тщета жизни.

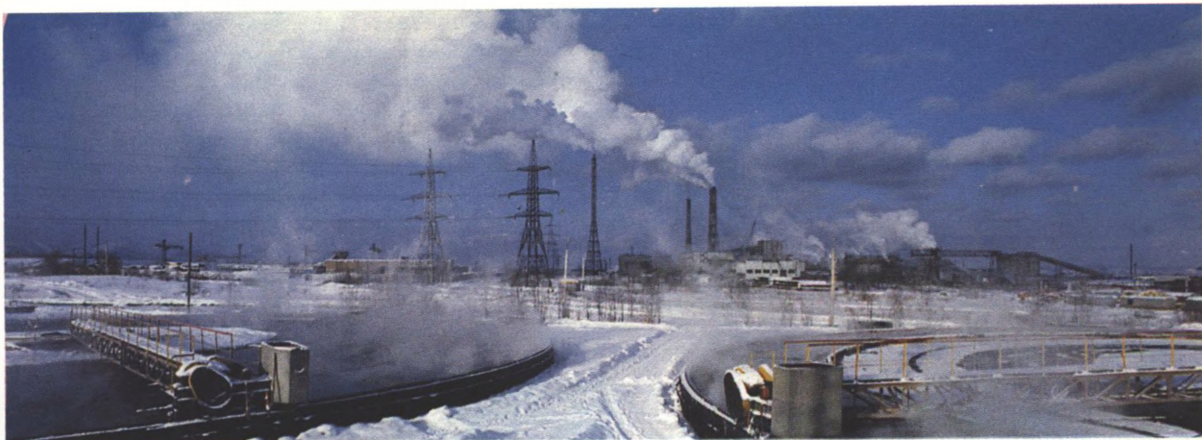
И если б поднять из-под покосившихся крестов русскоустыинскую рать

да спросить их, потомков поморов и мужиков: что это было, когда глаза ваши искали работу, а руки ваши делали ее? Не суета ли сует, не щепка ли для проносной воды? Для чего три века с лишним кряду обустроивали и крепили вы крепости жизни, если ничего тепер после вас, кроме заброшенных погостов, не осталось?

И что бы ответили они? Что никто не живет для себя, а только продолжает подготовку жизни для других, все продолжает и продолжает, не споря ни с передними, ни с задними, и в таком неустанном подготавливании и есть искомый смысл. Или сказали бы, что они пустили крепкие корни, труды свои свершили сполна — и разве не мы выросли на этих корнях? Или с укором кивнули бы на Индигирку в сторону океана: чьи это берега, нешто не российские? Или какую-то новую, неведомую нам истину открыли бы, от которой все наконец встанет на свои места, все ляжет кирпич к кирпичику в единую полезно-устройственную стену.

И когда оттолкнулись мы от причала в Полярном и двинулись дальше на север к последним русскоустыинским летникам, растянутым едва не до самого океана, чудилось после этих неясных дум, что стоят по берегам, по тому и другому, караульные фигуры и, вглядываясь в нас, переговариваются: кто же это и по какой надобности гребет, что за чудной и беспонятливый народ народился, который словом доискивается до слова. А если б делом до дела? Чего проще и крепче!

В тот день, когда отошли мы от Полярного, прояснило; далеко-далеко было видно и слышно.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Моя и твоя Сибирь

Так что же такое сегодня Сибирь?

Речь не об огромных расстояниях и площадях, не о суровых природных условиях, суровость которых сильно преувеличена, не о богатствах, старых, новых и вечных, не обо всем том, что прежде всего приходит на ум и стало первыми и расхожими представлениями об этом крае. Попробуем заглянуть внутрь вопроса и понять место Сибири в очертаниях некоего единого отечественного здания, в одном из многочисленных пристроев которого, в самом большом, непропорционально вытянутом и малозаселенном, и разместилась эта величина. Попробуем угадать место Сибири в судьбе каждого человека, независимо от того, задумывается он о ней или нет, ощущает ли в себе хоть немного присутствие ее духа. Попытаемся проследить, что значит Сибирь во взгляде на день текущий и в какую сторону перемещается, как и чем вырисовывается, когда мы переводим этот взгляд в завтра. Что несет она в себе как сила влияющая и воздействующая, почему, проведя здесь два-три года, а часто и того не проведя, всю жизнь гордится затем человек своей сибирской долей? Ну, лестно, предположим, что выдержал испытания, закалил, как принято говорить, свою волю, прошел профессиональную школу... Но разве вся тут причина? Гордятся и те, кто не выдержал, не закалил и не прошел, гордятся одним лишь быванием в Сибири, подобно тому, как прежде гордились и обольщались походом в святые места. Дело, значит, не только в материальных, профессиональных и физических приобретениях, не во всякого рода вывезенных из Сибири полезных наростах, а в чем-то еще, что не сразу может быть названо, не просто и понято, вычленено, но существует и входит немалой частью в понятие «сибирского притяжения».

Четыреста с лишним лет прошло от прорыва Ермака в сибирское пространство, четырехвековой юбилей справили Тюмень и Тобольск, но, если смотреть на сибирские события XVI века с высоты нашего времени, то русским казакам до конца столетия не отойти далеко от Иртыша и Оби и до юбилейных Томска, Енисейска и Красноярска им еще шагать и шагать. Однако на прибранных землях не мешкая начинает устраиваться первый русский сибиряк. И, минуя его, поспешает вслед за казаками первый жнец и косец того, что не сеяно, — любитель пушнины и золота, основатель многочисленного и удачливого, со временем все более мужающего племени — обирал этого края.

Сибирская история в движении ее событий известна. Пусть скупо, отрывисто, нередко предположительно, но чертёж ее составлен, поименован деятелями давнего и сравнительно недавнего прошлого, помечен периодами постепенного пробуждения и оживления. Но жаль, что не нашлось в среде сибиряков ярких романистов, которые описали бы древнюю Сибирь с той же последовательностью и живостью, с той же художественностью и страстью, как наши современники Валентин Иванов и Дмитрий Балашов показали древнюю Русь. А уж в Сибири было где и на чем разгуляться удалому перу, в особенности в первый век ее крепления к России.

Уже тогда, по-видимому, раз и навсегда родилось отношение к Сибири, которое обросло с тех пор словесностью, помогающей заговаривать и упрягивать истинные цели, но в действительности мало изменилось. Уже тогда определялись два разных взгляда на нее, два про-

тивоположных подхода к ее «прибору», которое впоследствии стало называться «освоением». У нынешних экспедиционных корпусов, высаживающихся в Сибири, есть духовное родительство в прошлом, а у тех — давнее богатый распад потомство. Сибиряк, для кого эта земля родина, и сезонник, для кого она место временного пристанища, промысловая территория или испытательная площадка — вот что издавна разделяло население Сибири, постоянное и текучее, составляющееся в определенную крепость и накалывающее на нее размытыми волнами. Нетрудно догадаться, какая из этих двух сил властвовала, кто, выдавая себя за благодетеля, не знал к Сибири, кроме изымательства и грабительства, никакого другого подхода.

Во второй половине прошлого века постепенно стало зарождаться и оформляться общественное и патриотическое сознание сибиряка. Наконец-то заговорили о ненормальном положении этого края, о политике метрополии, лишающей его будущности, о практике вывозить и высасывать из Сибири все лучшее, а взамен сваливать худшее, в том числе людской брак, об унижительной отчетности, мелочной патронажности и т. д. Обо всем этом не просто заговорили, сибирские вздохи и сетования раздавались и раньше, но заговорили дружно, напористо, призывали к благоразумию, справедливо связывали будущность России с будущностью Сибири и заставили правительство прислушаться к здешним нуждам. Так был открыт Томский университет и отменена уголовная ссылка.

Любопытно взглянуть сегодня на те основные вопросы, которые ставились сибирскими патриотами (Ядрищев, Потанин и др.) для оздоровления общественного климата и подъема производительных сил. Их поначалу было пять: образование, отмена ссылки, равноправные и взаимовыгодные экономические отношения с метрополией, качественные заселения края и отношения к инородцам. На них интересно сейчас взглянуть еще и для сравнения тогдашнего и теперешнего положения Сибири в свете именно этих вопросов — чего добивались и к чему через столетие пришли.

Итак, образование. Слово это по справедливости и по заключенному в нем смыслу в прошлом веке еще не было в ходу, говорили «просвещение». Оно считалось главной бедностью Сибири, с ним связывали нравственное и экономическое благополучие, начинавшаяся от него логическая цепочка имела почти всеобъемлющее поле действия: будешь грамотен — будешь умен — будешь справедлив в поступках — научишься полезно хозяйствовать — отдашь себя благотворительно служению краю и отечеству. «И несомненно, что только свет просвещения может вывести Сибирь из такого печального состояния; только когда, с одной стороны, поднимется общий уровень интеллектуального развития сибирского общества и оно поймет невозможность продолжать хозяйничать на прежних хищнических основаниях; когда, с другой стороны, в Сибири появятся технические знания и дадут сибиряку умение рационально эксплуатировать естественные богатства страны, — тогда только для Сибири окончится период беспорядочного расхищения производительных сил и запасов и начнется период правильного и разумного экономического развития» (А. Кауфман, 1892 год).

К несчастью, они ошиблись, старые сибиряки. Они бы не ошиблись, если бы просвещение продолжало оставаться просвещением в прежнем смысле и прежних границах, с поправками на потребности времени и наук, и не превратилось в воспитание человека по конъюнктурным и самодовлеющим меркам, торопливо и дурно скроенным, тесным и укрошающим умы... Они бы не ошиблись, если бы инженер оставался инженером, какого они знали, воспитатель воспитателем, а профессор физики или химии, руководясь научными интересами, думал бы и о пользе своего предмета для человека. Почти ничего из этого не осталось теперь в помине. Едва не в каждом мало-мальски звучащем сибирском городе сегодня университеты, технических и экономических вузов вдесятеро больше, чем в старые времена реальных училищ, но превратились они в массовое, инкубаторного расположения, выращивание профильных специалистов, дальше профиля не способных ни взглянуть, ни понять. Университеты и те не знают универсального обучения. И Сибирь, только-только начинавшая в прошлом веке протирать глаза на свою незадачливую судьбу, принявшаяся с трудом засеивать в свой народ семена гражданского и гуманистического сознания, отброшена ныне в этом смысле дальше, чем была она сто лет назад, и современное образование сыграло в этом не последнюю роль.

Темнотой, необразованностью можно было сто лет назад объяснить:

«Во всей экономической эксплуатации Сибири невольно поражает отсутствие всякой предусмотрительности и страшное невежество населения. Как будто житель Сибири не думает оставаться в ней дольше завтрашнего дня, как будто он пришлый человек, случайный кочевник, который нынче здесь, а завтра там, которому нет никакого дела до того, как будет жить его сын, его внук, его правнук. Он без разбора и без оглядки хватает все, что есть у него лучшего под рукой, и, схватив, расхитив и обезобразив, обращается к новой спекуляции. Мы набрасывались на все — на золотые самородки, на соболя, которого били около жилища, но как только предстоял настойчивый труд, требовались некоторые усилия и умение для созда-

Вся страна
История
 Святии великии воиши поводе Иларию и Юрию Сира брата Римские земли
 и чюгоуказавъ вѣсѣ вѣдѣти Сира Иларию поведе Иларию ересьничю и оубо
 истребленъ бысть Номинъ. Оубо вѣдѣти вѣдѣти Иларию вѣдѣти по Риму
 и вѣдѣти



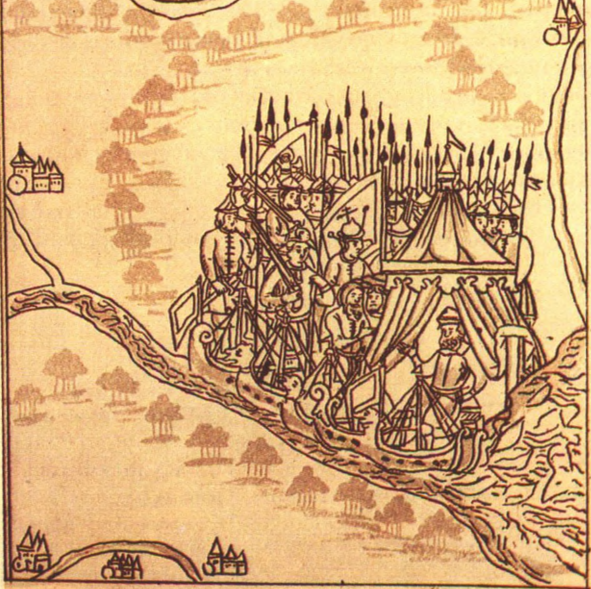
Въ степи
История
 Святии великии воиши поводе Иларию и Юрию Сира брата Римские земли
 и чюгоуказавъ вѣсѣ вѣдѣти Сира Иларию поведе Иларию ересьничю и оубо
 истребленъ бысть Номинъ. Оубо вѣдѣти вѣдѣти Иларию вѣдѣти по Риму
 и вѣдѣти



Въ степи
Степная
 Святии великии воиши поводе Иларию и Юрию Сира брата Римские земли
 и чюгоуказавъ вѣсѣ вѣдѣти Сира Иларию поведе Иларию ересьничю и оубо
 истребленъ бысть Номинъ. Оубо вѣдѣти вѣдѣти Иларию вѣдѣти по Риму
 и вѣдѣти



Въ степи
История
 Святии великии воиши поводе Иларию и Юрию Сира брата Римские земли
 и чюгоуказавъ вѣсѣ вѣдѣти Сира Иларию поведе Иларию ересьничю и оубо
 истребленъ бысть Номинъ. Оубо вѣдѣти вѣдѣти Иларию вѣдѣти по Риму
 и вѣдѣти



Из Ремезовской летописи:
 1-4. Плавание по сибирским рекам.
 2. Ермак принимает послов.
 3. Волк.

ния прочной культуры и промыслов, основанный не на одной случайности, не на слепом счастье, мы отступали, терялись и в этих девственных странах жаловались на скудость природы» (Н. Ядринцев, 1882 год).

С тех пор «невежество» и «отсутствие всякой предусмотрительности» возросли на общеобразовательных дрожжах, на просвещении, лишенном света, до таких размеров, что прежних попечителей сибирского благоденствия они бы лишили дара речи и последней надежды на созидательный результат. Мы невольно свыкаемся с реальностью, мы живем в ней и не до конца осознаем происходящие перемены, но если явилась бы сегодня свежая голова, пропустившая три последние десятилетия «освоения» Сибири, она бы решила, что по какой-то страшной необходимости Сибирь отдана на разграбление, на поругание и уничтожение где-то сыскавшимся на планете варварам, что сибиряк, чтобы не видеть позора своей земли, бежал от них, и участь этого края окончательно решена.

Что там прежние хищничество и безобразия по сибирским углам, разве могут они сравниться с нынешними, соединенными в одно огромное и могучее действие! И что там была зависимость Сибири от метрополии, разве поставить ее рядом с давлением ведомств и министерств, которые что хотят, то и воротят в сибирских вотчинах (впрочем, не только в сибирских), которые держат местные власти в такой узде, что те и слова наперекор не скажут. Эх, нам бы теперь старые безобразия — мы бы Богу на них молились! Находили, чем возмущаться, публицисты: крестьянин, лентяй удобрял пашню, забрасывал ее, едва она отказывалась давать сам-десять, и рядом раздирал новину; промышленник, снимая сливки, засыпал невыбранное золото отвалами и расчищал свежие разработки; охотник, рыбак не считались с природою зверя и рыбы; переселенец начинал жизнь с выжигания под поля лесов. Все это, разумеется, не похвалы достойно и говорит о культуре хозяйничанья, способно возрасти в привычку, в отношение, в правило, однако при малозаселенности Сибири и короткорукости тогдашнего сибиряка не могло нанести ей великого урона. Урон был больше моральный: не такого хотелось видеть здесь работника, не так свершилась колонизация края. Сибиряк, как и всюду человек, не соответствовал своему идеалу; сибиряк, быть может, не соответствовал больше, потому что испорчен был природным богатством и мало заботился о его сохранении.

Но уж сегодня! Сегодня мы с неловкостью и жалостью оглядываемся на своего предка, ковырявшего Сибирь лопатой и тюкавшего ее топором. За год здесь перелопачивается (уж воспользуемся привычным глаголом) куда как больше миллиарда кубометров земли, целый материк ставится на дыбы. Вот это размах, вот это удаль! Одна Братская ГЭС затопила больше полумиллиона гектаров лучших по Ангаре угодий. А рядом Иркутская, Усть-Илимская, Богучанская гидростанции, а там Красноярская, Саяно-Шушенская, Новосибирская и прочие — как, должно быть, красиво смотрится сияние сибирского электричества из космоса, откуда не видно зияния ее ран! Из великих сибирских рек только Лена осталась в старых берегах, но скоро и ее ждет общая участь. От великих перешли к невеликим, от них к малым, потом по второму, третьему, четвертому разу окольцовывать великие. Алюминий и целлюлоза, выплавленные и сваренные из сибирских рек, продаются за валюту, а на нее покупается

Сибиряки — деятели, просветители, патриоты.
Стр. 270.

1-й ряд: Публицист А. П. Шапов. Этнограф В. В. Пассек. Историк С. С. Шишков.

2-й ряд: Композитор А. А. Алябьев. Работа неизвестного художника.

3-й ряд: Художник В. И. Суриков. Ученый Д. И. Менделеев. Ученый А. П. Федченко.

Стр. 271.

1-й ряд: Публицист и ученый Н. М. Ядринцев. Портрет А. В. Евреинова. Святитель Иннокентий Вениаминов (1797—1879 гг.).

2-й ряд: Жена декабриста Н. М. Муравьева. Акварель П. Ф. Соколова. 1825 г.

3-й ряд: Ученый-публицист Г. Н. Потанин. Художник О. И. Сегаль. Меценат-просветитель А. М. Лушников.

Стр. 272.

1-й ряд: Художник М. А. Врубель. Художник А. Г. Костовский.

2-й ряд: Издатель П. И. Макушин. Декабрист Г. С. Батеньков. Литературовед Н. Н. Яновский.

3-й ряд: Геолог и географ В. А. Обручев.

Писатель С. П. Залыгин.

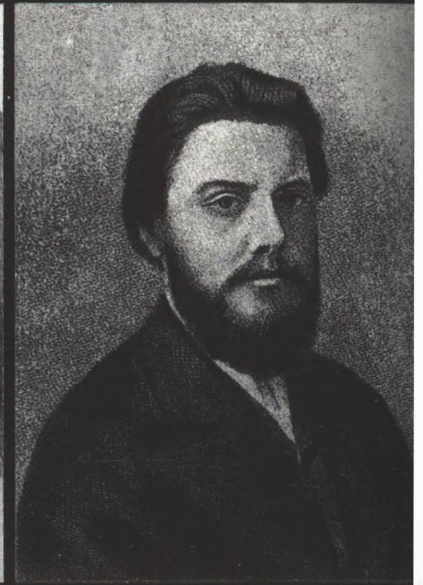
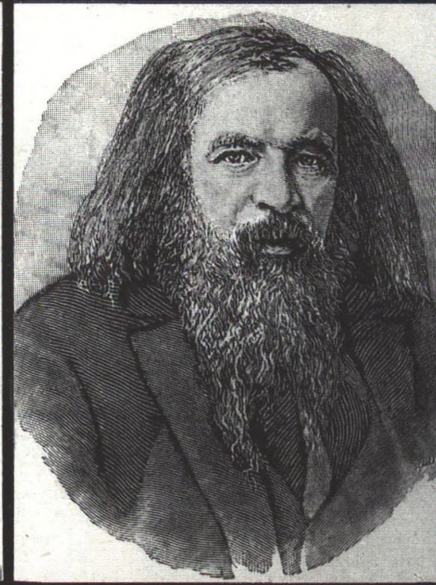
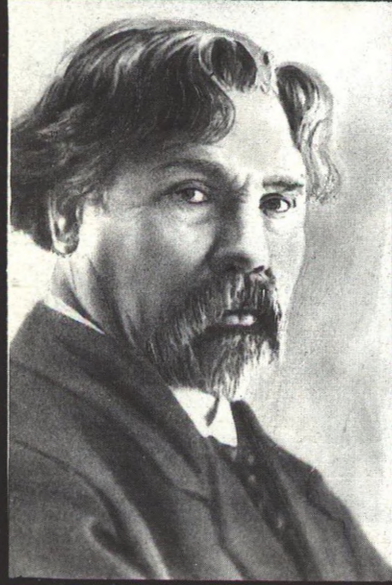
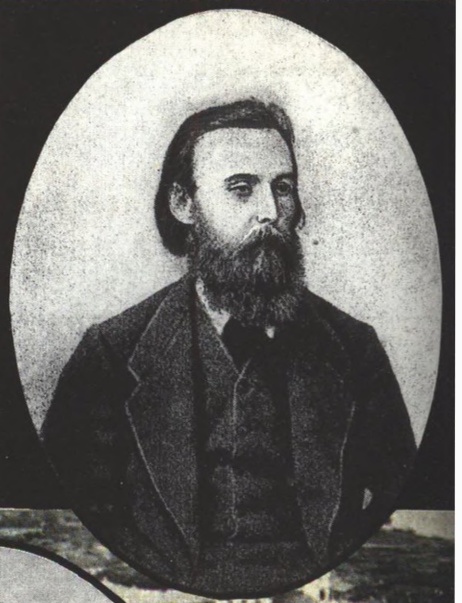
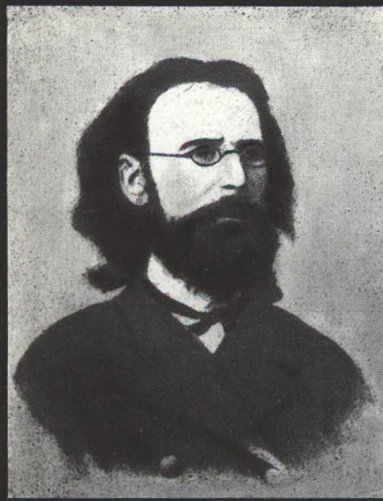
Стр. 273.

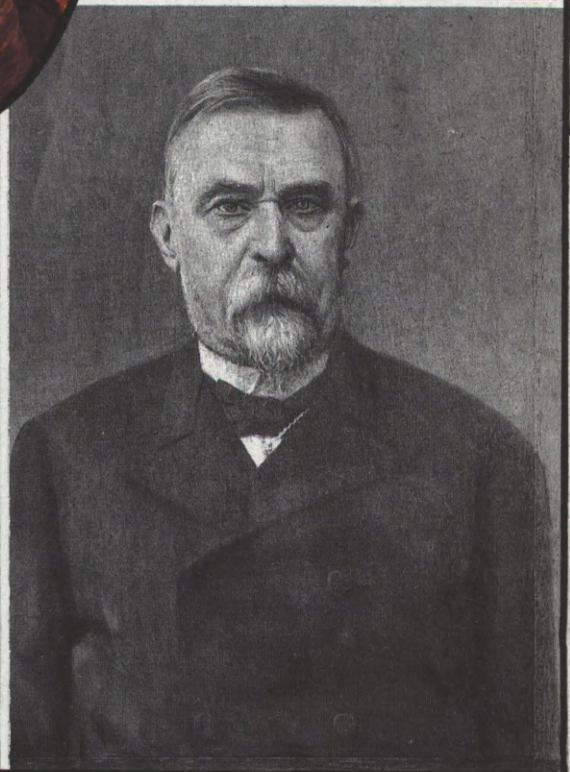
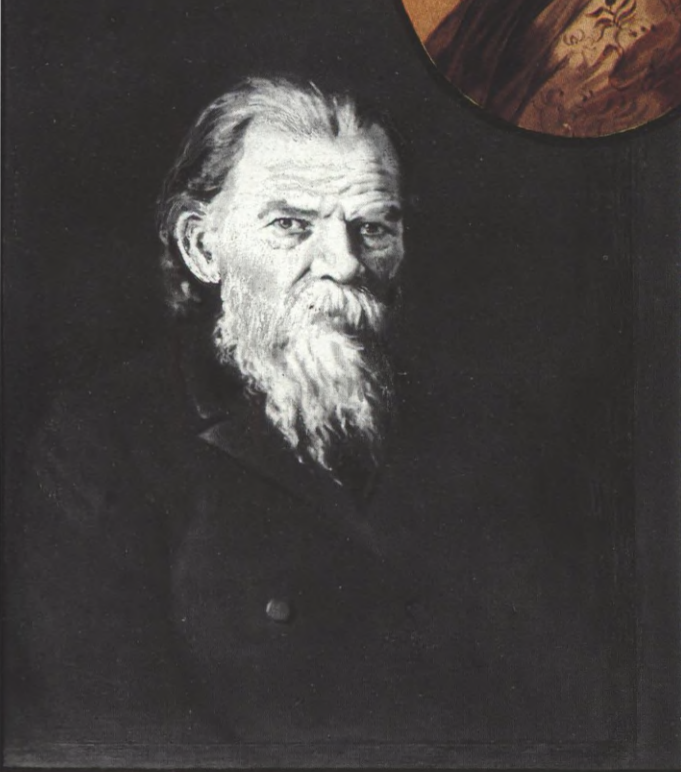
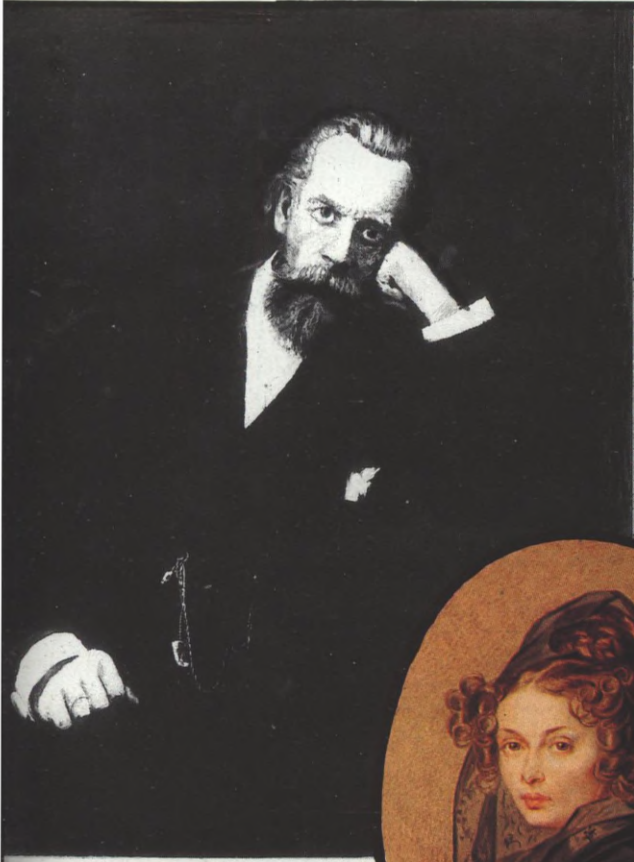
1-й ряд: Хирург Ф. Г. Углов. Писатель В. П. Астафьев.

2-й ряд: Драматург А. В. Вампилов. Адмирал А. В. Колчак. Ученый-охотовед С. К. Устинов.

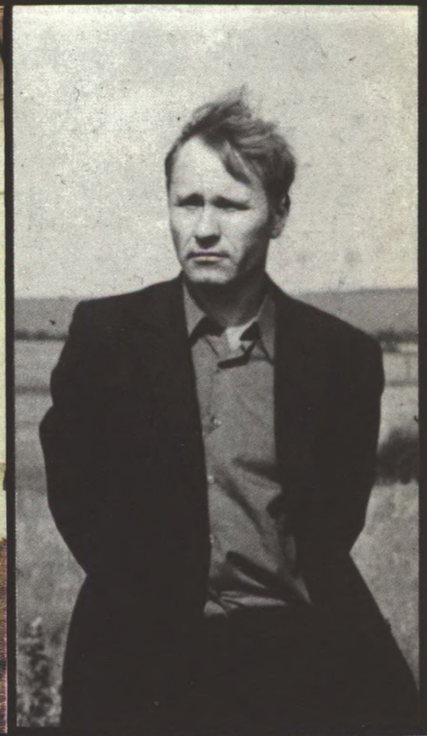
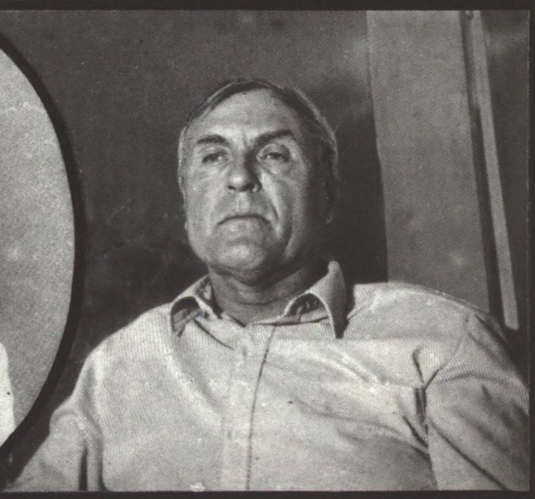
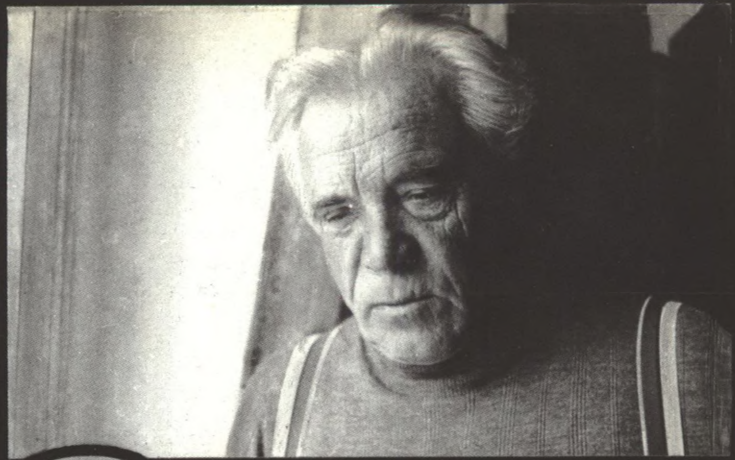
3-й ряд: «Добрая воля» — энтузиасты восстановления Тобольска. Писатель, режиссер и актер кино В. М. Шукшин.

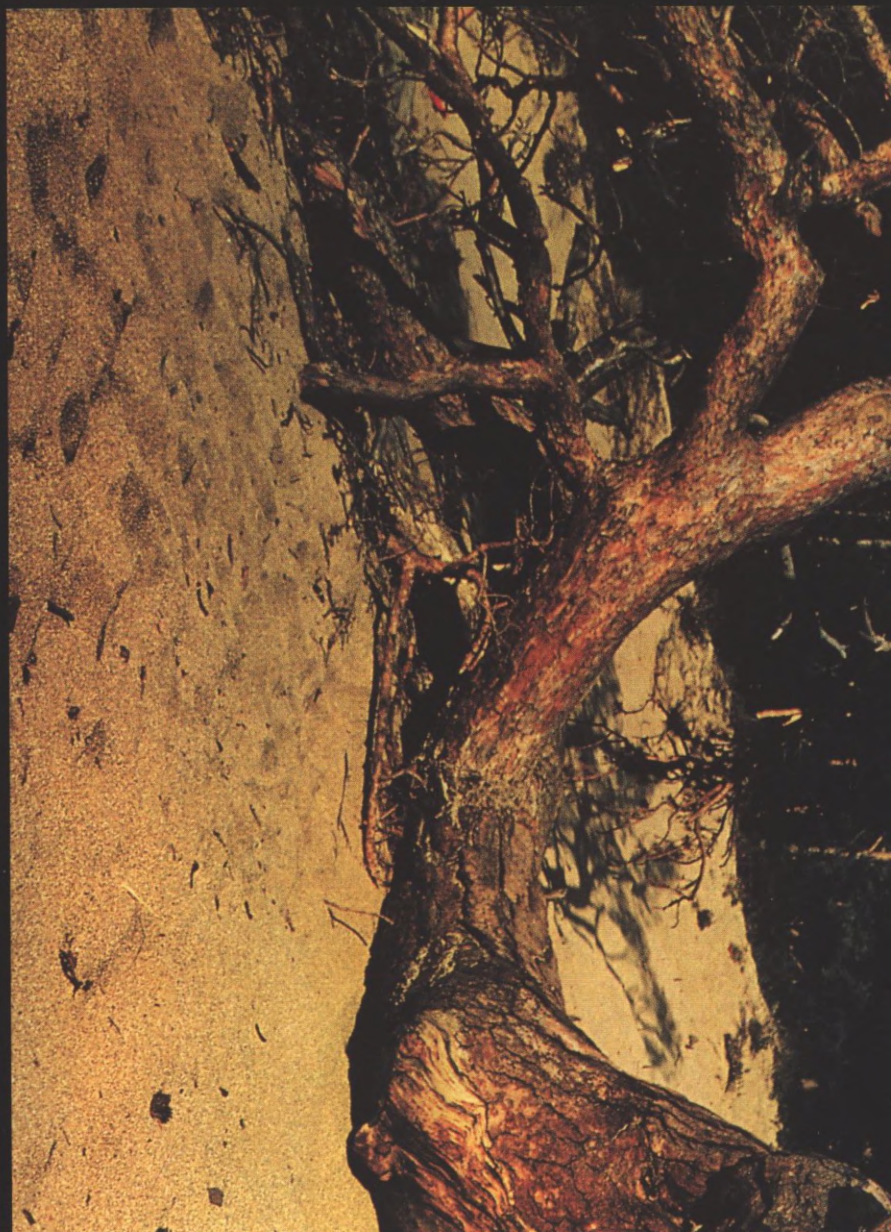
















хлеб — тот самый, который выращивался еще недавно по долинам этих рек. Что ж делать! — на то она и экономика, на то и гигантское ее колесо, лопасти которого, все наращиваясь и наращиваясь, должны доставать до Америки, до Австралии, до любого конца света, а для того, чтобы доставать, нужны сибирские воды и недра, новые мощности и сырье для перекачки, сырье, сырье, сырье... Это заколдованное колесо: чем больше перекачивается, чем больше изымаются миллионлетние накопления, чем больше участвует в этом изъятии народа, тем больше надо завозить для его прокормления и удовлетворения. И чем больше завозить, тем больше вывозить. За каждую тонну завозимого и восполнимого, водившегося в Сибири в изоляции продукта, вдесятеро больше невозполнимым.

Перед постройкой Транссибирской железной дороги в одной только Западной Сибири насчитывалось больше одиннадцати миллионов голов скота. Хлеба Сибирь могла поставить столько, что его хватило бы для всей России. В 1898 году из этого края отправлялось 149 тысяч пудов масла, а через восемь лет, в 1906 году — около трех миллионов пудов (и какого масла!), немалая часть которого шла в Германию, Англию, Данию. Домашней птицы было не перечесть, дикое мясо, рыба, мед, кедровое масло — всем этим домохозяйствовавшим человека продуктом Сибирь избытовствовала и при спросе могла за годы, как масло, увеличить его поставки в несколько раз.

Сегодня хлеб доставляется сюда из Канады и Аргентины, мясо из Франции, птица из Венгрии и Австралии, масло из Дании и Финляндии, картошка — стыд сказать, грех утаить! — из Китая, красная смородина, которую за кислинку еще недавно в Сибири и за ягоду не считали, — из Польши и т. д. и т. д. Из края тучного, сдерживаемого только рынком, земледелия превратилась Сибирь всего за несколько десятилетий в край земледелия нищенского и рискованного, в нахлебника, в транжиру, с небывалой легкостью размотавшего собственную долю природного наследия и ворующего его теперь у внуков и правнуков.

Не один век, вплоть лет до двадцати назад, Сибирь лежала запасной землей, материком огромных неиспользованных возможностей и не востребованного могущества. В старину царское правительство позволяло себе кидаться в авантюры, обезденежев, торговать Аляской: у России оставалась Сибирь. Если об этом не писали, не говорили открыто — это подразумевалось само собой. Сибирь стояла крепостью, в которой можно укрыться; кладовой, которую при нужде можно отомкнуть; силой, которую можно призвать; твердью, способной выдержать любой удар; славой, которой предстоит прогреметь. В сознании россиянина Сибирь представляла континентом будущего, в которое он смотрел с уверенностью: то, что истратит, не пожалеет, выработает в своем хозяйстве он сегодня, завтра добудет в Сибири; за чем гоняет корабли за тридевять земель, до поры до времени хранится там же, в Сибири.

«В страну будущего» — так назвал свою книгу о Сибири великий норвежец Фритюф Нансен, накануне первой мировой войны совершивший по ней путешествие сначала Северным морским путем до Енисея и от Енисея по железной дороге до Тихого океана.

«Нахожусь под огромным впечатлением бескрайних равнин на востоке Азии, еще лежавших втуне и ждущих человека», — писал Нансен.

И вот дождались. Но кого? Будто поперед того, кого ждали, явился самозванно и незаконно кто-то другой, не подготовленный к работе, не склонный считаться ни с потребностями настоящего, ни с завтрашним днем Сибири, жадный, грубый, нетерпеливый, не наученный обращаться с добром, не знающий ему подлинной цены, тароватый и плутоватый — явился и предъявлял права. И всего-то за двадцать-тридцать лет, как за тридцатилетнюю войну, в которой не прекращалось побоище, изжужкал, переворошил, переиначил, вскрыл у Сибири жизненные сосуды и обессилил ее. Не столько взял, сколько разбросал, расплескал, истребил — и текут реки с нефтью, уходят под воду леса, пылают как поминальные вечные огни, газовые факелы; где стояла тайга и бродил зверь, там лежит она, сваленная и вполовину брошенная гнить; где желтела хлебная нива и кормились стада — там бурьян, оставленность, стылость и бездомность; где вековали деревни и села — там походный, только что не на колесах, стан кочевника нового типа, вахтовика, сезонника, набежника, передвигающегося с места на место, оставляя после себя или сразу безжизненные пространства, или прожорливые чудовища в виде самых крупных в мире комбинатов и комплексов, выгрызающих тайгу и недра. Если бы задаться целью уничтожить Сибирь, как прокаженный край, нельзя было бы сделать это скорее и надежней, чем при теперешнем «освоении».

Только пятнами, где больше, где меньше, остались на ее великих просторах нетронутые углы. Но и они поджимаются со всех сторон ненасытной цивилизацией, нет им спасения ни в горах, ни в топях, ни в таежной черни. Углы эти, еще недавно считавшиеся дремучими, и надвиг на них этой цивилизации, которой не миновать называться при первом же протрезвлении тем же словом «дремучая», в которой цивилизации столько же, сколько в обезьяне человека, — вот она, встреча прошлого с настоящим, ставящая под сомнение будущее Сибири.

Давно ли, кажется, писалось сибирским поэтом И. Оммулевским о местах, по которым прошла первая за Уралом железная дорога:

И направо цветы, и налево цветы,
Будто зашел я в запущенный сад.

Но еще лет пятнадцать назад наш современник М. Дудин наблюдает иную Сибирь:

Полузадушенная газом,
По нефтяным болотам вплавь,
Куда ж ты мчишься, где твой разум?!
Вгляни в себя разумным глазом —
Нельзя же все богатства разом,
Чуть-чуть грядущему оставь.

За эти пятнадцать лет к лучшему картина не изменилась. Отнюдь. Лишь больше еще разогналась, расфырчалась, пошла под погоняловкой всеми своими язвами вглубь и вширь — гой еси мы, добры молодцы, славу споем мы себе небывалую, славу небывалую силе разудалой: уж саму-то Сибирь необъятную, птицей необлетную, зверем неокликную, мы дружиной могу-чей объяли, под себя подмяли, по ветру пустили.

Сейчас ли запеть нам славу «былинным богатырям», иль погодить немного?

Можно и погодить. В этой картине наверняка есть некоторое преувеличение, объяснимое, вероятно, узостью взгляда коренного сибиряка, глядящего из-под своей подворотни. А далеко ли из-под нее увидишь? Я вижу всего-то: отчаянные усилия, которыми пытаются спасти Байкал; свою родную Ангару, которую при всех стараниях уже не удастся спасти, на которую набрасывается четвертый бетонный аркан гидростроителей-укротителей; вижу пустыни вместо лесов, все разрастающиеся и разрастающиеся под разрастающимися планами; вижу, как меньшеет и хиреет пашня, с какой наркотической страстью впрыскивают в нее химию; вижу, как поспешно и дурно, нагромождением ночлежек, ставятся новые города и с какой плотностью ограждаются они корпусами и трубами; вижу нищенство медицины, просвещения и культуры и возрастание нравственных и физических болезней... — вижу повсюду, глядя окрест себя, надругательство над землей и вместе с растлением надругательство над человеком. И не вижу, во имя чего оно творится. Благополучия нет сегодня, и уж тем более не из чего будет добыть его завтра.

Боюсь, зная Сибирь, что из-под соседних подворотен, хоть к западу, хоть к востоку от моей, видно то же самое. Мало было Сибири собственных расхитителей, всю пошла ее распродажа зарубежным фирмам. За строганую дощечку из нашей сосны, за кусок мяса, за разного рода выкачивающие помпы. Купцы из нас никудышные, растеряли и эту доблесть; нас обманывают, но мы на все согласны — лишь бы имели с нами дело, лишь бы не бросили нас в Сибири на произвол судьбы, где дохозяиничались до того, что оставаться одним посреди собственного разбоя становится жутковато.

Вот это видно.

А не видно: быть может, под землей осталось больше, чем представляется поверхностному взгляду, склонному судить о запасах по земному порядку, по городам и долам, для благоустройства которых, если следовать примитивной логике, и должны изыматься богатства. Считается, что кузнецких углей хватит не на одно десятилетие, что тюменские нефть и газ тоже далеки до полного вычерпа, есть пока и якутский уголек с алмазами... Лес, тот сам растет. А там, глядишь, и еще что-нибудь сыщется. Словом, до оскудения Сибири далеко и крест на ней ставить рано.

На это и расчет: что-нибудь, вроде тюменской нефти или якутских алмазов, откроется, что-нибудь да непременно будет. А пока, как в страду, как в осень, когда поспевае урожай, успевай поворачивайся, чтобы убрать до снега.

Со страхом думает сибиряк о вероятности новых месторождений. Там его окончательная погибель. До сих пор спаслась лишь та земля, мимо которой прошли геологи, чья исследовательская работа поневоле сравнима с расщеплением атомного ядра: в дурных руках то и другое приносит одинаково тяжкие результаты. А до добрых рук дело еще не дошло, и неизвестно, дойдет ли. Ни в краю тюменской нефти, ни в краю кузнецкого угля не осталось угла, где безопасно для здоровья мог бы жить человек; когда-нибудь, лет через двадцать или тридцать, в шахты, к прокатным станам и на буровые, возможно, приставят роботов, способных выполнять те же операции, что и человек, но выдерживающий при этом любой кромешный ад, — так неужели они и станут сибиряками?! Этого не хотелось бы видеть даже из-под самой мрачной подворотни.

Сибирь нуждается в освоении. Но нуждается она в освоении, а не в разбое, прикрытом этим благодетельным понятием. Одно то, что на половине территории страны здесь осела лишь десятая часть населения, говорит и о малолюдьи, и о переселенческих возможностях, и о невыращенных урожаях. Но говорит и об отношении к Сибири, которая, несмотря на всю романтическую привлекательность былых десятилетий, так и не стала теплокровной землей. Вахтовый метод работы, сколько бы ни давал он людей, годится для бросовых, не пригодных для обживания территорий, но не для Сибири, достойной лучшей участи, способной в избытке давать человеку все необходимое. Этим методом прибирать к рукам Луну, а не Тюмень под боком. И народ в вахтовики по большей части идет аховый, нравственные законы ему, как правило, не писаны. Это то самое бытие, которое определяет сознание. Флибустьеры кармана, неприкаянные души, некое современное Дикое Поле, способное на все, — ничего они здесь не ценят, ничего не любят, но обостренным у этого племени нюхом прекрасно чувствуют настроение министерских эмиссаров: давай, ребята, ломи, круши, не жалея, не слушай нытья местных аборигенов, за все заплатим.

Много ли лучше это племя старой ссылки, от которой страдала Сибирь столетиями? Если судить по результатам всеохватной сокрушительной работы, где благо и мораль не ночуют, — стократ хуже.

Да и без уголовников недолго блаженствовала Сибирь.

В самом тяжелом положении оказались в Сибири малые народы, всем духом и строем существования приращенные к земле своих предков неотделимо. Что толку пользоваться предоставленными им правами на то, на то и на то, если нефтью, газом, гидростанциями, лесовырубками, химией и дымией сгоняются они со своих родовых территорий и лишаются родовых занятий! И обрекаются тем самым на ассимиляцию, на уход в небытие. Много ли утешения найдет потомок вогула, остяка и эвенка, коли в краеведческом музее Нефтеюганска или Электрограда останется воспоминание о бытовавшем здесь прежде народе вместе со скорбными остатками орудий его труда?!

Нет, при царе сибирская чужь, по которой местные патриоты по справедливости роняли сострадательные слезы, чувствовала себя значительно безопасней, чем при Нефтехимпроме и при Минэнерго.

Да, настоящее Сибири тревожно, будущее ее неопределенно. Трудно сказать, есть ли у нее будущее в том уповании на лучшую долю, которую привык человек связывать с завтрашним днем. Еще полтора-два десятилетия подобного же властвования — и поминай, как звали Сибирь. Тирания существует не только по отношению к обществу, но и по отношению к земле. Рациональное использование, комплексное освоение, хозяйское отношение к сибирскимкладам в большом и малом — все эти не отделимые от экономики и нравственности понятия так и не перешли в закон жизни и действия. Буря и натиск сделали свое дело. На Сибирь по привычке продолжают смотреть как на невесту на выданье, все счастье которой еще впереди, а она раньше срока превратилась в беспомощную старуху. Самозащитные свойства ее, на которые мы вольно или невольно продолжаем рассчитывать в надежде, что все мало-помалу восстановится само собой, рассосется и разбавится в больших объемах, залечится в свежих почвах, — эти внутренние оздоровительные силы давно уже не справляются с нарастающим потрошительством.

Сто лет назад, как на одну из главных мер, способных обеспечить разумное благоустройство Сибири, смотрели на учреждение широкого самоуправления, на областную думу, способную взять в свои руки землепользование, лесные, горные и водные богатства, планирование и финансирование. Сегодня снова речь о местном управлении. Сто лет прошло, чтобы, выставив свою дорогу бесконечными ошибками и расточительством, вернуться к тому же самому. И это человек разумный вымахнул целый век псу под хвост?! Еще ста лет впереди у нас нет. Приехали.

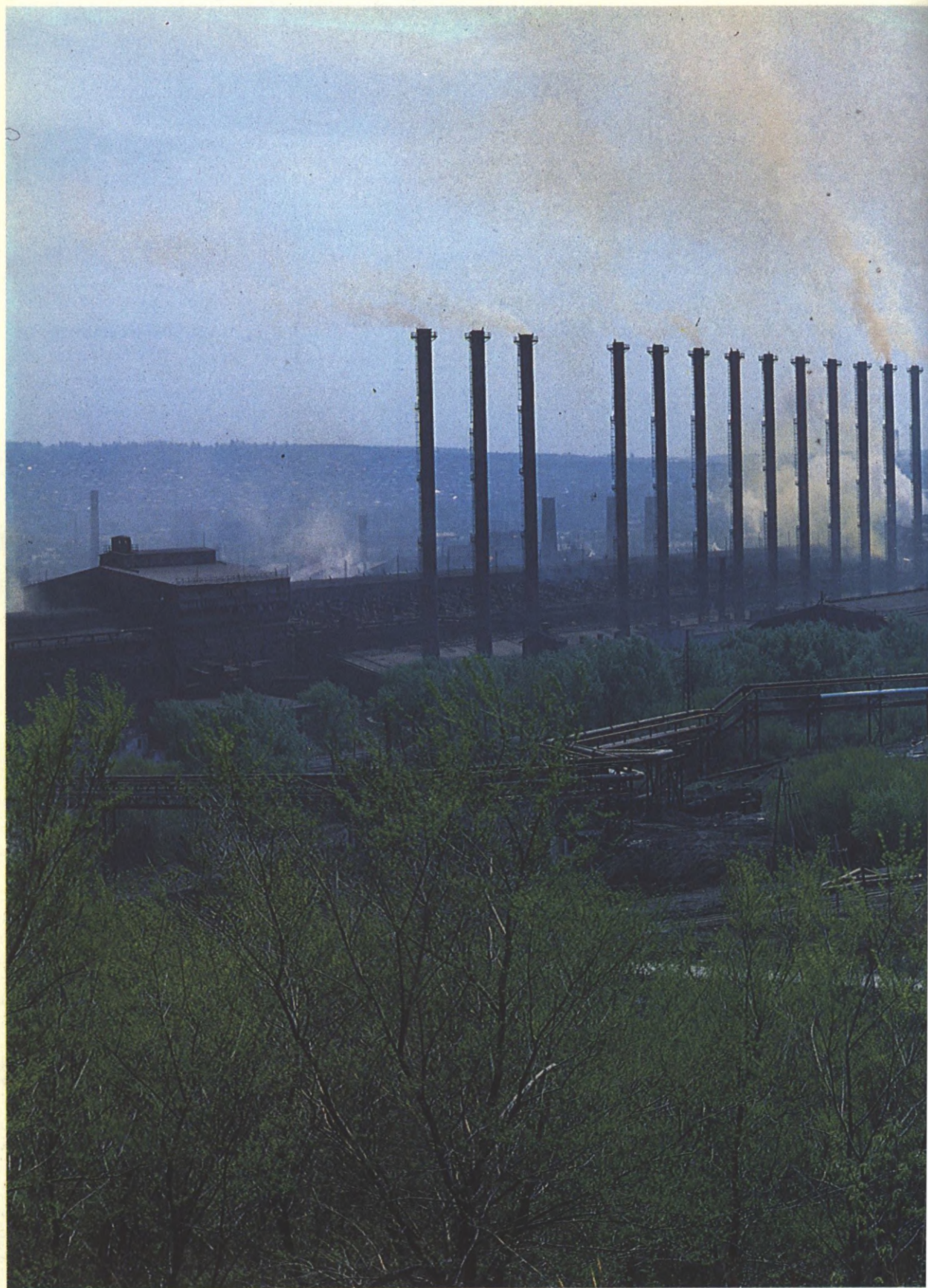
Сегодня пришла пора спасать Сибирь. Огромная и надорванная, величественная и бес- сильная, многоязыкая и разрозненная, дно золотое и бедность, неуютность и разворошенность — она, теряющая надежду, быть может, глухо и затаенно ждет или решительной помощи, или нашего последнего вздоха, чтобы начать все сначала.

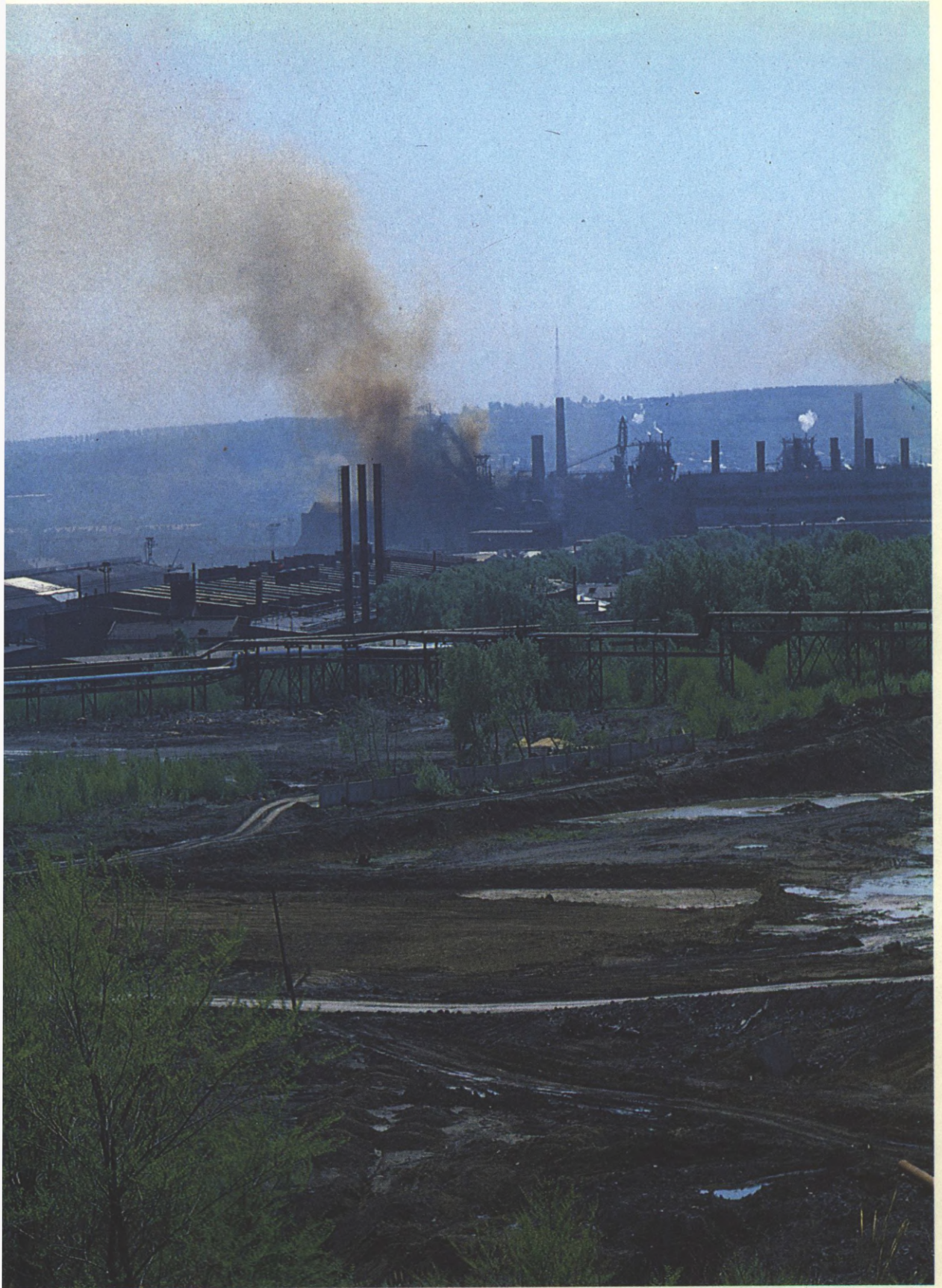
У нее в отличие от нас впереди не годы — миллионлетия.

Как и у всей планеты, ожидающей результата человеческих поползновений.

...И все же почему неодолимой и тревожной тягой влечет в Сибирь человека? Тягой зачастую смутной, не различимой до конца, но не избывающей до тех пор, пока, то ли выполняя давний забытый обет, то ли заполняя в себе ноющую пустоту, требующую чего-то такого, какого-то исполнения и вдохновения, не отправится россиянин за Урал и не оукнется с головой









в Сибирь, словно в открывшуюся до последнего предела явь. И если она не совсем сходится с его представлениями о ней, винить в том, кроме нас, некого. В любом случае, что бы ни нашел неведомо что ищущий в Сибири, ему становится легче: происходит ощутимое наполнение его каким-то особым духом, который только здесь и есть и который помогает затем лучше разбираться в себе и людях.

Быть может, это одни лишь досужие домыслы, и ничего такого в Сибири не водится, но как объяснить тогда столь часто встречающиеся в людях после Сибири уверенность и успокоенность, словно бы самообретенность и выразительность, которых до того не было; как объяснить нечаянную и бесхитростную вспышку радости на лице у человека, когда слышит он, что ты из Сибири, и вскидывается навстречу: «А я, знаете, тоже там был!..» Не велика ныне доблесть — побывать в Сибири, не Луна и даже не Антарктида, полмира перебивало пол-России перестрадало, но он знать ничего не хочет о всех, он горд тем, что он был, что набрался он в свою пору решимости, поехал, увидел и понял. Спросите, что понял? — не ответит. Однако след остался, и он чувствует его в себе, как ход часов, бесшумно ведущих отсчет душекормных поступков.

Он хоть был, но отчего самый далекий от Сибири человек, никогда до нее не добравшийся, при одном лишь слове «Сибирь» невольно вздрагивает и прислушивается: как там, в Сибири? Что отзывается в нем на этот звук — радость или скорбь, прежняя надежда или разочарование, ожидание или сострадание? Что вложила в него Сибирь всепроникающим дыханием? Не кажется ли ему в неясных своих представлениях и ощущениях, что где угодно мы могли терпеть дуроломство, но только не в Сибири, что, наученные опытом других времен и краев, обяваны были мы в подтверждение своего просветления отнестись к этой молодой и сказочно богатой земле с радостью и радением. И если не отнеслись, если и сейчас продолжаем губить ее, лишая наших внуков последней надежды на обеспеченную жизнь под солнцем, встает законный и тяжелый вопрос: что с человеком, не стало ли безумие его судьбой?

Не потому ли еще и тянет в Сибирь жительствовавшего за ее пределами: чтобы почувствовать в себе меру сезонного и вечного, истинного и случайного, разрушенного и уцелевшего.

Вероятно, здесь, где все в природе и людях откровенно, и это заметно лучше, чем в любом другом месте.

Так что же — без прошлого, настоящего и даже без будущего? На все времена удел обреченности и жертвенности, вслед за кочевничеством коренных народов в поисках пастбищ и дикого зверя кочевничество промысловиков иного рода, налетающих в Сибирь за нефтью, газом, лесом, углем и золотом, налетающих и улетающих, как саранча, которая оставляет после себя пустыни? Кочевничество в сотнях тысяч чужих, налетающих и улетающих, передвигающихся с места на место, и духовное кочевничество миллионных городов, уподобленных громадным и неуклюжим походным лагерям, враждебных и агрессивных к приютившим их рекам и долам. Это настоящее? Сотни лет нового времени и тысячи лет до него прошли в приготовлениях к этому? И как смотреть вперед омраченными сегодняшней картиной глазами, что там утешительного можно увидеть?

Но так не бывает, чтобы без прошлого, настоящего и будущего. Не о временах, имеющих количественный счет, механически стекающих через узкую горловину сегодня в заспинное царство, речь, а о временах, наполненных обнадеживающим делом, сознательным человеком и домостроительством. Такие периоды в истории Сибири случались, когда точно пробуждалась и прозревала она, принималась наводить на своих землях порядок, обращалась к заступничеству закона и сыновнему чувству сибиряка, однако посреди корысти и небрежения оттуда и отсюда они, эти периоды благодетельного отрезвения, всякий раз были словно вспышки на мрачном небосклоне, словно исполненный обещаний восходный свет, скоро утянутый в сумерки возвращающегося на круги своя обирательства.

Но ведь и верно: не может такого быть, чтобы на веки вечные смирилась Сибирь со своей участью униженной и оскорбленной. Она так и не взшла на подобающее ей место и не воссияла заслуженным светом. Человек разумный, или, как он себя еще называет, цивилизованный человек, ни на что другое, кажется, не употребил свой разум, как доказать ложность и гибельность своей цивилизации, основанной на подрыве жизнь предрержавших основ. Рано или поздно она сойдет с лица Земли, как сходили до нее все нарывные устройства, и тем скорее это произойдет, чем больше набирает она скорость и проявляет ненасытность. Вот тогда, возможно, и явится новый человек, который ввиду грозящей ему от нашей деятельности беды найдет спасительно-утвердительные пути и не перепутает разрушение с созиданием. Как знать, не подготавливается ли он, этот новый человек, уже сегодня, не перестраиваются ли в нем клетки мозга мало-помалу в какой-то иной порядок и не выдвигаются ли поперек всего остального духовные начала, так долго чаемые, так истоиво отмаливаемые для последнего воскресения.

Его, такого человека, как спасителя своего, строителя и хранителя, и ждет Сибирь, неустанно вглядываясь в лица проезжающих и проходящих: не он ли едет-идет, не избавление ли несет? И когда сразу же за Уралом совсем близко к нашей дороге подступают то березовые колки, то озера, когда мелькнут и скроются остатки сквозящего ленточного бора, а на проволоках на всем нашем пути слетаются птицы, когда вымахивает длиннокрыло и мощно степь, на излете которой, как пастушок, замер любопытный мальчишка с присмирившей собакой, когда, недалеко посторонясь, сумерничает чутко тайга, каждый дух и каждый слух лова и вбирая, — то сама Сибирь с надеждой и печалью всматривается в нас: что за люди, какого покроя души следуют проторенной дорогой, какую службу везут?

И когда проезжаем мы великие реки — Обь, Енисей, Ангару, не имена их звучат над пустынными водами, нечему там больше зваться этими именами, а зов гудит денно и ночью, зов неоплодотворенной земли, ждущей семени, которое даст наконец дело и душекормные всходы.

И когда над Алтаем и Саянами набухают тучи и, увлекаемые в долины, проливаются дождями, снова и снова вопрошают небеса: когда же их влага оросит те спасительные всходы и громы прогремят плодотворные итоги?..





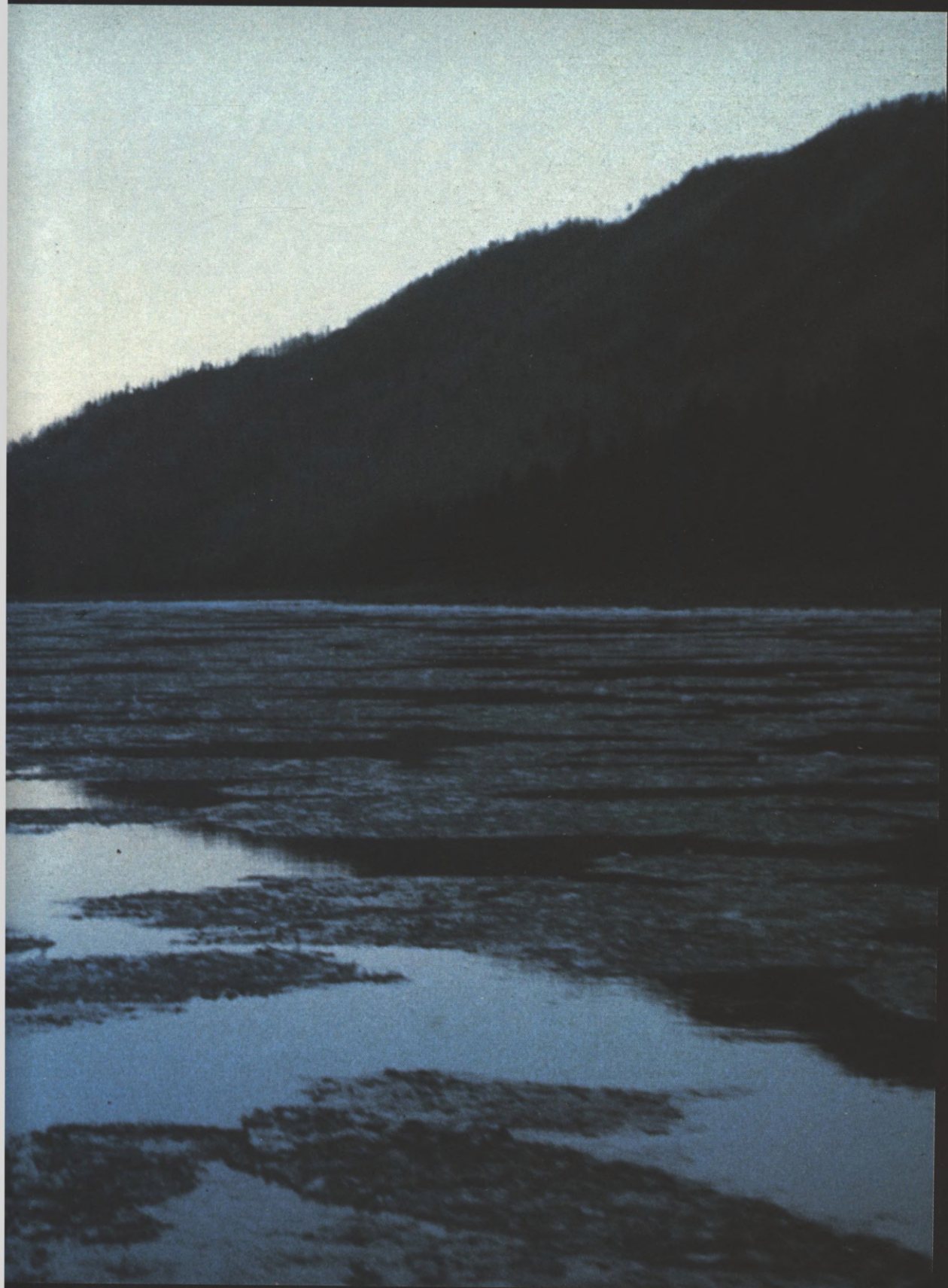


...Сибирь, только-только начинавшая в прошлом веке протирать глаза на свою незадачливую судьбу, принявшаяся с трудом засеять в свой народ семена гражданского и гуманистического сознания, отброшена ныне в этом смысле дальше, чем была она сто лет назад...



Сибиряк, для кого эта земля родина,
и сезонник, для кого она место временного пристанища,
промысловая территория или испытательная площадка,—
вот что издавна разделяло
население Сибири...







В сознании россиянина
Сибирь представала континентом будущего,
в которое он смотрел с уверенностью:
то, что истратит, не пожалеет,
выработает в своем хозяйстве он сегодня,
завтра добудет в Сибири,
за чем гоняет корабли за тридевять земель,
до поры до времени хранится там же, в Сибири.



**Сибирь стояла крепостью, в которой можно укрыться;
кладовой, которую при нужде можно отомкнуть;
силой, которую можно призвать;
твердью, способной выдержать любой удар;
славой, которой предстоит прогреметь.**







**Сегодня пришла пора спасти Сибирь.
Огромная и надорванная, величественная и бессильная,
многоязыкая и разрозненная, дно золотое
и бедность, неуютность и разворошенность —
она, теряющая надежду,
быть может, глухо и затаенно ждет
или решительной помощи, или нашего последнего вздоха,
чтобы начать все сначала.**



Только пятнами,
где больше, где меньше,
остались на ее великих просторах нетронутые углы.







Как знать, не подготавливается ли он, этот новый человек,
уже сегодня,
не перестраиваются ли в нем
клетки мозга мало-помалу в какой-то иной порядок
и не выдвигаются ли вперед всего остального
духовные начала, так долго чаемые,
так истово отмаливаемые для последнего воскресения?



Да, настоящее Сибири тревожно,
будущее ее неопределенно.
Трудно сказать, есть ли у нее будущее
в том уповании на лучшую долю,
которую привык человек связывать с завтрашним днем...

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая СИБИРЬ БЕЗ РОМАНТИКИ

23

Глава вторая ТОБОЛЬСК

49

Глава третья БАЙКАЛ

87

Глава четвертая ИРКУТСК

131

Глава пятая ГОРНЫЙ АЛТАЙ

155

Глава шестая КЯХТА

197

Глава седьмая РУССКОЕ УСТЬЕ

221

Глава восьмая МОЯ И ТВОЯ СИБИРЬ

265



Распутин В. Г.

Р 24 Сибирь, Сибирь... / Фотоил. Б. Дмитриева; Худож. А. Быков.— М.: Мол. гвардия, 1991.— 304 с., ил.— (Отечество: Старое. Новое. Вечное).

ISBN 5-235-00665-8

Автор этой книги писатель, лауреат Государственных премий СССР Валентин Распутин работал над нею несколько лет. С присущим ему талантом он не только открывает перед читателем необыкновенную, прекрасную, заповедную «страну Сибирь», рассказывает об ее истории, о подвигах легендарного Ермака и других первопроходцев, о характере сибиряка, о вкладе первых сибирских городов в развитие торговли и культуры в крае, но, размышляя о прошлом, настоящем и будущем Сибири, он поднимает страстный голос в ее защиту. «С любовью и оберегом» должно относиться к родной земле, другого не дано,— утверждает автор. Книга богато иллюстрирована цветными фотографиями.

Р 4702010201—034
078(02)—91

КБ — 013—038—90

ББК 26.89(2Р5)

Фотосъемки для книги «Сибирь, Сибирь...» проводились в 1983—1989 годах в Иркутске, Кяхте, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске, Томске, Барнауле, Абакане, Минусинске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Нерюнгри, Тобольске, Якутске, Русском Устье, Чокурдахе, а также на Алтае, в Саянах, на Хамар-Дабане, Байкале, Телецком озере, на реках Колыме, Индигирке, Лене, Витиме, на арктическом побережье Якутии.

Старые фотографии перенесены в фондах краеведческих музеев городов Иркутска, Кяхты, Тобольска.

Съемки живописи произведены в художественном музее города Иркутска и в фондах краеведческого музея города Кяхты.

Фотосъемки древних книг, летописей производились в секторе редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки СО АН СССР в Новосибирске, в редком фонде Иркутского государственного университета в Иркутске.

Часть средств от издания этой книги
издательство передает
Всесоюзному Центру искусств
и культуры имени Василия Макаровича Шукшина.

ИБ № 5160

Распутин Валентин Григорьевич

СИБИРЬ, СИБИРЬ...

Заведующий редакцией **В. Перегудов**

Редактор **А. Гремицкая**

Художественный редактор **С. Сахарова**

Технический редактор **Н. Теплякова**

Корректоры **Е. Дмитриева, Т. Пескова, Н. Овсяникова**

Сдано в набор 11.07.90. Подписано в печать 19.12.90. Формат 84×108^{1/16}. Бумага мелованная. Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная. Условн. печ. л. 31,92. Условн. кр.-отт. 128,94. Учетно-изд. л. 33,4. Тираж 100 000 экз. Цена 12 руб. Заказ 1190.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сушевская, 21.

ISBN 5-235-00665-8

29

5941112

BR

4065

1/96 72136-211